

Федоров Б. М.



КНЯЗЬ КУРЬСКИЙ

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Борис Михайлович Федоров

Князь Курбский

(Россия державная)

Борис Михайлович Федоров (1794–1875) – плодовитый беллетрист, журналист, поэт и драматург, автор многочисленных книг для детей. Служил секретарем в министерстве духовных дел и народного просвещения; затем был театральным цензором, позже помощником заведующего картинами и драгоценными вещами в Императорском Эрмитаже. В 1833 г. избран в действительные члены Императорской академии.

Роман «Князь Курбский», публикуемый в этом томе, представляет еще один взгляд на крайне противоречивую фигуру известного политического деятеля и писателя. Мнения об Андрее Михайловиче Курбском, как политическом деятеле и человеке, не только различны, но и диаметрально противоположны. Одни видят в нем узкого консерватора, человека крайне ограниченного, мнительного, сторонника боярской крамолы и противника единодержавия. Измену его объясняют расчетом на житейские выгоды, а его поведение в Литве считают проявлением разнузданного самовластия и грубейшего эгоизма; заподозривается даже искренность и целесообразность его трудов на поддержание православия. По убеждению других, Курбский –

личность умная и образованная, честный и искренний человек, всегда стоявший на стороне добра и правды. Его называют первым русским диссидентом.

Содержание

| | |
|--|------|
| #1 | 0007 |
| Часть первая | 0008 |
| Глава I. Юродивый | 0008 |
| Глава II. Пир у посадника | 0016 |
| Глава III. Подвиги | 0031 |
| Глава IV. Свидание | 0043 |
| Глава V. Великодушный пленник | 0053 |
| Глава VI. Клевета | 0061 |
| Глава VII. Дом старейшины дерптского | 0071 |
| Глава VIII. Болезненный одр | 0084 |
| Глава IX. Похищение | 0098 |
| Глава X. Обвиненный | 0118 |
| Часть вторая | 0131 |
| Глава I. Горестная встреча | 0131 |
| Глава II. Первосвященник | 0138 |
| Глава III. Клеветник и заступники | 0154 |
| Глава IV. Жертвы клеветы | 0171 |
| Глава V. Ночь | 0177 |
| Глава VI. Золотая палата | 0187 |
| Глава VII. Царский брак | 0206 |
| Глава VIII. Вечерняя беседа | 0218 |
| Глава IX. Феодорит | 0235 |
| Глава X. Провидец | 0245 |
| Глава XI. Взятие Полоцка | 0261 |
| Глава XII. Праздник Ваий | 0267 |

| | |
|--|------|
| Глава XIII. Бегство | 0275 |
| Часть третья | 0290 |
| Глава I. Рыцарский замок | 0290 |
| Глава II. Освобождение | 0314 |
| Глава III. Эстонская хижина | 0324 |
| Глава IV. Страница | 0333 |
| Глава V. Грамота | 0345 |
| Глава VI. Верность | 0358 |
| Глава VII. Брак из честолюбия | 0374 |
| Глава VIII. Встреча и разлука | 0396 |
| Глава IX. Братья | 0405 |
| Глава X. Обманутые ожидания | 0423 |
| Глава XI. Сказка слепца | 0439 |
| Глава XII. Заступник Пскова | 0453 |
| Глава XIII. Новая царица | 0469 |
| Часть четвертая | 0488 |
| Глава I. Царица в обители Тихвинской | 0488 |
| Глава II. Ковельский замок | 0506 |
| Глава III. Курбский в Полоцке | 0525 |
| Глава IV. Ковельские гости | 0540 |
| Глава V. Открытие и обет | 0556 |
| Глава VI. Осада и битва | 0565 |
| Глава VII. Синодики | 0574 |
| Глава VIII. Свидание с Горсеем | 0580 |
| Глава IX. Последняя повесть | 0587 |

**Борис Федоров
Князь Курбский**

© ООО ТД «Издательство Мир книги»,
Оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011

Часть первая

Глава I. Юродивый

Служба закончилась, и при торжественном звоне колоколов псковитяне благоговейно выходили из Свято-Троицкого собора. Перед народом шел степенный посадник об руку с государевым наместником; на паперти, обратясь к храму Божию, он трикратно осенил себя крестом и, кланяясь на все стороны, поздравлял народ с праздником и оделял деньгами слепцов и недужных, стоявших на ступенях паперти. За ним, сопровождаемый степенным тысяцким и боярами, шел воевода большого полка князь Курбский, беседуя с воеводою Даниилом Адашевым о священном пении. Все почтительно расступались. «Доблестный Курбский, славный воитель!» – говорили в толпе, указывая на любимца Иоаннова, и не одна стыдливая красавица, отдернув фату, украдкой бросала взгляд на боярина. Посадник просил князей и бояр отведать его хлеба и соли по случаю именин; звал и почет-

ных граждан, и именитых купцов. Вдруг, пока стремянные, ожидавшие у ограды, подводили статных боярских коней, раздался крик: «Юродивый! Юродивый!»

Курбский посмотрел в ту сторону, где теснился народ. Он увидел юродивого; ветхое рубище, накинутое с одного плеча, покрывало его; железная цепь опоясывала; волосы, распущенные по плечам, развевались от ветра, но на лице, изнуренном и бледном, сияло спокойствие. Все выходили из собора; лишь он один шел в храм и, размахивая перед собой посохом, пробирался сквозь толпу.

– Юродивый! – кричали ему. – Поздно идешь на молитву.

– Молиться никогда не поздно! – отвечал он.

Он прошел мимо посадника, не поклонясь ему, не поклонился он ни князю Курбскому, ни гордому воеводе Басманову, но в то же время преклонил смиренно голову пред служителем, подводившим Курбскому коня, и простерся на землю пред мальчиком, которого стрелец оттолкнул пикой с дороги, крича народу: «Место князьям, воеводам!»

– Знаешь ли, кто он будет? – сказал юродивый. – Смирись, чти непорочное сердце.

Стрелец замахнулся было на него, но Курбский остановил его.

– Для чего ты поклонился слуге, не почтив нас приветствием? – спросил Басманов.

– Думаете ли, бояре, что все, идущие здесь позади, пойдут позади вас и в веке будущем?

Юродивый вошел в церковь и, повергшись пред гробницею, в которой почивают святые останки князя Довмонта, стал безмолвно молиться.

– Кто этот чудный старец? – спросил Курбский посадника.

– Имя ему Никола, иноки прозвали его Салос[1]. Рода его не знаем – и когда спрашивали: откуда он, то всегда отвечал: странник земной. Уже два года, как он обитает во Пскове. Жилище его – летом под кровом неба; спит он у стены Довмонтовой или под деревом в поле; зимой люди добрые зовут его в свои дома; одну ночь проводит он на богатом ковре, в теплой светлице, на другой день застают его спящим в стойле близ яслей или в тесном и холодном подклете. Обнаженными стопами

ходит он в зной по горячему песку, а в трескучий мороз – по снегу и льду; ест черствый хлеб, пьет одну воду. Играет с детьми и, лаская последнего калеку из черной сотни, неприветлив с боярами. Но кто знает, может быть, он и прав...

– Да, – сказал Курбский, – мудрость века сего есть безумие пред Богом, по Святому Писанию. Но отчего так изъязвлены его ноги?

– Вскоре после Нового года – это было в последних днях сентября[2], вошел он в дом дьяка Ртищева, что у реки Псковы, возле каменных ворот. Подозвав к себе детей, игравших на дворе, и целуя в чело, говорил каждому: «Прости, мой добрый, иди, мой прекрасный!» Привыкнув к юродству его, не дивились тому; но не прошло недели, как в доме Ртищева открылась язва и несчастные отцы предали земле детей своих. За несколько недель перед тем Салос вздумал снова войти в дом сей, но его встретили кольями и проводили камнями, так что едва не дошло дело до губного старосты. Хорошо, что я распорядился, а то чернь вломилась бы во двор и дьяку было бы худо – его же в соседстве не любят. За десять лет

перед сим, когда выгорел Псков, в доме Ртищева бросились не помогать, а грабить.

– Честь тебе, посадник! – сказал Курбский, оглядываясь вокруг. – Я не вижу и следов пожара, а слышал, что от большой стены до Великой реки только пять домов уцелело.

– Нет, боярин, много еще мне потрудиться для Пскова и Святой Троицы. Правда, что соломенных кровель мало, дворы богачей выше прежнего, над палатами возводят хоромы, но прежде с одного этого места было видно полсорока светлоглавых церквей, а теперь и пяти не начтешь; не блещут верхи их при солнце! Где было белое железо, там дерево.

Посадник вздохнул.

– Прежде, – продолжал он, – на тридцать рублей можно было поставить каменную церковь о трех верхах, а теперь вдвое дай – не поставишь. Дед мой дал пол сорока рублей – башню возвел, а теперь люди те же, да время не то.

– Не печалься, посадник! – сказал Курбский. – Слово даю, когда поможет мне Бог сослужить царю новую службу, пришлю к тебе из Ливонии немецкого серебра и золота, и с

этого места надеюсь увидеть с тобою более прежнего светлоглавых церквей!..

Солнце уже высоко поднялось на полдень, и жители Пскова, после праздничного обеда, сладко засыпали на дубовых лавках, на пуховых изголовьях, когда на широкий двор степенного посадника еще только начали собираться званые гости, привязывая статных коней своих к железным кольцам.

В это время Никола Салос вышел из собора. Улицы были пусты, торговые ряды закрыты, кое-где дети играли в городки у тесовых ворот, бегая перед бревенчатыми избами по мягкой траве.

Тихо пробирался старец на Завеличье, через высокий мост, придерживаясь за красивые рели[3]. Скоро миновал час отдыха... запестрели одежды, повысыпал на улицы народ, и опять окружили Салоса.

– Леонтий! – сказал юродивый. – Завтра я приду к тебе в лавку. Приготовь мне кусок парчи да кусок тафты. Денег я не плачу.

– Возьми, что изволишь, – отвечал Леонтий с поклоном. – Помолись за меня и за семью мою.

– Когда так, – сказал Салос, – то отнеси и тафту и парчу к старухе, вдове старосты Василия, в приходе жен-мироносиц, на Скудельницах. Смотри же, отдай от себя и скажи: на бедность твою Бог посылает.

– А я думал помочь твоей нищете.

– Помогай нищете души, – молвил Салос и, увидев крестьянина, ехавшего мимо в телеге, закричал: – Половник Василий![4] Что ты печален?

– Ох, отец мой, наказал нас Господь зимою бесснежною; пророчат неурожай. Будет четверть ржи по шестнадцати денег. Худо нам. Чем заpastись на зиму?

– Видишь ли ты лошадь твою? – спросил юродивый.

– Как не видеть, отец мой?

– Она более тебя трудится и терпит. Трудись и терпи.

– Хорошо, отец, твоею святостию...

Салос закричал: «Боюсь, боюсь!», застучал посохом и бросился на другую сторону улицы. Там шел ремесленник и, качая головой, говорил сам с собою:

– Немного же получил я за работу! Отдать

три псковки долгу соседу Семену, останется всего два пула[5], и опять зарабатывай! Ни себе шапки, ни сестре бус не купил к Великому дню!

– Подай для Бога! – закричал жалобно Салос.

Бедняк оглянулся, увидев юродивого, и остановился от удивления. Салос протянул руку, ожидая подаяния.

– Прими для Бога, – сказал ремесленник и подал ему пул.

– Велик твой дар, благословен твой путь! – сказал, перекрестясь, Салос; он взял монету и протянул ее богатому новгородскому гостю, который проходил мимо, размахивая бархатным рукавом своей шубы, опушенной черною лисицей.

– Ты что, старик?! – закричал новгородец, отталкивая его руку, так что пул покатился на землю. – За кого ты меня принял?

Салос с горестию посмотрел вслед новгородцу.

– Увы! – сказал он. – Он отказался от смирения!

Глава II. Пир у посадника

По высокому деревянному крыльцу поднялись гости в светлые сени дома посадника. Пред боярами и воеводами почтительно шли знакомцы их[6], поддерживая их под руки на ступенях, скрипевших под их тяжестью. Вершники сутились на дворе, около боярских коней. В широкой, разгороженной светлице, по стенам обитой холстиною, перед святыми иконами, сияющими в среброкованных окладах, с венцами из синих яхонтов и окатного жемчуга, горела большая именинная свеча. Гости, проходя в светлицу из-под низких дверей, наклонялись и, обратясь к образам, крестились с поклоном и молитвою, после чего кланялись хозяину. Именинник подносил гостям заздравный кубок сладкой мальвазии.

Вошел князь Курбский. Взглянув на иконы и, по благочестивому обычаю предков, перекрестясь трижды, пожал руку именинника, пожелав здоровья, и поклонился псково-печерскому игумену Корнилию, троицкому протоиерею Илариону, наместнику князю Булга-

кову и всем боярам и воеводам, которые при входе его встали с лавок, покрытых богатыми коврами. Сев на почетном месте, у красных окон, и положив на скамью горлатную шапку, он сказал посаднику:

– Благодарю за твой именинный дар и, как воин, дарю тебя ратным доспехом. Сей доспех прислан мне от царя Ших Алея, но у меня броня прародительская, над которой ломались мечи татарские, и другой мне не нужно...

Два боярских знакомца внесли чешуйчатую кольчугу из меди, с серебряными поручьями.

– Вот тебе, – сказал Курбский, – одежда для приема незваных гостей, меченосцев ливонских.

– Ты, воевода, их встретишь и угостишь, – отвечал посадник, – а нам, псковичам, принимать твоих пленников.

– В войне, посадник, до Пскова не допустим, но с ливонцами нужно ухо держать остро. Знает Ивангород!..

– И в прошлом году они набегали на область псковскую, в Красном выжгли посад, – сказал Булгаков.

– Теперь снова русские сабли засверкают над немцами и русские кони изроют Ливонию, – сказал окольныйничий, Даниил Адашев.

– Любо, князь Андрей Михайлович, смотреть на коня твоего, – вмешался в разговор князь Горенский. – В поле ты всегда далеко за собой нас оставишь. Конь твой как стрела летит.

– Так аргамак мой – царский подарок за ратное дело в Ливонии. Государь велел мне выбрать лучшего из его коней. А я умею выбирать... Конь мой, как вихрем, вынесет меня из закамских дубрав, из ливонских болот. Пожаловал меня царь; драгоценная от него шуба соболя – роскошь для воина, привыкшего к зною и холоду, но конь, товарищ в поле – мне приятнейший из царских даров.

– И золотого, с изображением лица государева? – сказал протяжно Басманов, указывая на медаль, висевшую на кольчатой цепи, поверх голубого кафтана юного воеводы.

– Здесь художник изобразил царя, – отвечал Курбский, – но сам царь запечатлел свой образ в моем сердце. Милостивое слово его выше всякого дара. Никогда, никогда не забуду.

ду последних слов его...

Курбский остановился и замолчал, не желая хвалиться пред всеми царскою милостию. Но всем было уже известно, что перед походом призвал Иоанн Курбского в почивальную и сказал: «Принужден или сам идти на Ливонию, или послать тебя, моего любимого. Иди побеждать!»

Уже придвинули лавки к длинным столам, накрытым узкими скатертями браными, на коих поставлены были деревянные блюда с золочеными краями, кубки, осыпанные перлами, и в красивой резной посуде стояли любимые приправы русского стола – лук, перец и соль. По зову хозяина, гости встали и, помолясь, шли к столам. Запестрела светлица разноцветными парчами, бархатом и струистою объярью богатых боярских кафтанов, ферязей, охабней. Садились по роду и старшинству: за большим столом сел наместник, воеводы и гости именитые, за сторонними – люди житые, дворяне и дети боярские. Один только гость не садился. Боярин Басманов хотел занять место рядом с Курбским, но окольный Даниил Адашев опередил его, и Басма-

нов, по предкам своим считавший себя старшим, остановился с неудовольствием.

– На пиру быть воеводам без мест! – сказал Курбский.

Смех гостей раздался по светлице, и Басманов, вспыхнув, сел ниже Адашева.

Пир начался жареным павлином и лакомым сбойнем из рыбы, приготовленным в виде лебедя.

Двое служителей с трудом несли на подставках огромного осетра.

– Богатырь с Волги, – сказал Адашев, – и не менее сверстнаго змея, из которого громили Казань.

Еще двое служителей несли щуку необычайной величины.

– Чудо морское! – молвил один из гостей, попятысь от зубастой, разинутой пасти.

– Щука шла из Новгорода, а хвост волокла из Белаозера, – сказал толстый новгородец, осушая братыню серебряную.

Янтарная уха, караваи обходили кругом стола, между тем зашипели кружки бархатным пивом, из рук в руки передавался турий золоченый рог с медом.

Заговорили о подвигах ратных, о войне ливонской.

– Ливонцы будут просить перемирия, – сказал наместник.

– Не устоять им ни в битве, ни в мире, – промолвил посадник. – Помнишь, как было под Ругодевом[7], когда они в перемирие, встретив великую пятницу за кубками, вздумали ударить из пушек через реку на Ивангород.

– Три дня, – сказал Курбский, – немцы пили без отдыха и три дня стреляли без умолку. Но, когда воеводы, дождавшись царского слова, грянули в них, витязи затихли и отправили в Москву послов просить мира, а мы взяли их Нарву.

– Бог явил великое чудо! – молвил игумен Корнилий.

– Расскажи, князь, порадуя сердца!.. – просили гости, и Курбский продолжал:

– Немцы, по обычаю, праздновали. В одном доме, где останавливались псковские купцы...

– В том самом, князь Андрей Михайлович, где проживал я с братом, отъехавшим в поморские земли, – сказал один из псковитян.

– Мы-то и оставили там на стене святую икону...

– Увидев икону, немцы вздумали над святынею рыцарствовать: сорвали со стены и бросили в огонь. Громко смеялись, но вдруг весь огонь ударил вверх и запылала кровля. К тому же нашла сильная буря; вихрем раскинуло пламя, и весь Нижний город огнем обхватило. Храбрецы с женами и детьми бросились бежать в замок Вышегородский, оставляя на страже у стен одни пушки. Стрельцы увидели и устремились через реку в ладьях на город ливонский; кому не досталось ладьи, тот плыл на доске; иные, выломав ворота домов и сдвинув на волны, переплывали реку. Воеводы не могли удержать ратников и пошли с ними. Все войско, как туча, поднялось на Вышгород. Опомнились немцы, но поздно. Русские сквозь дым и огонь вломились в ворота и громили ливонцев ливонскими же пушками. Ругодев сдался, воеводы ливонские вышли из города, как бы в укор себе неся мечи, коими не могли отбиться. Ратников их выпустили без оружия. Неисповедимы силы Христовы в обличение дерзающих на имя Его! А

икона найдена невредимою среди пепла и разрушения...

– Да прославляется Имя Господне! – сказал Корнилий. – Святую икону я принес в Москву, где царь встретил ее со всем освященным собором.

– Да прославляется Имя Господне! – сказал Курбский. – После сего двадцать градов ливонских пали пред русскими мечами.

– Да славится Иоанн, победитель Ливонии! – сказал посадник, встав с места и высоко подняв красную чару. – За здоровье царского дома!

– За здоровье царского дома! – раздался радостный крик, и все гости последовали примеру посадника.

– За здоровье царской думы его, за здоровье бояр родословных!

– За Алексея Адашева, царского друга, за Сильвестра, опору царства, – сказал с восторгом Курбский и первый осушил кубок.

– За Адашева, за Сильвестра! – повторилось в кругу пирующих.

Боярин Басманов, нахмурясь, сказал:

– Князь, кубок предложен за здоровье му-

жей стародавних в русских родах... Мы пьем за Шуйских, Пронских, Мстиславских...

– И Курбских! – перебил его Даниил Адашев. – Отчиною предков их было княжение ярославское. Одна любовь к отечеству осталась в наследие им!

– За наместника царского в Пскове! – предложил Курбский.

– Первым пить псковичам! – сказал посадник, обратясь к Булгакову. – После воеводы Турунтая, пожара и мора, которыми в прошлых годах Бог наказал их, они при тебе отдохнули!

– Теперь не страшимся и литовцев, – сказал тысяцкий. – Крепок Псков наш, огражден стенами, башнями, высокими насыпями, глубокими рвами.

– Не в стенах и не в башнях крепость его, – сказал Курбский, – но в мужестве граждан. Обступят ли Псков полки литовские, – пусть укажет воевода на гроб Довмонта, пусть повторит он ратникам слова его: «Братья, мужи псковские! Кто из вас стар, тот мне отец, кто из вас молод, тот мне брат! Перед нами смерть и жизнь. Постоим за Святую Троицу!»

Слова сии воспламеняют души мужеством и любовью к отечеству отразить силу противников. Так псковитяне, доколе гроб Довмонта и меч с надписью: «Чести моей никому не отдам останется в Пскове, дотоле останется Псков, и чести своей никому не отдаст!»

– За подвиги храбрых, за воителей доблестных, – сказал наместник. – Князь Андрей Курбский, ты носишь за отечество славные раны. Прежде всех пьем за здоровье твое!

– Много сынов у отечества! Да цветет славою Россия, – сказал Курбский, и слезы заблестали в глазах его.

– Воевода Басманов! – заметил посадник. – Ты не выпил кубка.

– По всему видно, посадник, что в высоком доме твоём глубокие погреба, – отвечал Басманов, неохотно поднимая кубок.

Румянец блистал на лицах; веселые гости шутили. Разрушили коровайную башню, за нею появился на столе сахарный медведь.

– Не взыщите, дорогие гости, – говорил посадник, – чем Бог послал.

Бояре обнимались с ним и обнимали друг друга.

– Сладок твой мед, – сказал наместник посаднику, – но слаще из хозяйкиных рук. Доверши твой пир, почти гостей, покажи нам посадницу!

Посадник вышел и возвратился с хозяйкою. Низко поклонилась она гостям. Из-под накладных румян нельзя было видеть румянца стыдливости; но изумрудное ожерелье колебалось над атласным ферязем прекрасной посадницы; жемчужное зарукавье дрожало на полной руке, из-под черных ресниц голубые глаза не поднимались на любопытных гостей. Взяв серебряную стопу, налила она шипящего меду в кубок, первому поднесла с поклоном своему мужу, потом стала к стене и, склоняясь застенчиво на белый рукав, потчевала подходящих бояр и воевод; потом, снова приветствуя поклоном всех гостей, вышла.

– Не правда ли, князь, что две родные сестры не сходнее, как твоя княгиня с посадницей?.. – сказал Даниил Адашев Курбскому. – Одна разница, что княгиня твоя, против обычая, не белит, не румянит лица, за что ее жены наши, по Москве, осуждают.

– Не наряд жену красит, а кротость, – отве-

чал Курбский.

– Когда-то, – сказал Адашев, – попируем мы в семье твоей?

– Я живу в ратном поле. Родительницу свою мало видел, от жены был далеко. Но завоюем Ливонию, отдохнем в Москве. Будем беседовать с Сильвестром, с братом Алексеем Адашевым. Повеселимся в полях с соколами и с белыми кречетами. Помнишь, в забавах мы были всегда неразлучны, как теперь сын твой Тарх и мой Юрий.

– Тесть мой, Туров, ждет не дождется, когда мы будем вместе.

– Туров? – переспросил посадник. – Каково поживает старый друг мой?

– Прихварывал, – отвечал Даниил Адашев, – но целебные травы, которые посылал я из Ругодева к родственнице нашей, Марии, помогли ему.

– Но видение его не к добру, – сказал Курбский.

– Какое видение? – спросил с любопытством посадник.

– При отъезде моем из Москвы, – сказал Курбский, – Туров сказал мне: «Прощай,

князь, не увидимся!»! – Я изумился. «Как не увидимся?» – спросил я его. – «Скоро дети наденут по мне смиренное платье[8]». – «С чего тебе в мысли пришло?» Тогда он рассказал мне странный сон. «Я видел, – говорил он, – видел так ясно, как теперь тебя вижу, что я иду по высокому и длинному мосту. Казалось мне, будто, вступая на него, я был еще в летах детства. Около меня резвились товарищи моей юности. Многих из них я давно уже похоронил и оплакал. Идучи, я скоро потерял их из виду, и казалось мне, будто бы я чем далее шел, тем более входил в лета, и скоро постарел... Увидел я семейство мое, Адашевых, тебя. Вдруг мост, который был тверд, стал подламываться под ногами моими, доски распадались, и я с трудом пробирался по остающимся бревнам, над кипящими в глубине волнами. Внезапно как бы хладный лед коснулся руки моей, и я увидел, что возле меня кто-то стоял под белым покровом. В это время ударил вихрь с облаком пыли, сорвал белый покров и обнажил остов безглавый, у ног которого лежала в крови моя голова. Мост обрушился, я закричал – и проснулся. В волнении

духа я устремил глаза на мою рукописную Библию; она лежала, раскрытая, на столе у постели моей, и я, обернув лист, на котором за день пред тем остановился, читал: се глад и казнь! – Ужасное предвестие охладило кровь в моем сердце». Так говорил мне Туров и прибавил: «Прощай, Курбский!» – Сознаюсь, бояре, какое-то печальное чувство тогда овладело мною, и я не мог с Туровым без скорби расстаться.

– Оставим женам боязнь, – сказал Даниил Адашев, – удалим смутные мысли. Сегодня Туров пирует в царских палатах с моим братом.

– А мы здесь выпьем за здоровье его, – сказал наместник. – Здоровье друга моего Турова!

– Здравие Турова! – повторили гости.

В это время прибыл гонец из Москвы, с грамотою государевою, к князю Андрею Михайловичу Курбскому. Низко поклонясь всем боярам, он почтительно подал Курбскому царскую грамоту.

Курбский развернул свиток и стал читать письмо Иоанна.

Царь благодарил его за поспешность в распоряжениях воинских, хвалил доблести его и заканчивал письмо надеждами на новые победы, указывая ему первой целью – считавшийся неприступным – замок епископа Ревельского, Фегефейер[9].

– Ступай, князь православный, в немецкое чистилище! – сказал, шутя, наместник Булгаков.

Между тем гонец подал Даниилу Адашеву свиток, запечатанный перстнем его брата Алексея Адашева.

С изумлением читал окольный писем брата и не мог скрыть своего смущения.

– Курбский! – сказал он затем. – Брат мой оставил царскую думу и принимает начальство над войсками в Ливонии. Сильвестр удалился в обитель Кирилла Белоозерского. Тесть мой Туров... – Он не договорил, закрыл руками лицо и подал писем Курбскому.

Тот прочел: «Туров в темнице...»

Басманов улыбался.

Изумление выразалось на лицах всех. Каждый старался постигнуть причину внезапного удаления Адашева и Сильвестра и

каждый спешил переговорить о том наедине со своими ближними.

Посадник проводил до крыльца последнего гостя, покачал головой, взглянув на служителей, выносивших в кладовую серебряные чары и кубки, вздохнул и в раздумье вышел из опустевшей светлицы.

Глава III. Подвиги

Пыль поднималась по дороге из Дерпта к Виттенштейну; при сиянии майского солнца как будто бы молния засверкала вдалеке; гуще становилась пыль, ярче ослепительный блеск, и вот – показались всадники в светлых шлемах, в ратных доспехах. На развевающихся знаменах плыли в воздухе святые лики. То было войско, предводимое князем Курбским и Даниилом Адашевым. Сначала легкий яртоульный отряд пронесся на быстрых конях. За ним показался передовой полк с воеводой князем Горенским. Воевода князь Золотой замыкал этот полк с дружиной городецких людей. С ним были татары и башкирцы, искусные стрелометники. Выступил и большой полк. Всякий, кто искал взглядом

Курбского, мог узнать его. Стальной шлем, украшенный бирюзой, покрывал смуглое его лицо. Гонцы скакали вслед за воеводами, спеша передавать их повеления другим вождям. Свободно опустив поводья и с легкостью обертываясь во все стороны, они стегали неподкованных ногайских коней. Левую руку вел князь Мещерский, сторожевой полк – воевода князь Троекуров. Грозен был вид войска, немногочисленного, но избранного. Ратники облечены были в брони кольчатые, острые шлемы их продернуты были для отвода ударов с чела стрелою булатною; головы вождей осеняли высокие шишаки ерихонские, грудь их покрывали доспехи зеркальные из отсвечивающей стали. Кривые сабли блестели у высоких седел; с другой стороны колебались сайдаки с тугим луком, лес копий сверкал остриями; в колчанах стучали стрелы. Величаво ехали головы пред дружинами боярских детей, пред десятнями дворян. За воеводами следовали ратники их со знаменем; за детьми боярскими – их поместные служивые люди, иные в панцирях, иные в толстых тигилях, в шапках железных[10]; одни с саблями, другие

с зубчатыми железными шестоперами; дальше везли огромные стенобитные пушки, высокие туры, тянулись вьючники, обозные, и служители вели за шелковые поводья запасных воеводских коней. Так подвигалось войско к Виттенштейну, от которого Курбский и Адашев устремились на Фегефейер.

Пал Фегефейер. Ни тучи камней, летевших с раскатов, ни гроза огнеметных орудий, ни высота крепких стен, ни глубина широких рвов не могли защитить его. Воины ливонские, угрожаемые от русских опустошением и проклятиями от епископа Ревельского, хотели остановить Курбского; пламень открыл ему путь: с приближением ночи Фегефейер запылал; страшное зарево с горящих башен хлынуло по небу, осветило ток быстрой реки, железные подъемные мосты, грозные утесы, темные пещеры; и в сие время меч Курбского губительней пламени заблистал на высоте Фегефейера. С зарей над пеплом развалин раскинулась русская хоругвь. Часть стен обрушилась в глубокие рвы. Громада камней осталась на месте великолепной палаты, в которой епископ Ревельский некогда угощал

рыцарей.

Подобно буре опустошительной, Курбский и Адашев протекли по области Коскильской. Поля потоптали конями, замки истребили огнем. Русская сила одолела ливонскую гордость; ратники серебром и золотом угрузили обозы; гербами, сорванными со стен, разводили огонь.

Войско быстро переходило от одной усадьбы к другой, страх предтекал ему, и богатые жители прекрасных мест, оставляя дома свои, спешили спасти жизнь и свободу.

В одном из замков Курбский, который всегда щадил слабость и приветливо обходился с побежденными, увидел старца, изнуренного страданием, на одре болезни. Никого не осталось при нем в пустых покоях, кроме верной собаки, которая одна не покинула больного господина и с лаем бросилась на вошедших воинов. Удар палицы – и бедное животное погибло бы, но Курбский вырвал палицу из рук замахнувшегося ратника. «Не бесчесть оружия!» – крикнул он и подошел к старцу. То был рыцарь Гуго фон Реден. Неблагодарные слуги его разбежались, видя приближение

русского войска. Оставленный своими, Реден не ожидал от врагов пощады.

Курбский старался успокоить страждущего и приказал одному из воинов неотлучно быть при Редене, пока не возвратятся разогнанные страхом служители замка.

– Да благословит тебя небо за сострадание! – сказал Реден. – Но я лишился всего, что имел драгоценного в жизни, и жду смерти, как последнего блага.

Узнав, что единственный внук Редена захвачен в плен в немецком отряде под Виттенштейном, Курбский велел освободить его для утешения последних дней немощного старца.

Юноша, закованный в цепи, слышал от товарищей, какая участь ожидает его в Пскове – куда ссылались пленные. Воспитанный в избытке и роскоши, он представлял себе весь ужас неволи – вязни, так назывались пленники, укрываясь от стужи и непогод в ямах, томимые голодом, выходили, подобно привидениям; с жадностью кидаясь на хлеб, бросаемый им за ограду. Блестящие мечты уже исчезли в его воображении, надежды замерли в сердце, – и вдруг он возвращен в дом отече-

ский!

Курбский был при свидании старца с внуком, видел радостные слезы их. Между тем как многие в стане роптали, что воевода уменьшает число царских пленников, и тайные враги Курбского стремились к достижению своей цели, молва о сем достигла до пленников ливонских, взятых под Виттенштейном. Чего не могли вынудить у них страхом, в том успело великодушие. Один из пленников просил быть представленным Курбскому, и воевода узнал от него, что не далее, как в восьми милях от русского войска, остановился прежний ливонский магистр Фюрстенберг с сильным отрядом и, огражденный болотами, выжидал случая напасть с верным успехом.

– Не нам ожидать Фюрстенберга: пусть он ждет нас! – сказал Курбский и под прикрытием ратников, отправя в Юрьев обозы, отягощенные добычей, оставил при себе полк яртоульный, всадников легких и смелых и вместе с Адашевым, задолго до рассвета, двинулся вперед.

Забелел день, и россияне уже считали вто-

рой час от восхождения солнечного, когда войско с трудом пробралось сквозь чащу густого леса и увидело перед собой вязкие болота, поросшие мелким кустарником. Воеводы тронулись вперед и за ними ратники, сперва строем, но вскоре принуждены были разделиться на малые отряды, стараясь миновать болота излучистыми дорогами; но чем далее, тем опаснее был путь, и наконец воинство увидело себя окруженным отовсюду болотами. Ратники стелили хворост, кидали камни, сыпали землю... Курбский остановился, наблюдая, как перебирались всадники, как малорослые кони их, боясь увязнуть в тине, медленно подавались вперед, ощупывая ногою надежную землю.

– Счастье твое с нами! – сказал Даниил Адашев Курбскому. – Если бы нас было втрое более, – когда бы Фюрстенберг вздумал искать нас, он здесь бы нас встретил и положил.

– С каждым шагом мы ближе к нему! – сказал Курбский. – Вперед, воины!

Аргамаки, грудью разбивая топь, стремились выбраться из болота. Кони, выбиваясь из сил, грузли в провалинах или с бешен-

ством сбрасывали с себя неосторожных всадников. Так прошел целый день. Солнце уже низко стояло на западе.

– Еще немного, – кричал Курбский, ободряя всех, – я вижу вдалеке поле, еще немного, и мы выступим на твердую землю...

Внимая вождю, воины понуждали коней, и кони, всю силу вырываясь из мутной топи, по хвосту и буграм окреплой земли наконец вынесли всадников на широкое поле.

Солнце расстилало яркие лучи на западе; воины дали свободу усталым коням отдохнуть на мягкой траве.

– Еще подвиг ждет нас! – сказал Курбский. – Приготовимся ударить в ливонцев; между тем дворяне осмотрят, далеко ли от нас Фюрстенберг.

Присев с Даниилом Адашевым под старой липой, весенняя зелень которой златилась, раскидываясь против солнца, Курбский задумчиво смотрел, как светило опускалось на край небосклона. Он взглянул на Даниила и увидел, что тот омрачен был глубокою думой.

– Понимаю скорбь твою! – сказал Курбский. – Но когда объяснятся наши сомнения,

увидим, чего ожидать. Скоро обнимем твоего брата и узнаем, в чем оправдать Турова...

Даниил молчал. Он только пожал руку Курбского.

– Кто имеет завистников, тот имеет и заслуги, – продолжал Курбский. – Надейся, друг мой! Царь благопринятно примет письмо твое.

Возвратившиеся дворяне известили, что немецкий стан в десяти верстах, что Фюрстенберг с многочисленным войском расположился на поле.

– Увеселим их победой! – сказал Курбский и сел на коня; за ним последовали все воины. Скоро закатилось солнце; багряная черта бледнела и угасла на западе; густой туман, как будто бы рекою разлившийся, поднимался с болот, слабый свет еще облакал западный край; в сумрачном востоке засияла луна, и чем далее текла по небу безоблачному, тем более проясневала чистейшая лазурь. Какой-то легкий свет, успокаивающий зрение и наполняющий негой сердце, разливался на все. Тихо шли кони еще усталые, глухой шум однообразно отдавался от шагов их, и ничто

более не нарушало безмолвия ночи.

Но замелькал вдали рыцарский стан, и в самую полночь Курбский дал знак стрельцам отделиться и ударить на передовые полки. Ливонцы, услышав топот коней, оторопели и спешили отразить внезапное стремление неприятелей стрельбою, но удары были неверны; при блистании огней их – тем вернее разили русские стрелы; смятение распространилось в ливонских полках: все войско Фюрстенберга смешалось. Тогда Курбский врезался в ряды ливонские, и закипела сеча. Стесненные своею многочисленностию, осыпаемые с налета быстрыми ударами, ливонцы не успевали отбиваться мечами, и вскоре поле покрылось обломками немецких орудий. Русские сбили ливонцев и гнали их, вырывая мечи из их рук, свергая с коней, громя шестоперами, саблями, бердышами. Глубокая река заграждала путь; чрез нее лежал мост, и ливонцы устремились туда; но под толпами бегущих мост подломился, всадники с конями оборвались в реку, хлестнувшую пенным валом. Тогда Курбский усилил стремительный натиск. Страшный крик раздался, и бе-

жавшие на мост ливонцы, в смятении порываясь вперед, падали с обрушенных бревен или, бросаясь с высоких берегов, опрокинутые конями, сдавленные доспехами, гибли в реке.

Едва магистр с немногими воинами успел пробиться; пользуясь лунной ночью, доскакал до отлогого берега и переплыл реку. Между тем еще продолжалась сеча. Луна исчезла, восток разъяснел, а еще слышался треск копий и мечей; но с воссиявшим солнцем последние из бьющихся рыцарей или легли на поле, или сдались победителям. Немногие из робких укрывались еще за пригорками, за деревьями и умножили число пленников Курбского. Стан магистра был взят на щит, и русские полки с торжеством вступили в Дерпт при громе труб.

На рассвете приспела в Дерпт новая дружина. Две тысячи охотников из Пскова и Новгорода, между коими много было сынов знаменитых родителей, взяли оружие, чтоб сражаться под хоругвией Курбского. При рассказах о подвигах его юные сердца их разгорались мужеством, и они, испросив слово посад-

ников и благословение отцов на ратное дело, пришли участвовать с Курбским в битвах и славе.

Воевода встретил их радостно и, сведав, что Фюрстенберг со свежими силами спешит к укрепленному Феллину, послал легкий татарский отряд вызвать огнем и мечом Фюрстенберга из Феллина, а дружине охотников выжидать в засаде с полками, когда он появится, и опрокинуть его. Курбский предвидел последствия: Фюрстенберг будет снова разбит и одному счастью в бегстве – снова обязан спасением.

Еще были битвы и еще победы. Тщетно Фюрстенберг и ландмаршал Филипп Бель хотели поставить преграды Курбскому. Одно его имя уже было грозой Ливонии. Никто не мог устоять против его порыва, никто не удержал его. Ревнуя славе побед, Курбский не ожидал подкрепления; но Иоанн спешил одним ударом решить участь Ливонии. Шестьдесят тысяч воинов уже шли к Дерпту, и царские гонцы летели с разрядными списками к воеводам.

Глава IV. Свидание

Курбский, который не искал почестей, но случаев к подвигам, уступил другому начальство, принял звание воеводы передового полка, прославленное им в первом походе ливонском, и поспешил навстречу вступающему воинству.

Почтительно приветствовал он сановника царской думы и первого воеводу большого полка князя Мстиславского. За ним дружески встретил воеводу Михаила Морозова; но при виде третьего воеводы изменился в лице. «Друг Адашев!» – вскрикнул он, стремительно соскочив с коня и бросаясь в объятия Алексея Адашева. Тут же встретил брата и Даниил Адашев.

– И ты идешь на Ливонию? – сказал Даниил, стараясь скрыть душевное смущение.

– Я желал отворотить меч Иоанна, – отвечал тихо Алексей Адашев, – но война пылает: иду служить царю, как воин его. – Братья сподвижники! Да совершится скорее жребий Ливонии, чем гибнуть ей в терзании медленном...

В это время раздался шум в толпах народа, окружающего воевод. Увидели князя Петра Шуйского, прославленного взятием Дерпта. Он вел правую руку воинства: смелых стрельцов, ратоборных казаков. Воевода сей, чтимый за славу мужества, умел заслужить любовь побежденных им. Граждане дерптские взирали на него с почтением; вспомнили его кротость, приветливость, благотворения.

Звучали трубы, народ толпился по тесным улицам Дерпта, даже кровли домов были покрыты любопытными; из длинных, с железными решетками окон смотрели рыцари и старейшины дерптские на русское воинство, проходящее в грозном величии.

– Помнишь ли, – говорил один из старейшин дерптского магистрата, Ридель, рыцарю фон Тонненбергу, – как два года назад въезжал сюда князь Шуйский? На этом самом месте мы его встретили с золотой чашей; пред ним развевалось белое знамя мира. Он обещал Дерпту тишину, благоденствие и сдержал свое слово.

– Помню, что он славно угощал нас в дерптском замке, – отвечал Тонненберг, – но

признайся, почтенный Ридель, – прибавил он с лукавою улыбкою, – что ты не от сердца хвалишь эту тишину и благоденствие, а потому, чтоб не лишиться своих владений при Эмбахе.

– Для чего же ты, храбрый рыцарь, остался в Дерпте, владея крепким замком близ Нарвы?

– Я оставил замок свой на волю судьбы; ждал, что он будет сожжен если не московцами, то ливонцами; но, к счастью, он огражден лесами и отстоит далеко от большого пути.

– Жаль, если ты остался в Дерпте для прекрасной дочери бургомистра, Амалии Тиле; она последовала в Москву за отцом.

– Вот как мало ты знаешь меня, Ридель! Я не остался бы в Дерпте ни для Амалии, ни для твоей прелестнейшей дочери, для которой я готов на турнире переломать столько же копий, сколько выпить кубков в память твоих благородных предков. Нет, Ридель: клянусь, что готов отказаться от охоты, от вина и ласкового взгляда прекрасных, если уступлю самому Гермейстеру – в желании служить Ливонии. Знаю, что не только нас и светлейше-

го епископа Дерптского орденские братья укоряют в измене, но не сброшу с себя белой мантии, и сердце мое бьется для отчизны под крестом меченосца. Не мечом, благоразумный Ридель, мы можем сохранить отчизну. Ты видел замки разрушенные, поля под пеплом. Неотразимая рука Курбского, кажется, обрекает Ливонию гибели, – этого мало; ты видишь русские силы, видишь, какая новая туча готова разразиться. Признайся, что Ливония не может уцелеть от русских мечей...

– Как! – прервал его с жаром Ридель. – Феллин еще непоколебим, Рига недоступна, Фюрстенберг не унывает, мудрый добродетельный Бель еще жив, и отважный Кетлер – надежда отчизны – стоит за Ливонию. Литовцы, датчане, шведы дадут ей помощь...

– Этот щит, – сказал Тонненберг, – тяжелее меча Иоаннова. Ходатаев за Ливонию много, но каждый смотрит, как бы далее занести ногу на ее земли...

– Чем же можем мы быть полезны отечеству?

– Удерживая удары русских мечей, склоняя ливонских владельцев не раздражать беспо-

лезным противоборством страшного противника. В Дерпте не осталось бы камня на камне, если бы Дерпт не сдался... Но верь, достопочтенный Ридель: все равно, кто бы ни обладал Ливонией, лишь бы мы сохранили поля наших вассалов, сберегли замки и города наши. Уступая судьбе и силе, должно помогать успехам русских воевод и словом сказать: служить Иоанну, чтоб служить Ливонии.

Ридель не отвечал и, казалось, погрузился в размышление, Тонненберг знал Риделя и его связи. Он был уверен, что сказанное не напрасно.

Вдруг откинулся ковер, закрывающий дверь, и вбежал, легкая, как ветерок, миловидная дочь Риделя.

– Минна сегодня долго была в церкви, – сказал Ридель, поцеловав дочь.

– Ах, батюшка! – отвечала, покраснев, Минна. – Пастор говорил сегодня длинную проповедь, и она показалась мне тем более, – продолжала она, взглянув украдкой на Тонненберга, – что в церкви было пусто, а на улицах так тесно от московского войска, что мы с Бригиттою едва могли добраться до нашего

дома.

– Признайся лучше, что ты любопытна и не столько спешила домой, как хотела посмотреть на московское войско?

– Это правда, но я смотрела более с боязнью, нежели с удовольствием, на это воинство. Это не рыцари: с шлемов их не развеваются густые перья; длинные кольчуги их не обнимают стройно стан, как рыцарские латы; золотые шпоры не звучат на ногах их, и на груди их не видно обета храбрости, креста меченосцев...

Отец громко засмеялся при этих простодушных словах, которые для Тонненберга были приятным признанием, что Минна равнодушна к нему.

Между тем русские воеводы собирались в дерптском замке. Мстиславский, сойдя с коня и остановившись у крыльца, еще раз оглядывая проходившие войска, шутя, сказал Даниилу Адашеву:

– Теперь ты, воевода от наряда, отворяй нам ворота городов ливонских! Смотри, – продолжал он, указывая на далеко протянувшийся ряд тяжелых орудий, – смотри, сколь-

ко великанов в твоих повелениях! Непоразимые слуги твои сокрушат твердыни ливонские!

Тихая ночь заступила место ясного дня. Звезды блестели на темной лазури неба. Близ дерптских ворот на далеком пространстве белели шатры. Усталые стражи, опираясь на бердыши, прислушивались к малейшему шуму; но так было тихо, что можно было слышать, как при полете ночной птицы вздрагивал чуткий конь, привязанный к жерди. Все смолкло в городе, все успокоилось, но в готической зале дерптского замка, в которой позлащенная резьба почернела от времени, еще беседовали три русских вождя. То были братья Адашевы и князь Курбский.

– Тесть мой прав! – сказал с жаром Даниил Адашев. – Он прав, устыдив клеветников твоих. Я также бы разорвал связь с Захарьиными.

– Брат! – отвечал Алексей Адашев. – Ветер волнует море, оскорбления раздражают врагов. Туров в темнице, и что всего горестнее, он за меня терпит, за меня понес опалу!

– Не опала постыдна, а преступление! – пе-

ребил его Даниил. – Чем виновен Туров? Обличением Захарьиных. Не оскорбись, Курбский! Знаю, что царица тебе ближняя сродница, но и ты знаешь, что ее братья всему виною. Я не узнаю Иоанна. Он верит Захарьиным. Но где был Сильвестр, что делал ты, Алексей, – любимец, друг царя? Или забыл Иоанн, что не Захарьины, а ты с Сильвестром открыл ему стезю, достойную величия царского? Чем заслужил ты ненависть? Чем навлек клевету?

– Не дивитесь, – отвечал Алексей Адашев, – что сияние царской дружбы, падая на юношу, не знаменитого родом, раздражило честолюбцев. Захарьины могли сетовать на возвышение Адашева и силу Сильвестра. Они возмутили подозрением спокойствие Анастасии; внушили, будто бы Сильвестр и Адашев, тайные недоброжелатели ей, ждут только кончины царя, чтоб посягнуть на измену сыну царицы и предать трон князю Владимиру Андреевичу.

– Тебя ли подозревать, – сказал Курбский, – когда целью всех дел твоих было благоденствие России и слава Иоанна?

– О други, что говорите обо мне, когда и Сильвестр устранен от Иоаннова сердца. Беседы его стали в тягость царю! Иоанн, стыдясь уже слушать советы от бывшего священника новгородского, забыл в нем мужа, который во время бедствия предстал ему вдохновенный истиною, и, мудрый опытом, тринадцать лет поддерживая кормило правления. Сильвестр, видя, что время его миновало, с лицом светлым благословил Иоанна и отошел в обитель пустынную.

– Иоанн не совсем еще изменился к тебе, – сказал Даниил, – если по навету Захарьиных он желал удалить тебя, то для чего же почтил званием воеводы большого полка?

– Огонь светильника, истощаясь, еще вспыхивает – и угасает. Иоанн отказал просьбам и слезам моим о прощении Турова... «Он не чтит царского рода, – сказал государь, – он раб-зложелатель. И ты, – продолжал он с гневом, – неблагодарный любимец, хочешь мне преграждать пути к славе моей!» Тогда он напомнил слова мои, что благоденствие России не требует разорения Ливонии. – «Государь! – отвечал я. – В царской думе я гово-

рил как призванный тобою к совету, но, как слуге твоему, дозволю тебе пролить мою кровь за тебя в войне ливонской». «Иди воеводою с князем Мстиславским», – так сказал Иоанн, – и Адашев с вами.

– А зависть и злоба не дремлют! – сказал Курбский. – Кто заменит царю тебя и Сильвестра? Пылкое сердце Иоанна любило добродетель, но опасно волнение кипящих страстей его.

– Анастасия успокоит их, – отвечал Алексей Адашев.

– Нет, она доверяет братьям своим, – сказал Даниил, – и Туров – жертва мести их...

– Он великодушно переносит бедствие, – проронил Алексей.

– Нет, я не могу этого так оставить, – сказал Даниил. – Я поспешу в Москву, паду к ногам Иоанна, покажу ему раны, которые понес за него в полях казанских, в степях ногайских, и когда первый я вторгся в Крым и заставил трепетать имени Иоаннова там, где русская сабля еще не обагралась кровью неверных! Я сниму золотые с груди моей и буду просить одной награды – оправдания

невинному старцу; или разделю с ним жребий его, или царь с него снимет опалу...

– Успокойся! – сказал Курбский. – Иоанн вспомнит Адашевых. Обратимся к самой Анастасии для защиты Турова. Усыпим зависть братьев ее дарами от корыстей ливонских. Еще есть надежда.

Глава V. Великодушный пленник

Крепкий Феллин был оградой Ливонии: Адашев обдумывал средства овладеть им. Между тем в русский стан дошел слух, что Фюрстенберг для охраны военной казны и запасов хотел отправить их в Гапсаль, лежащий у моря. По совету Алексея Адашева, воеводы разделили войско. Одна часть полков с воеводою Барбашиным должна была обойти Феллин и преградить путь Фюрстенбергу; другая, сильнейшая, пошла вдоль берега глубокого Эмбаха, а по волнам на судах потянулись тяжелые картауны[11], грозящие Феллину.

Барбашин спешил, невдалеке уже чернели городские башни Эрмиса; июльское солнце палило, пар подымался с хребтов усталых ко-

ней. Между тем в Эрмисе ландмаршал Филипп Бель с немногими, но храбрейшими рейтарами и черноголовыми витязями нетерпеливо ожидал случая к победе – и, сведав, что русское войско показалось на поле перед Эрмисом, налетел на передовые отряды. Стражи ударили тревогу; но Бель, опрокинув их, вторгся в середину войска – и загрелась отчаянная битва. Далеко слышались треск орудий и крики сражающихся. Вожатые ополчения Алексея Адашева поспешили из-за леса на шум битвы, и воевода, быстро обойдя неприятелей, окружил, стеснил изумленного Беля. Сколько ни порывался храбрый ландмаршал, разя и отражая, сколько ни отбивались шварценгейнтеры, закрываясь щитами, отличенными головою Мавра, но щиты их разлетелись в куски, черные брони иссечены, голубое знамя растерзано. В русских полках раздался клик победы, и Бель по трупам своих и россиян, вырвавшись из сомкнутых рядов, понесся к городу на быстром коне; но за ним ринулись русские всадники. Его настиг сильный Непея, слуга Алексея Адашева, и, богатырскою рукою удержав его коня, взял в

плен знаменитейшего мужа Ливонии.

Перед Феллином сошлись все воеводы торжествовать победу. Повелели представить пленника. Появившись перед собранием русских вождей, благородный старец приветствовал их, но не с робостию, а с величием витязя доблестного; пожал руку простодушного Непеи и с веселым лицом сказал:

– Старость немощная должна уступить бодрой юности!..

– Но для чего ты осмелился напасть на полки многочисленные? – спрашивали его воеводы.

– Победители знают, что сила не в числе, но в мужестве воинов, – отвечал Бель. – Вы сражались для добычи, а я за отчизну!

Вожди были изумлены храбростью Беля. Курбский подошел и обнял его. Окруженный вождями, Бель не столько казался пленником, сколько военачальником, равным им.

– Скажи ему, князь, – сказал Мстиславский Шуйскому, – что у нас тяжело быть в плену и чтобы он поберег веселость свою.

– Воевода! – отвечал Бель. – Случай сделал меня пленником, но веселость – дочь спокой-

ствия и мать терпения; дозволю же не разлучаться мне с таким прекрасным семейством.

Прошло несколько дней, и воеводы, желая насладиться беседой мудрого Беля, пригласили его к пиршеству.

Старец сидел за столом между Курбским и Алексеем Адашевым. Мальвазия лилась в немецкие драгоценные кубки, и золотая неволя[12] переходила из рук в руки.

Бель отказывался от кубка, но сам Мстиславский сказал ему:

– Мы отдаем честь твоей храбрости в битве; не нужно быть робким и в пиршестве. Это мой походный дедовский кубок, и на нем надпись: «Неволюшка, неволя, добрая доля. Пей, не робей!»

– Пей! – повторили воеводы и пожелали Ливонии прочного мира.

Бель выпил.

– Так! – сказал он. – Ваше мужество водворит мир в Ливонии; но следами его будут пустые поля, развалины городов, могилы детей наших!.. Не того ожидали отцы наши. Было время, когда Ливония не страшилась врагов. Сильные верою торжествовали над силой.

Твердые в добродетелях умели защищать отчизну и умирать за нее. Господь был за нас. Хвалимся славным преданием: в битве кровавой с воинством Витовта пал орденский магистр Волквин, избрали другого, и тот пал! Еще избрали, но, сменяясь один за другим, еще четыре орденских магистра легли за отчизну. И наши отцы были достойны столь славных предков. Но когда мы отступили от благочестия и забыли веру отцов, Бог обличил нас гневом своим. Прародители воздвигли нам твердые грады, вы живете в них! Они развели нам сады плодоносные, вы наслаждаетесь ими. Но что говорю о вас? Ваше право – право меча; а другие, коварно лаская нас, обещая нам помощь, захватывают достояние наше. Несчастливая отчизна моя, ты гибнешь и от врагов, и от мнимых друзей!.. Оковы...

Слезы помешали говорить ему.

– Оковы бременят меченосцев! – продолжал он. – Но не думайте, что превозмогли нас храбростию: нет! Бог за преступления предал нас в руки ваши. Но благодарю Бога, – сказал Бель, отерши слезы, – благодарю, я стражду за любимое отечество!

– Еще имеет Ливония мужей доблестных, – говорил князь Шуйский. – Найдется не один Тиль.

– Не много подобных ему! – отвечал Бель. – Тиль убеждал граждан жертвовать богатством для спасения отечества. Наша драгоценность – мечи; спасем ими родину. Пожертвуем золотом, найдем и помощь и войска умножим. Не отвечали на призыв его и не дали золота.

– Но шесть лет сражались как рыцари, – сказал Шуйский.

– Великодушие крепче силы – и Дерпт тебе сдался, – отвечал Бель.

– Я слышал, – продолжал Шуйский, – что когда оставалось печатью скрепить договор – старик Тиль еще раз вызывал, кто хочет идти с ним – умереть за родину?

– Так! – сказал Бель. – Но в Дерпте много буйных Тонненбергов, а Тиль был один.

Беседуя с Мстиславским, Курбский не вслушался в его слова.

– Люблю вашего Паденорма! – сказал Шуйский. – Мы разрушили стены, сбили башни – он не сдавался; мы овладели городом, а он все

еще отбивался и не сдался. Почитая доблесть, я дозволил ему выйти с честью с его витязями.

– Я видел его, – сказал Курбский, – израненный, покрытый пылью и кровью, он выходил из города, от утомления опираясь на двух рыцарей. Черные волосы его разметались по броне; один из рыцарей, поддерживая его, нес его шлем, другой – щит.

– Счастливее его был ваш Андрей Кошкаров, – сказал Бель. – С горстью воинов он отразил от Лаиса все ополчение нашего Кетлера.

– Есть еще у нас витязи! – воскликнул Шуйский. – Даниил Адашев на крымской земле, сам построив лодки, взял два турецких корабля; корабли оставил, пленных помиловал, а чтоб не кормить даром, отослал к турецким пашам в Очаков. А Курбский наш с братом Романом в воротах Казани, с двумястами воинов остановил десять тысяч татар!

– Хвала храбрым! – раздался крик пирующих. – Наполняйте кубки.

– Кубки знакомые, – заметил Бель, – они стучали на столах нашего Гольдштерна и за-

глушали стон вассалов его.

– Да, – проговорил Курбский, – не помогло богатство Гольдштерну. Цепь золотая в полпуда блистала на нем, но в нем – золотника мужества не было.

Курбский, извещая Иоанна о победах, писал к нему о милосердии к Турову; к добродетельной Анастасии о заступлении за друга его. Но в тот самый час, когда оканчивал он письмо, свершилось бедствие неожиданное. Нетерпеливо ожидал Курбский ответа, еще нетерпеливей Адашевы, готовясь на решительный приступ к Феллину. Вдруг поразила всех громовая весть, что Россия осиротела царицею, что Анастасии не стало...

Глава VI. Клевета

Уже две недели не умолкала гроза войны перед Феллином. Гранитные ядра, раздробляя камни, врезались в твердые стены. Долго стоял оплот Феллина; наконец, с разных сторон пробитый ударами, рассыпался и открыл путь воинству русскому; но еще за рвами глубокими возвышались на крутизнах три крепости, и с древних башен, и с зубчатых стен, и с валов, поросших мохом, зияли ряды медных жерл, готовых встретить адом смелых противников. Там был и сам магистр с наемниками, служившими за ливонское золото. Там были собраны сокровища рыцарей.

В это время из Псковопечерской обители прибыл в русский стан священник Феоктист.

– Бьет челом воеводам ваш богомолец игумен Корнилий и прислал к вам со мною благословенные хлебы и святую воду, – говорил он князьям и боярам.

– Да будет предвестием радости твое пришествие к нам в дни скорби! – сказал князь Мстиславский.

– Господь споспешествует вам, воеводы

доблестные, – говорил смиренный иерей, – молитвами Владычицы Господь да поможет вам преложить скорбь на радость. Он возвал от земли царицу, но не отъемлет от вас благодати своей!

С этими словами, взяв кропило с серебряного блюда, поддерживаемого иноком, и крестообразно оросив святою водою хоругви ратные и вождей, Феоктист сказал троекратно:

– Сила креста Господня – да будет вам во знамение побед!

И в тот же час ударили из всех пушек в проломы стен феллинских; вспыхнуло небо, застонала земля. При мраке наступившей ночи посыпались на верхний замок каленые ядра, пробивая кровли зданий, и с разных концов Феллина пламя, вырываясь столбами сквозь тучи дыма, слилось в огненную реку, стремившуюся к валу крепости. Клокотало растопленное олово на высоких кровлях, с треском падали башни и рушились пылающие церкви.

По темным переходам, по извивающимся лестницам вооруженные рыцари спешили в обширный зал Фюрстенберга, освещенный за-

ревом пожара, которое отразалось в Феллинском озере. В этом зале старец, уже сложивший с себя достоинство магистра, указывая обнаженным мечом на пылающий город, убеждал воинов быть верными отчизне и чести.

– Нам нет пользы в обороне, – говорили наемные немцы. – Откуда ждать помощи? Лучше сдать город, чем в нем оставаться и ждать смерти.

– Берите мое золото! Разделите мои сокровища! – воскликнул бывший гермейстер. – Но сохраните вашу честь!

– Запасы кончаются, мы должны сдаться, гермейстер! – говорили наемники.

– Мы не сдадимся, пока меч будет в руке! – закричал Фюрстенберг. – Московцы в Рингене не сдавались нам, пока не истратили до последнего зерна пороха, а до нас нелегко наступить под огнем пятисот пушек.

– Нет, гермейстер! – отвечали наемники. – Мы не останемся на явную гибель. Московцы нас выморят голодом. А с одних блюд сыт не будешь, то знают послы твои, когда пустыми блюдами царь угостил их в Москве.

Фюрстенберг снова стал укорять малодушных, но в это время зал наполнился народом. «Домы наши горят! – кричали женщины, повергаясь с воплем к ногам магистра. – Спаси детей наших!»

На рассвете в московский стан явились посланные для переговоров. Они объявили, что Феллин сдастся, если Фюрстенбергу с воинами и со всеми жителями русские не воспрепятствуют выйти из города.

Воевод созвали на думу. Алексей Адашев убеждал дать каждому из жителей Феллина свободу остаться или удалиться из города.

– Но для славы царя, – говорил он, – мы должны отказать магистру. Сей пленник нас примирит с Ливонией.

– Он должен остаться у нас вместо дани, которую Божьи дворяне[13] пятьдесят лет платить не хотели, – сказал князь Горенский.

– Никого не выпускать! – сказал татарский предводитель, царевич Бекбулат, оправляя на голове узорчатую тафью с яхонтами. – Они научили русских воинской хитрости; пусть же кровью за безумство заплатят!

– Так, царевич! – проронил Мстиславский с

усмешкой, покачивая татарским сапогом, униженным жемчугом. – Но кто же научил Димитрия победить Мамаю? Соглашаюсь с Адашевым: выпустить в Вельяна всех, кроме магистра.

– И его золота, – прибавил князь Горенский.

– Дельно, князь! – воскликнул Мстиславский. – Ты царский кравчий, не позволяй же ни одного кубка вынести!

– Нет, – сказал Алексей Адашев, – пусть ливонцы сетуют на себя, а хвалятся великодушием русских. Тогда города ливонские нам добровольно сдадутся.

– Иоанн желает обладать Ливониею, а не ее золотом, – сказал князь Курбский. – В Москве целые улицы кладовых с царскими сокровищами.

– Но согласится ли Фюрстенберг отдаться нам? – спросил Шуйский.

Мстиславский говорил, что можно обнадеть магистра в милости Иоанна, уверить царским именем, что государь почитит его сан и на Москве даст ему по жизнь город удельный.

– Если не будет на то воля царя, – прибавил Мстиславский, – то пусть возьмет он от меня Ярославец и Черемшу, отчинные мои города, и с моими боярами отдаст их магистру, лишь бы не ввел меня в слово, за царское имя его!

Жертвуя собой за спасение других и бросив взгляд презрения на малодушных, Фюрстенберг вышел из крепости. Но бессильно презрение над сердцами продажными. По отбытии гермейстера наемники бросились на оружие, не для защиты, но чтоб разломать сундуки его; забрали золото, расхитили все драгоценности и поспешили выйти из города, между тем как правитель Ливонии предстал перед воеводами русскими.

Князь Мстиславский, проведав о сем, повелел настигнуть изменников и сорвать с них до последней одежды их. Предатели Феллина пришли обнаженные в Ригу, на казнь – народ умертвил их...

С удивлением взирали победители на грозные стены трех крепостей Феллина, которые, стоя на высоте и с другой стороны облегаемые тремя озерами, могли бы остаться необо-

римыми под защитою полутысячи пушек, если б с магистром было столько же храбрых воинов.

Вступая в Феллин, Мстиславский приветствовал воинство.

– Сподвижники доблестные! – говорил он. – В Ливонии не было дня славнее для нас. Взятием Юрьева не столько хвалились мы: Юрьев издревле был наследием русских князей, но Вельян[14] – сердце Ливонии. – Видите сами: вере не подобно[15], какую крепостью огражден он. Велика к царю православному Божья милость. Боязнь ослепила очи противников; хвала вам! Вельян взят. Магистр в плену. К царскому имени прибавится титул государя ливонской земли.

– А Вельянский колокол пусть благовестит в Псково-Печорской обители, – сказал князь Горенский, и за ним повторили все воеводы.

Далеко грянула гроза от стен Феллина, Курбский пошел к Вольмару и оттуда, победитель нового ландмаршала, устремился к Вендену, поразил Хоткевича, спешившего на помощь Ливонии, рассыпал отряды литовские. Быстро знамена их обратно неслись за Двину,

от сверкающих русских мечей.

Таковы были подвиги Курбского; но тяжкая была дань заслугам его. Негодование выражалось в письмах Иоанна. «Ты побеждаешь с нашими воинами, – писал к нему царь, – ты взыскан нашею милостью, а в душе служишь обаятелю Сильвестру и роду Адашевых. Хвалишь предками своими – князьями ярославскими, но не располагай царскими пленниками и не дерзай оправдывать злоумышленников; чти мою волю и служи верно».

Сердце Курбского было удручено; он таил скорбь свою. Не молчал пылкий Даниил Адашев, и сколько ни убеждал его брат, Даниил, отказываясь от сана воеводы, просил от Иоанна дозволения явиться в Москву.

В то же время воеводы поражены были страшной вестью: Бель погиб. Грозно встретил его Иоанн. «Не постыдит нас любовь к отчизне, – сказал он Иоанну, – постыдит кровопролитие победителей наших!» «Не так должно ратовать царям христианским. Смерть тебе за противное слово!» – вскричал Иоанн. Мгновенно увлекли старца... Вдруг одна из искр, еще согревающих Иоанново сердце, уга-

сающая искра милосердия, вспыхнула в нем. Он повелел остановить казнь, но царскому посланному указали на труп обезглавленный и землю, обогренную кровью.

Участь Беля нанесла глубокую рану сердцу Алексея Адашева.

«Не здесь, так увидимся там!» – вспомнил он последние слова Беля. Все воеводы сетовали с Адашевым.

Наступала буря – и вдруг разразилась. Курбский стремительно вошел в палату Алексея Адашева. Черты князя изменились от борьбы душевной; в волнении бросился он на скамью.

– Обвинены! – сказал он Адашеву. – Ты и Сильвестр обвинены в чародействе! Вы извели царицу, вы очаровали ум Иоанна!

Адашев от изумления безмолвствовал.

– Испытание тяжкое! – сказал наконец, вздохнув, Адашев. – Но пред нами Податель терпения. – И он указал на образ, который он брал с собою во всякий путь, – образ распятого Спасителя.

– Скажи, какова лютость человеческая? – спросил Курбский. – С чем сравнится злоба

твоих гонителей?

– Я вижу слабость души их, – молвил Адашев, – и жалею о них. Они сами себя наказуют своим преступлением. Но пятно клеветы столь мрачно, что я должен отмыть его, должен оправдать себя. Хочу стать лицом к лицу с обвинителями.

– Ты посрамишь их, ты возвратишь себе Иоанна и возвратишь Сильвестра России! – сказал Курбский.

Адашев решил просить Иоанна о личном суде с доносителями и прибегнуть к посредству первосвященника, митрополита Макария.

«Если виновны мы, да подвергнемся смерти, – писал к Иоанну Адашев, – но пусть будет нам суд пред тобою, пред святителями, пред Боярскою думою». Того же просил и Сильвестр.

Глава VII. Дом старейшины дерптского

Все воеводы знали о доносе на Адашева, но не видели его унижения. С тем же величием души, как и прежде, он беседовал с ними; с тем же усердием подвизался для Иоанновой славы. Торжествуя кротостью, он не однажды отвращал пламенник войны от замков и хижин, отдалял полки всадников от нив сельских, облегчал участь пленников, склонял командоров и фохтов ливонских уступать победу без кровопролития бесполезного; а внушения его человеколюбия были столь сильны, что и суровые воины смягчались сердцами и не смели даже и заочно преступить волю Адашева, как бы боясь оскорбить своего ангела-хранителя – невидимого свидетеля жизни.

Не в одном воинстве чтили Адашева – молва о его добродетелях обошла Ливонию. Многие из рыцарей ливонских старались снискать приязнь Адашева, – и особенно дерптский рыцарь фон Тонненберг.

Бывают случаи, в которых одна и та же цель представляется к успеху порока и к тор-

жеству добродетели. Так, сияние солнца, помогая блистать алмазу, в то же время способствует кремнистой скале отбрасывать тень. Тонненберг умел согласить свои виды с желаниями Адашева. Казалось, он действовал из одного сострадания к единоземцам. Так думал и добродушный Ридель, привечая Тонненберга, в котором – может быть, и скоро – надеялся обнять зятя. Правда, о Тонненберге доходили до него разные слухи, но проступки его он относил к пылкой молодости. Тогда в беседах рыцарских кубки не соыхали от вина, и потому многое, чего бы не извинили в наш век, считалось тогда удальством.

Ридель был богат, Минна – прекрасна. Удивительно ли, что Тонненберг старался ей нравиться! Между рыцарями Минна никого не видала отважнее; удивительно ли, что он нравился ей! Минна, не понимая чувств своих, краснея застенчиво, опускала в землю свои прелестные голубые глаза, встречаясь с красноречивыми взорами рыцаря, но снова желала их встретить. Тонненберг невинному сердцу льстил так приятно, что прелестное личико Минны невольно обращалось к нему,

как цветок, по разлуке с солнцем тоскующий. При Тонненберге ей в шумных собраниях рыцарей не было скучно, без него и на вечеринках не было весело. Прежде Минна любила подразнить новым нарядом завистливых ратстержских дочек, но когда привыкла видеть Тонненберга, то лишь тот наряд ей казался красивее, которым он любовался, и самое легкое, блестящее ожерелье тяготило ее, когда рыцарь отлучался из Дерпта. Сметливый отец уже рассчитывал, во что обойдется свадебный пир, а старушка Бригитта заботилась, вынимая из сундуков высоких бархат, дымку, ленты яркие, кружева золотые и раздавая прислужницам – шить наряды для Минны.

– Не торопись, Ева. Поскорее, Марта. Не по узору шьет Маргарита: жаль и шелков и дымки; а ты, Луиза, по бархату выводи золотою битью листы пошире, – говорила хлопотунья старушка. – Смотри, пожалуй! Марта не в пальцы глядит, а любуется в стенное зеркало на свою пеструю шапочку, расправляя по плечам разноцветные ленты! О чем она думает? Не о работе, а о песенке: Юрий, Юрий... Ой уж мне...

– Не брани ее, Бригитта. Пусть всякий думает о том, что любит, – говорила Минна, перебирая в ларце свои цепочки и кольца.

– А о чем задумалась Минна, рассматривая так пристально янтарное с кораллами ожерелье?

– Помнишь ли, Бригитта, я была в этом ожерелье на празднике командорши Лилиенвальд?

– Где в первый раз увидели рыцаря фон Тонненберга?

– Да... – отвечала, покрасневшись, Минна.

– И потому-то оно вам полюбилось? А как понравится вам, – спросила лукаво старушка, повертывая высокою чернолишьею шапкою,

– этот дамский наряд? Вы обновите его, когда вокруг богатой рыцарской колесницы будут толпиться по улицам Дерпта и друг другу шептать: «Смотрите! Вот едет молодая фон Тонненберг!»

Минна улыбалась. Вдруг она услышала в дальней комнате стук от опрокинутой шахматной доски и разлетевшихся шашек. Вошел отец.

– Этот человек всегда меня сердит! – сказал

Он.

– Кто, батюшка? – спросила Минна.

– Кому быть, как не спорщику Вирланду, который мне досаждаёт вечным противоречием.

– И все за шахматы?

– Нет, в тысячу раз хуже. Он вздумал порочить честных людей! О, если бы узнал фон Тонненберг, то Вирланд бы с ним поплатился!

– Этот Вирланд – несносный человек, – сказала Минна. – Он надоел мне насмешками, а ещё больше – похвалами. Для чего, батюшка, вы пускаете его в дом?

– А кто будет играть со мною в шахматы и пилькентафель? Мало найдётся таких игроков. Вирланд преискусно играет, хоть я всегда выигрываю.

Минна, зная язвительность Вирланда, не хотела и спрашивать, что говорит он о Тонненберге.

Вирланд был дворянин, который выводил род свой от незапамятных времен, но, довольствуясь обширным поместьем, не добивался рыцарской чести. Нельзя было сказать, чтоб он не был остроумен, но всегда ошибался в

своих расчетах. Природа отказала ему в приятной наружности: маленькие глаза его разбегались в стороны, рябоватое лицо не оживлялось румянцем, но в сердце кипели страсти, и сильнее других была, по несчастью, влюбчивость. Неудачи раздражали его, и, желая отыграть умом то, что он проиграл наружностью, он находил удовольствие противоречить всем и каждому. При всем том стоило прекрасной девушке сказать ему несколько ласковых слов, чтоб раздуть искру, тлеющую в его сердце.

Вирланд увидел Минну, и снова любовь заставила его позабыть все, о чем напоминали насмешники. Обманываясь милой улыбкой Минны, он рассчитал, что для получения руки ее нужно приобрести расположение отца ее и что для этого нужно угождать его склонностям. Ридель более всего любил играть в шахматы, и Вирланд проводил с ним целые вечера в этой игре. Ридель имел слабость сердиться за проигрыш, и Вирланд всегда доставлял ему случай выигрывать, а по расчету, чтоб скрыть умышленные ошибки, спорил с Риделем в каждой безделице.

– Ты не смог бы выиграть, – говорил Ридель, складывая шахматы и принимаясь за кружку пива.

– Очень бы мог.

– Но если бы я...

– Нет, вы поступили бы иначе.

– Ты споришь по привычке...

– Лучше спорить, нежели соглашаться по привычке, как заика рыцарь Зейденталь. Вчера я сказал ему: «Какое приятное время!» – «Д-да, вре-емя прият-тное!» – отвечал он. – «Жаль только, что ненастно». – «Д-да, не-енасстно». Я помирал со смеха.

– Правда, что он соглашается по привычке, – сказал Ридель.

– И этого не скажу. Он соглашается потому, что иначе он должен бы молчать, а молчать всю жизнь так же трудно, как баронессе Крокштейн перестать говорить.

– Или как тебе перестать насмешничать.

– Мне ли смеяться над такую почтенною древностью, которая каждое утро расцветает, чтоб восхищать беззубого Ратсгера Бландштагеля.

– Вот Ратсгера ты можешь бранить вволю.

– Совсем нет: Ратсгер человек добрый, и добрее, чем скряга фон Гайфиш, у которого и десяти дней не пировали на свадьбе; умнее, чем рыцарь фон Дункен, который на балах отживает свою молодость, и, право, Ратсгер более любит отечество, чем какой-нибудь фон Тонненберг, который ласкался около богатой дочки бургомистра, чтоб скорее пустить в оборот капитал его на гончих собак.

– Злословие, любезный Вирланд! Тонненберг и сам не беден.

– Да, в залесье, около Нарвы, у него остались какие-то развалины, в которых живут старые совы; или, как говорил он, у него есть обширный замок, где он бывает наездом, а скитается всюду и за несколько лет прожил целый год в Новгороде.

– Ты нападаешь на Тонненберга.

– Как нападать на такого великого рыцаря? Я говорю судя по росту его.

– Ты слышал, что он заслужил награду на турнире?

– Да, он получил награду потому, что ему хотели дать награду.

– Нет, потому, что он храбр.

– Нет, потому, что он за день дал пир и так угостил всех храбрейших рыцарей, что на другой день никого не осталось храбрее его.

Так Вирланд спорил с Риделем, не щадя в насмешках никого и особенно тех, которых считал для себя опасными соперниками. Впрочем, он умел, кстати, похвалить родословную Риделя, гостеприимство его, умение жить, не упускал случая сказать приветствие Минне, но скоро увидел, что, проигрывая в шахматы, в то же время проигрывал и в любви. Он слышал, как часто имя Тонненберга повторялось в устах Минны; он видел, как румянец живее играл на щеках ее при входе рыцаря; видел, как трепетала рука ее, принимая от Тонненберга нечаянно упавшее колечко или сорвавшуюся с косынки жемчужинку.

Тогда Вирланд, теряя время за шахматами, стал проклипать свою расчетливую обдуманность, мешался в игре, сердил Риделя и смешил Тонненберга и Минну.

Тонненберг знал о злословии Вирланда, догадывался о причине, но не показывал неудовольствия, как будто не обращая внимания на язвительного насмешника. Вирланд и

сам был довольно осторожен в присутствии рыцаря, и если иногда забывался, Тонненберг отвечал ему презрительным взглядом и не входил в спор. Иногда рыцарь даже хвалил Риделю остроумие Вирланда, сожалел с Минною о его страсти злословить. Однажды только, выведенный из терпения, он отозвал его в сторону и сказал ему: «Я прошу вас, любезный дворянин, не утруждать себя красноречием, чтоб побереечь вашу голову!»

Вирланд промолчал; но с того времени старался разведать о Тонненберге и спешил сообщить Риделю вести, которым старик не поверил и, споря, опрокинул с досады шахматную доску.

Оскорбленный недоверием, Вирланд в бешенстве возвратился в свой дом.

– Безумные надежды! Безумная страсть! – кричал он. – Я стал добровольно посмешищем. И к чему разuverять своенравного старика? Легкомысленная влюбилась в рыцарскую мантию. Пусть же обольет ее слезами! Но у меня еще осталось средство. Эстонец Рамме должен через два дня возвратиться, если письмо сохранено и Юннинген сдержит,

слово, – тогда увидим!..

Минуло три дня. Минна сидела с Бригиттой в саду перед любимым своим цветником и забавлялась, слушая рассказы старушки.

– Теперь не надобно будет за четыре месяца до свадьбы созывать гостей, как было перед свадьбой вашей матушки, – говорила Бригитта. – О, если б не одолела московская сила и не заперла пути к Дерпту, тогда бы собрались и на вашу свадьбу благородные рыцари со всех сторон. Наехали бы и ревельский фрейгер, и рижские фохты; повеселились бы высокоименитые командоры и самый светлейший, владетельный дерптский епископ. А теперь каково-то он в Москве поживает? Бедные мы овцы без пастыря! Только скажу, что нет худа без добра: скорее отпразднуем, а то бывало на свадьбе ли, на крестинах ли и вчуже – голова от пиროванья кругом пойдет. На ваших крестинах, барышня, гости две недели в замке без отдыха праздновали. Зато из кубков столько наплескали рейнвейном, что призвали конюхов завалить полы сеном. Было хлопот всем докторам в околотке – лечить рыцарей, из которых иной в это время

влил в себя целую бочку рейнвейну... А все на свадьбе без бед не обойдется! При встрече жениха и невесты, как ни упрашивают званых гостей забыть прежние ссоры и на пиру всем быть друзьями, всякий, в знак согласия, поднимает вверх свою руку, а после посмотришь: вино всех перессорит.

– Я люблю видеть рыцарей на турнирах, а не на пирах, – сказала Минна, оправляя белокурый локон, скатившийся на ее румяную щечку.

– И еще любили смотреть на невест, когда их встречает жених, – сказала Бригитта. – Скоро ль я полюбуюсь, когда жених и званые гости встретят нас у городских ворот, и в честь вас, обертывая на скаку красивых коней своих, чепраками блестящих, будут в щиты стучать копьями; зазвучат трубы и флейты, и при пении, крике и ружейной стрельбе вы въедете в город. На вас будет жемчужный венок с дорогими камнями, и вы будете увешаны кольцами и золотыми цепями. Для каждого колечка место найдется.

– Мне трудно будет и двигаться, – сказала Минна.

– Тем лучше! Ведь вас повезут в колеснице. Пусть всякий видит, что вы дочь старейшины дерптского... А кому и быть богатым, как не ему? Правду сказать – и милый ваш рыцарь богат... Никогда серебром не дарит меня, все золотыми деньгами. Видно, у него их много в замке его. О, вы будете еще богаче.

– Ах, Бригиттушка, я думаю, счастье не в богатстве, а в любви того, кого любишь.

Бригитта продолжала выхвалять Тонненберга. Минне приятно было слышать о нем, но разговор был прерван прибежавшим растрепаннм эстонцем, который, запыхавшись, едва мог промолвить Минне: «Госпожа-барышня, господин-батюшка кличет вас».

Минна весело побежала, но каково было удивление ее, когда отец сурово встретил ее.

– Минна! – сказал он. – С этого дня Тонненберг не появится в доме моем. Не отлучайся от Бригитты. А ты, – продолжал он, обратясь к старушке, – будь при ней безотлучно, ни на шаг из дома!

– Тонненберг не появится? – спросила Минна.

– Я не хочу и слышать о нем. Ты не должна

и думать о нем!

Ридель вышел из комнаты, оставя Бригитту в недоумении и Минну в слезах.

В тот же вечер Минна слышала продолжительный стук в ворота дома Риделева, но не отпирали их; слышала грубый голос привратника и, взглянув в окно, увидела удаляющегося рыцаря. По белому перу на голубом шлеме она узнала Тонненберга.

Набегающие облака заслонили сияние вечернего солнца. Минне казалось, что лучшие надежды ее скрылись за облаком бедствия.

Глава VIII. Болезненный одр

Жизнь человеческая подобна дню, который то проясневает, то вдруг становится сумрачным. Но иногда бедствия, как тучи, соединяются, все вокруг нас облакают унылым мраком или озаряют грозным светом, и тогда только рассеиваются, когда солнце жизни нашей сойдет с небосклона и тишина смерти, как ночь, успокоит нас.

Так думал и Адашев, получив весть, что царь отринул просьбу его предстать на суд, повелел судить его и Сильвестра заочно. До-

носители были и судьями их: признали их достойными казни; но как бы из одного милосердия, Иоанн, смягчив приговор, повелел Адашеву переменить титул воеводы на звание наместника выжженного Феллина и удалил Сильвестра на пустынный остров Соловецкий.

Наиболее скорбел Даниил Адашев, наиболее негодовал Курбский; но Алексей, в злополучии твердый, сохранил спокойствие души добродетельной.

– Суд на безответных! – говорил Курбский. – Да будут же безответны предатели в день последний! Но чтоб постигнуть всю дерзость, на которую они посягнули, чтоб понять всю злосчастную перемену души Иоанна, прочти грамоту нашего друга, с которою тайно прибыл ко мне Владимир – старший сын почтенной Марии...

Адашев узнал руку князя Дмитрия Курлятева: «И мы, друзья Адашевых, боимся прослыть чародеями, – писал Курлятев, – когда во всей Москве слух идет, что Сильвестр и Адашев одним волшебством успевали. Не знаем, верит ли в душе тому Иоанн, но ви-

дим, что обвинил их, а предстать к оправданию не дозволил».

Письма Адашева едва ли достигли Иоанна. Доносители могли не допустить их и трепетали при мысли о возвращении и Адашева и Сильвестра, зная, что появление их, как возвращение дня, покажет всю черноту клеветы безумной, во мраке кроющейся. Лесть предстала к трону в одежде сетования, и коварство под рясой смирения. Много молитвенный постник и воздыхатель архимандрит Левкий, иноки Вассиан и Мисаил стали наряду с обвинителями и судьями. «Премилосердый царь! – говорили клеветники Иоанну. – Уже по чародействам Сильвестра и Адашева и воинство и народ любят их более, нежели тебя; молятся за них более, нежели за царский дом твой. Увы, видели мы, бедные, что и тебя, великого и славного государя, они как бы в узах держали; враги здоровья твоего сокращали трапезу твою – ни яств, ни пития не давали в меру; а влекли тебя в землю казанскую чрез леса дремучие и пески палящие; когда же ты простер на Ливонию руку, тогда завистники славы твоей хотели остановить

тебя; орла удержат на полете. Увы, государь! Не своими очами смотрел ты на царство твое; но когда отогнал от себя василисков чарующих, открыл очи на всю державу твою, сам и правишь, и судишь, казнишь рабов и милуешь. Денно и ночью вопием ко Господу в молитвах смиренных, чтобы ты не призвал Сильвестра и Адашева, да не погубят вконец царство твое, да не лишимся тебя, как лишились мы царицы безвременно».

«Так, – продолжал Курлятев, – они, растворяя яд смертоносный сладостию ласкательств, отравляли сердце Иоанна. Царь созвал думу. Но, когда прочли обвинение, митрополит Макарий встал с места своего и, обратясь к государю, пред всеми сказал: „Мы слышали обвинение, но не видим обвиняемых. Повели предстать им. Услышим, что скажут, и тогда дадим суд по правде“. Умолк первосвященник, безмолвствовал царь, смутились доносители; но, не ожидая царского слова, возопили: „Царю ли быть в одной палате с крамольниками? Обаятели и царя очаруют, и нас погубят! В присутствии их онемееет язык обвинителей...“ Иоанн повторил слова сии,

Сильвестр и Адашев осуждены».

– Что скажешь ты? – спросил Курбский, когда Адашев дочитал письмо.

– Друг! – отвечал Алексей Адашев. – Помнишь ли ты пение при гробе брата твоего, храброго князя Романа? Так житейское море воздвигается бурей напастей. Не скорби, Даниил!

Даниил Адашев, погруженный в мрачное размышление, как бы пробудился при сих словах.

– Но в чем обвиняют меня? – спросил он.

– В чем обвиняют! – сказал Курбский. – Ты – брат Адашева, ты – зять Турова; а здесь примечают за всеми нашими действиями, передают все наши слова...

– Пусть передают! – воскликнул Даниил. – Я сам предстану пред Иоанном, открою чувства души моей. Унижение тяжелее смерти.

– Отложи до времени отъезд твой, – сказал Алексей...

– Чего мне ожидать? Ты знаешь, какие вести получил я: жену мою три месяца не допускают в темницу несчастного отца, и безвестность о нем истомила ее. Она не встает с

одра болезни. Все меня призывает в Москву. Я уже писал к Иоанну и жду его слова.

Через несколько дней некоторые из жителей Феллина увидели трех русских воевод, выехавших в поле за городские ворота. Всадники пронеслись так быстро, что нельзя было разглядеть их внимательно, но можно было заметить, что один из них был без панциря, в черной одежде; чело его закрывали длинные волосы; но на груди, в свидетельство доблести, блестели золотые. Отъехав далеко по долине, два спутника прощались с ним; нельзя было разобрать их слов, но долго прощались они; наконец третий с усилием вырвался из объятий их, хлестнул коня и помчался в пыльную даль. Тогда двое других повернули обратно к Феллину, и когда любопытные ливонцы спросили проходящих воинов о них, то слышали славные имена Курбского и Адашева.

– Так это царский наместник Феллина? Это добрый Адашев? – говорили ливонцы, смотря на Адашева.

Часто прихотливая рука владельца полей заставляет светлый источник переменять те-

чение, но где ни появляется он – везде благо- творит земле. Удаленный от двора царского в город ливонский, Адашев по-прежнему благо- творил человечеству. Несколько городов ли- вонских хотели добровольно сдаться ему. Так торжествовала добродетель; но зависть гони- телей желала торжествовать и над нею. Но- вые успехи Адашева причтены были к ново- му его чародейству. Внезапно повелел Иоанн заключить его в Дерпте и содержать под стра- жей. Содрогались воеводы, сетовали воины; далеко за стены городские провожали Адаше- ва благодарные феллинские жители.

Уже не было при нем никого из друзей; Курбский расстался с ним, ведя воинов на ратные подвиги.

Только два верных служителя: добрый Непея и Василий Шибанов, любимый слуга Курбского, оставались при Адашеве в башне дерптской, где суровые татарские стражи сто- яли у всех выходов и свет дня тускло прони- кал в толстые стены сквозь толстые решетки. Силы Адашева ослабевали, еще крепился он, преодолевая терпеливо болезнь, но столько быстрых переворотов, столько перемен

неожиданных наконец победили изнеможением твердость его...

Прошел уже месяц со дня его заключения. Несколько дней служители замечали в нем какое-то уныние. В одну ночь Шибанов разбудил своего товарища.

– Непея! Боярин с кем-то разговаривает.

– Тебе так послышалось, – сказал Непея, – не меня ли зовет он? – И бросился в покой Адашева.

– Откуда прибыли послы и желают ли вступить в переговоры? – спросил Алексей Адашев вошедшего служителя.

Непея замер, не веря глазам своим.

– Я имею власть принять и отвергнуть предложения их, – сказал Адашев и посмотрел на Непею. – А, мой добрый слуга. Не ты ли захватил Беля? Жаль мне старца, но я буду умолять о пощаде его.

– Он казнен, – сказал Непея, вздохнув и покачав головою.

– Что говоришь ты! Он казнен! – воскликнул Адашев, силясь приподняться с одра. – Казнен! – повторил он и, закрыв руками лицо, отчаянно бросился на скамью.

Непея перекрестился, не спускал глаз с доброго своего господина и плакал.

Адашев умолк, но лицо его горело, он метался. Шибанов тосковал с Непеею, и оба не отходили от больного.

На другое утро Адашев, казалось, опомнился.

Шибанов подал кружку воды.

– Нет, – сказал Адашев, – вода не утолит моей жажды. Подай свиток!

Это был список апостольских посланий, начертанный рукою Адашева, который всегда с новым утешением его прочитывал.

Непея подал свиток, и Адашев успокоился.

По закате солнца болезнь приступила с новым порывом. Тоска и беспокойство усилились. Адашев забывался: то казалось ему, что он беседовал с Сильвестром, то думал, что видит Иоанна, то мечтал, что находится в семействе своем и приветствовал друзей своих, как будто бы его окружающих.

– Прочти мне, Курбский, твое предложение беседы Златоуста. Тише, тише... нас всех назовут чародеями и первого – тебя. Тебя не оставят в пути ни морозная зима, ни знойное

лето. Ты понимаешь греков. Ты друг Максима. В глазах Левкия – ты чародей! Сильвестр и Адашев чародеи, по совету их издан Судебник. Мы обвинены, осуждены без ответа!.. Но государь! Сильвестр назидал тебя по власти веры, я говорил тебе по сердцу друга... О государь! Тебе открыто сердце мое! Ты наедине воспретил мне называть тебя царем, ты хотел, чтоб я тебя называл Иоанном... Верь, Иоанн, что мне любезна слава твоя, но добродетель в царе – любезнее славы... Иоанн, кто разлучает нас? Страшись ласкателей! Как моль тлит одежду, в которой кроется, так ласкатели тлят сердце, которому льстят. Презирай шутов! Царю нет времени слушать их, если он заботится о благе подданных. Страшись себя. Страсти, как огонь, распространяют вокруг себя тление. Угаси их – и будь над собой властелином. Повелевать собою славнее, чем повелевать другими. Государь, друг мой! Не предавайся в обман удовольствиям: излишество их истощает силы души. Удержи гнев твой. Милость – есть право царя на любовь народа. Помнишь ли, как славили имя твое, когда для меня ты возвратил из заточения

мудрого старца, грека Максима. Покровительствуй знаниям полезным. Размысл[16] помог тебе под Казанью. Чти храбрых, в ранах их сияет мужество. Не ищи Бога в отдаленных обителях, но ищи Его в благих делах на пользу царства. Не верь доносителям: на одно слово правды услышишь десять слов клеветы. Не по клевете ли Туров в темнице?.. Брат мой! Брат мой, Даниил! Не проклинай врагов. Ты проложил путь в царство Астраханское, полное мечей и копий... Ты везде побеждал. Победи себя. Увы! Вспомни слова: «Одним языком прославляем мы Бога и отца и проклинаяем человек, сотворенных по подобию Божию!» Из тех же уст исходят благословение и клятва. Но, брат возлюбленный, течет ли из одного источника вода сладкая и горькая...

Так говорил Адашев, он весь горел как в огне. Глаза его не могли узнавать окружающих. Тоскуя, в жару, бросался он из края в край одра своего; то вдруг вскакивал, то опускался без чувств на ложе; лицо его рдело, дыхание ускорялось, уста засохли – и ничто не могло утолить жажды его.

Иногда в исступлении он схватывал руки

слуг, вскрикивая: «Слышите ли шум? Это бедные люди! Они пришли ко мне; на них ветхое рубище, дайте им от меня одежду. Голод томит их; призовите их ко мне: пусть они сядут за столом моим. Приблизьтесь, друзья, приблизьтесь! Я представлю царю челобитные ваши. Кто из вас несчастлив – я пролью с ним слезы; кто из вас беден – я разделю с ним избытки мои».

Иногда, приходя в себя и тихий как ангел, он безмолвно смотрел на святую икону, но скоро снова впадал в забытие.

Напрасно усердный Непея приносил ему еду – Адашев не касался ее. «Поди, – говорил он, – в ту палату, которая в саду моем обсажена густыми деревьями; там найдешь ты десять несчастных, проказую страждущих: тело их в струпьях, но светла их душа. Отнеси им сии яства. Не говори о том никому: я тайно служу им в доме моем. Скажи, что я приду к ним омыть ноги их, они в язвах, а все несчастные – братья мои!»

Чаще всего Адашев вспоминал о супруге своей. «Подойди, – звал он, – соименница доброй царицы! Подойди, моя Анастасия, су-

пруга милая! Ты усладила жизнь мою, я буду жить для тебя! Бог не дал детей нам, но Он послал нам сирот – и мы взлелеяли их как детей своих!»

Адашев таял в огне болезни. Так прошло восемь дней. На рассвете девятого дня послышался стук в железных дверях башни и вошел Курбский. Он спешил в Дерпт обнять несчастного друга...

Лампада отбрасывала слабый свет на высокие своды башни и на горящее лицо страждущего. У ног его плакал Непея, у изголовья его молился Шибанов.

– Увы! – воскликнул Курбский. – Ты ль это, друг мой, Адашев?

Адашев с усилием приподнял глаза и, как бы стараясь что-то припомнить, сказал изменяющимся голосом:

– Кажется, черты лица твоего мне знакомы! Кажется, я видел тебя в лучшие дни моей жизни?

– Алексей, ты не узнаешь меня?..

– Друг... прости!.. – произнес Адашев и тяжело вздохнул, слеза выкатилась из глаз его.

Курбский взял его руку и с ужасом почув-

ствовал, что она охладела в руке его. Печать тления изобразилась на прекрасном лице: оцепенели уста, померкли глаза, но последний взгляд их был взглядом ангела, отлетающего к небесам. Вскоре лицо сие прояснело выражением спокойствия, которое показывало, что никакое угрызение совести, никакое преступное воспоминание не возмущало последних чувств сердца добродетельного.

В дерптской православной церкви Святого Георгия пели над гробом Адашева: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурюю, к тихому пристанищу твоему притек вопию», – и плакал Курбский, вспомнив слова друга, склонясь над гробом его.

И понесли тихо в церковную ограду гроб Адашева при бесчисленном стечении русско-го воинства, приезжих псковитян, новгородцев, рыцарей и граждан дерптских. День был пасмурный, но вдруг показалось солнце и блеснуло на гробе, опускаемом в обитель тления. Первая горсть земли туда посыпалась из руки Курбского. Шибанов и Непея, бросясь на колени, рыдали над могилою, готовой сокрыть навеки славного мужа.

Глава IX. Похищение

Сколько раз ни возобновляется в мысли скоротечность жизни, но человек столь развлечен в чувствах, столь слаб сердцем, столь предан свету, что всегда с каким-то недоумением видит гроб того, который незадолго изумлял его или могуществом, или славою; дивится, словно случилось событие неслыханное. Самая зависть, неутомимо преследующая свои жертвы, на время успокаивается; самое злословие часто не дерзает бросать своих стрел за пределы гроба.

Так, враги Алексея Адашева, пораженные известием о его смерти, онемели на время. Один голос истины был слышен над прахом его. Ничто не мешало литься слезам благодарным.

– Мир тебе, добрый военачальник! – сказал поседелый гражданин феллинский, подойдя к могиле. – Тебя оплакивают не одни соотечественники, но и мы – чужеземцы; не одни те, с которыми ты побеждал, но и побежденные тобою.

Уже холмик набросанной земли означил

место, где навеки от лица живых скрыли Адашева, как вдруг в толпе расходящегося народа послышался голос: «Покажите мне последнее жилище его!»

Неизвестный юноша, который, казалось, только что приехал из дальнего пути, шел поспешно к могиле Адашева.

– Поздно я прибыл! – воскликнул, всплеснув руками. – Я не застал тебя, я не простился с тобою!

Курбский узнал Владимира, сына вдовы Марии, преданной роду Адашевых. Но Владимир не видел его и, казалось, не видел ничего, кроме земли, которую орошал слезами.

– Отец несчастных, ты ли в могиле? Благотворитель наш, зачем ты оставил нас? Любимец царский, твое ль здесь жилище? Чужая земля приняла тебя. Осиротели друзья твои, осиротело отечество. Где ты, Адашев?

– Здесь все, что было в нем тленно, – сказал Курбский, указав на землю, – там, – продолжал он, указывая на небо, – все, что в нем было бессмертно.

Владимир взглянул на Курбского и прижал его руку к своему сердцу...

– Князь, я спешил, – сказал он прерывающимся голосом, – но уже не увиделся с другом твоим.

Все окружающие взирали с участием на слезы, бегущие из глаз благородного юноши, как вдруг появился полковой голова, сопровождаемый двумя татарскими всадниками, велел схватить его и наложить на него оковы.

– Остановись! – крикнул Курбский. – И чти мое присутствие.

Суровый голова обернулся.

– Князь! – проговорил он почтительно. – Таково повеление воеводы князя Мстиславского.

– Князя Мстиславского? – повторил в недоумении Курбский. – Что это значит, Владимир?

– Не знаю вины моей, – сказал юноша, слова эти были произнесены с той твердостью, которая свидетельствовала о его искренности, – но повинуюсь!

– Куда ведут его? – спросил Курбский.

– В стан князя Мстиславского.

– Я еду с ним! – сказал князь и, сняв цепи с рук юноши, бросил их татарам, а слугам ве-

лел подвести коней себе и Владимиру.

Голова сопровождал князя. Татарские всадники ехали в отдалении.

Глухой шум раздавался в народе. Каждый толковал по-своему о случившемся. Проходящие останавливались и с любопытством взирали на грозного русского вождя. В числе их был и отец Минны.

В то самое время, когда все внимание Риделя было устремлено на Курбского, кто-то из проходящих нечаянно толкнул дерптского старейшину.

Ридель, нахмурясь, оглянулся и узнал Вирланда. Дворянин не скупился на извинения.

– Полно извиняться, любезный Вирланд, я уверен в твоём красноречии.

– А не в преданности? Нет, прошу отличать меня от рыцаря фон Зинтена, который толкает проходящих, хотя за триста лет предки его...

– Знаю...

– Толкались в поварне моих предков.

– Видно, что Зинтен сменил у тебя Тонненберга.

– О нет, между ними есть разница. Зинтен

всех толкает от гордости, Тонненберг всюду вталкивается от низости. Только ему не везде удается...

– Да, у меня не удалось...

– То же и у Норбека.

– Как, он пировал у Норбека и свел с ним дружбу?

– Да еще удружил, подвел полк Адашева к его замку! Обнадеживал москвитян добычей, с тем чтобы самому быть в половине. Мало того: лицемер убеждал Норбека, что всего благоразумнее сдать.

Ридель покраснел, вспомнив, что по внушению Тонненберга уговаривал многих рыцарей к сдаче замков их московским воеводам.

– Однако Норбек, – продолжал Вирланд, – едва было не разрубил приятелю головы. Если все, сказал он Тонненбергу, будут помышлять о сдаче своих замков, а не о защите их, то мы сами предадим врагам свою честь и отечество.

– Теперь не время противиться, – сказал Ридель, вздохнув, – нас гнетет судьба, в этом случае я не виню Тонненберга, но радуюсь,

избавясь от него, и благодарю тебя, любезный Вирланд.

– Благодарите его самого. Если б письмо его к Юннингену не обличило его в бесчестных поступках, вы нескоро бы от него избавились.

– Знаешь, сегодня я встретил его. Он в двух шагах прошел мимо меня и глядел с такою смелостью, как ни в чем не виноват, будто бы и не заметил меня.

– Может быть, он не узнал вас по слабости зрения, – сказал Вирланд с усмешкой. – Тонненберг, впрочем, смог разглядеть, что вы богаты...

– Ты думаешь, что он хотел жениться из одного корыстолюбия?

– Нет, не из одного корыстолюбия: он корыстолюбив для мотовства.

– И, однако ж, при нашей размолвке он сказал мне: «Ты можешь верить этой клевете, а я не имею нужды тебя разуверять», – и более ни слова.

– Не правда ли! – воскликнул с пылкостью Вирланд. – Что он любил не Минну, а ее богатство? Можно ли так равнодушно потерять

надежду быть супругом прекрасной?

– Но как согласить с корыстолюбием равнодушие Тонненберга?

– Равнодушие – было коварство. Он почувствовал себя уличенным и стал бы оправдываться, если б мог оправдаться.

– Я счастлив, – сказал Ридель, – что не погубил мою добрую Минну, не выдал ее за негодяя. Кажется, она забыла о нем, только не знаю, отчего более прежнего не терпит тебя.

Вирланд хотел улыбнуться, но видно было, что ему нелегка была эта улыбка.

– Да, – сказал он, – чего не случается на свете? Я слышал, что те, кто не терпел один другого, часто сильнее любили друг друга после брака, нежели те, которые до свадьбы бредили от любви... Любовь сильнее рассудка, а время сильнее любви.

Ридель задумался, он никогда не был расположен принять Вирланда в родство, сколько не хвалился дворянин знаменитостью предков. Он был нужен Риделю только для партии в пилькентафель.

– Откровенно скажу тебе, Вирланд, – проговорил старик, – что не выдам Минну про-

тив ее воли. Ей жить с мужем, и я не хочу, чтоб она жаловалась на отца.

Вирланд что-то хотел ответить, но оскорбленное самолюбие спутало его мысли.

– Что тебя выманило из дома? – спросил Ридель, стараясь переменить разговор.

– Любопытство, которое столько же сильно во мне, как своенравие в женщине.

– Ты видел погребение Адашева?

– Видел и радовался, что добрые люди оставляют свет, в котором им тесно от порочных, злых и глупых и где столько препятствия добру, столько гонения уму, столько досад и печали, что слишком невыгодно долго жить...

– Знаю я вас, нелюдимов! – сказал, усмехаясь, Ридель. – Вы браните жизнь, а пожить не откажетесь.

Они дошли до дома Риделя. У крыльца Вирланд хотел проститься.

– А партию в пилькентафель? – сказал Ридель. – Отобедай с нами.

Вирланд услышал голос Минны и решил идти за Риделем.

– Ах, Бригитта! – воскликнула Минна,

взглянув в окно. – Опять Вирланд! Как же избавиться от этого бродящего злословия?

Слова эти были сказаны так громко, что Вирланд услышал их. Ридель вошел в комнату и поспешил к пилькентафелю, но Вирланд не следовал за ним.

Миновало несколько дней. Вирланд не приходил в дом Риделя, и Минна, к удивлению отца, снова сделалась задумчивой. Ридель заставлял ее в слезах, и на вопрос его, отчего плачет, она отвечала: «Мне что-то скучно, батюшка».

Скука налетает на девушек при легчайшем ветерке своенравия, и Ридель не слишком тревожился, но шахматная доска и пилькентафель, потребность играть с Вирландом обратились в привычку. Наконец, он решил послать своего прислужника, толстого Книппе, просить к себе Вирланда, а сам между тем, чтоб рассеять туман, бродивший с утра в его голове, после пересудов в дерптском магистрате, взял свой родословный свиток, сел к цветному окну и, стряхнув пыль, стал рассматривать все ветви родословного дерева. Все, что слышал он о своих предках, тогда

оживилось в его воспоминании.

Чувство удовольствия при обозрении расписанных золотом и киноварью кружков, отмечающих бытие Ратсгеров, рыцарей и многих Вильгельмин, Маргарит, урожденных фон Люберт, фон Тизенгаузен, мешалось неволью с чувством человеческой суетности. Сколько при жизни этих господ и госпож, подумал Ридель, было шуму от них, а теперь только одни имена их смиренхонько стоят в кругах родословной. Ридель вздохнул, взглянув на круг, в котором было имя последней отрасли его рода – имя Минны. Отцовская заботливость еще не видела имени, которое могло бы поддержать его род и обеспечить счастье дочери, для чего недостаточно одного богатства.

Книппе так замешкался, что терпеливый Ридель положил родословную в ларчик и, наполнив пивом большую оловянную кружку, обратил свое внимание от покойных предков на беспокойных гусей и уток, бродивших под его окнами. Так, в мыслях человека возвышенные предметы часто сменяются самыми мелочными, и случается, что герой, решивший судьбу царств, обращает внимание на

мух, которые его беспокоят.

Ридель опорожнил кружку, а посланный все еще не возвращался, и старейшина, выходя из терпения, послал к Вирланду другого эстонца – поторопить ленивца Книппе.

Прошел еще час и, к досаде Риделя, оба посланных все не возвратились. Он послал третьего эстонца посмотреть, что они делают.

Лишь только третий ротозей вышел из дому, как второй пришел, но с трудом добрался до дверей и едва стоял на ногах, придерживаясь за изразцовую печку.

– Негодяй! – кричал Ридель. – Я тебя жду, а ты празднуешь. Где Книппе? Видел ли ты Вирланда?

Эстонец попытался что-то сказать, но вместо ответа пошатнулся и рухнул на пол.

Наконец, возвратился и третий посланный, немного исправней второго. С трудом понял Ридель, что Вирланд куда-то надолго отлучился, а слуги, в отсутствие господина, бросились в погреб, опустошили бочку вина, а с ними и Книппе.

– Добро, бездельники! – кричал Ридель. – Вас протрезвлять палками...

Он продолжал ругать их, как вдруг вбежала Бригитта и спросила:

– Не видали ли барышни?

– Что ты говоришь? – спросил Ридель.

– Не могу ее отыскать. Где она? Милая моя барышня!

– Ты с ума сошла, Бригитта!

– Посмотрите сами: ее нет... Доски из садового забора выломаны. Пожалуйста, сударь, посмотрите.

Ридель бросился в сад.

– Она сидела в беседке, – говорила плачущая Бригитта. – Я вышла в девичью посмотреть на шитье золотом, но, вернувшись, не нашла ее ни в саду, ни в доме...

– Это удивительно! Везде ли ты смотрела?

– Везде, сударь. Ах, какое несчастье! Я сама себя погублю, если что-нибудь случилось с барышней.

Ридель подошел к беседке, где высокий кустарник и густой плющ заслоняли забор, и заметил несколько выломанных досок; чрез отверстие можно было пройти человеку, но оно было снова заколочено, однако ж так плохо, что вставленные доски могли отлететь от од-

ного толчка.

Злоумышление было очевидно; осталось убедиться в том, чему Ридель боялся верить.

Он обегал все углы дома и сада; оглядел каждую тропинку и возвратился к беседке. На кустарниках вокруг нее несколько ветвей было оторвано; другие наклонились к земле; в двух шагах от беседки Ридель поднял косынку Минны.

– Это ее косынка! – вскрикнула Бригитта.

– Чего же ты смотрела, злодейка? Чего ты смотрела! – закричал Ридель.

Бригитта от испуга затряслась.

Напрасно несчастный отец звал Минну. Нельзя было сомневаться в ее похищении. Оставалось открыть похитителя.

Выломанная часть забора выходила к лугу, который прилегал к стене дома Вирланда. С этой стороны похитителям безопаснее было войти. Заметно было по следам, что их было двое. Но все следы исчезли позади забора, где мелкая трава была притоптана копытами лошадей. Вещи Минны осмотрены и найдены в целости.

Начались допросы и поиски. Прежде всего

подозрение пало на Тонненберга; но в тот же самый день Ридель встретил Тонненберга на улице, близ дерптской горы. Рыцарь кивнул головой Риделю и спокойно продолжал идти. Посланные тайно в дом, где жил Тонненберг, известили, что не только не видно было приготовлений к отъезду рыцаря, но он еще предполагал прожить в Дерпте несколько месяцев. Допрашивали Конрада, конюшего Тонненберга; один вид этого простака и слова его убедили, что он мог бы отвечать, если б его спрашивали о лошадях господина, но более он ни о чем не знал и знать не хотел.

Соседство Вирланда и поспешный его отъезд навлекали на него особенное подозрение. На другой день, по распоряжению дерптского магистрата, допрашивали всех людей Вирланда; никто из них не мог сказать более весельчака Дитриха, который смешил судей своими ответами. Он говорил: «Господин мой собирался ехать к рыцарю Юннингену, о котором я ничего сказать не могу; ни мне до него, ни ему до меня не было дела. В воскресенье господин поднялся раньше зари и велел приготовить для отъезда дорожную повозку, оби-

тую внутри сукном с плаща его дедушки, а снаружи закрытую кожаным навесом от дождя, столько обветшалым, что сквозь него можно видеть солнце днем и луну ночью. В повозку впрягли трех лошадей, разной масти, но одного семейства; старшая доводилась бабушкой младшей и возила воду еще в бытность светлейшего епископа Дерптского. Пред отъездом господин призвал меня, сказав, что возвратится чрез несколько недель; а как слугам всегда веселей без господ, то я пожелал господину возвратиться чрез несколько месяцев. Мне велено смотреть за домом; я начал надзор с погребов и, увидев бочку, из которой сочилось вино, поспешил осушить ее, в чем и успел с помощью других усердных служителей. Кто пилил соседний забор – я не слыхал; виноват, я привык ночью спать; впрочем, ни за кого не ручаюсь, в черной душе и днем темно видеть. За себя я могу присягнуть, что не похищал никого, и жалею, для чего никто не вздумает похитить мою жеману, которая столько же любит ворчать, как я отмалчиваться».

В этот век любили шутов. Дитрих был вы-

слушан благосклонно. Один Ридель хмурился и велел ему замолчать.

Ридель мучил свое воображение, желая открыть похитителя. Вспомнив последний разговор с Вирландом и сопоставляя все с разными обстоятельствами похищения и слухами о какой-то девушке, которая хотела выскочить из повозки у городских ворот, но была удержана неизвестно кем, он утверждался в подозрении на Вирланда, тем более что похищение, как видно, сделано было против воли Минны.

Молва о сем происшествии распространилась по всему Дерпту, но подобные случаи бывали довольно часто в Ливонии; поговорив об этом несколько дней – перестали; один Ридель не переставал горевать. Утрата дочери была такою потерей для его сердца, которую ничто не заменяло.

Вскоре прибавилось еще одно важное обстоятельство, решившее сомнения Риделя. Сидевший за плутовство в дерптской тюрьме плотник Ярви, работавший в доме Вирланда, сознался, что дворянин подговорил его подпилить забор Риделя. Ярви был приговорен к

наказанию, но сумел скрыться из тюрьмы.

Итак, Вирланд изобличался в похищении Минны. Ридель требовал немедленно послать несколько ратников в замок рыцаря Юннингена, куда, по словам Дитриха, отправился Вирланд; но узнал в то же время, что Юннинген несколько дней уже находится в Дерпте.

Вечером пришли сказать Риделю, что рыцарь Юннинген хочет с ним говорить. Он вошел и, низко поклонясь, сказал:

– Именитый старейшина дерптский, я счастлив, если ты меня вспомнишь. Пять лет назад пировали мы на крестинах Фрейберга Броксвельда...

– Там было столько рыцарей, – сказал Ридель, – что трудно вспомнить, кого видел. Да и пир был таков, что, кроме шума, ничего в голове не оставил.

– Позволь, именитый старейшина, возобновить наше знакомство. Станный случай привел меня в Дерпт. Прошел слух, что дворянин Вирланд, которого я знал за человека опасного по злоречию, передал тебе письмо рыцаря Тонненберга, будто бы найденное мною в бумагах покойного моего брата.

Ридель поспешил показать Юннингену письмо Тонненберга. Оно обличало Тонненберга в предательстве, в разврате, в жестокости над вассалами, у которых он отнимал имущество и детей, оковывая цепями даже слепых стариков. В этом письме Тонненберг писал к брату Юннингена, что ждет только дня свадьбы, чтобы пустить в ход приданое Минны и бросить в огонь родословную и пилькентафель богатого сумасброда, будущего тестя.

— Почерк сходен с рукою Тонненберга, — сказал Юннинген, — но письмо явно подложное. Я прежде не водил с Тонненбергом знакомства и не стоял бы за него, если бы клевета не коснулась меня. Мог ли я передать письмо, которое в первый раз теперь вижу? Говорят, будто бы Вирланд уехал в мой замок. Забавно придумано! И я узнал о том в день моего приезда в Дерпт. Но он не осмелится показаться там, или я иступлю меч об его голову.

Юннинген горячился. Ридель с ужасом подумал о коварстве Вирланда, прикрытом личиною искренности.

Следствием разговора с Юннингеном было

свидание с Тонненбергом.

– Прости меня, достопочтенный Ридель! – сказал Тонненберг, бросившись обнимать его. – Мне бы довольно было нескольких слов для обличения Вирланда, но я хотел, чтобы ты не от меня услышал доказательство клеветы его. Вирланд подговорил беглеца, грабителя Рамме, опозорить меня, написать под мою руку гнусное письмо. Но на что мне раздражать горестью твое сердце и мучить себя напоминанием о похитителе Минны?..

– Рыцарь! – воскликнул Ридель. – Если ты любил ее, помоги мне найти похитителя. Отомсти за несчастного отца!

– Жаль тебя, почтенный Ридель! – сказал Тонненберг, сжимая его руку. – Но что делать? Послушай, друг Юннинген, ты недавно узнал меня, а полюбил по-братски. Отправимся искать Вирланда! Князь Курбский и дерптский воевода помогут мне. Вассалы мои и московские воины будут стеречь по разным дорогам. Предатель от нас не уйдет. Ах, Минна! Минна! Вот и верь прелестному личику!

– Друзья мои, – сказал Ридель, – я не поверю, чтоб она согласилась быть за Вирлан-

дом... Она скорее умрет.

– А если счастье, – перебил его Тонненберг, – поможет мне найти твою прекрасную Минну, я уверен, многоуважаемый Ридель, что ты назовешь меня сыном твоим.

Тысячи проклятий Вирланду и полдюжины кубков вина скрепили возобновление дружбы Риделя с Тонненбергом, и рыцари почти со слезами вырвались из объятий плачущего старика.

Бригитта, прогнанная Риделем, нашла себе пристанище у тетки Тонненберга, просившего, чтобы бедная старушка, неутешная о Минне, была призрена из сострадания его родственницей.

Глава X. Обвиненный

Сумрак распространялся по небу, когда Курбский увидел вдалеке русский стан, расположенный под Вейсенштейном. Княжеский аргамак далеко за собою оставил других утомленных коней, но Курбский желал еще ускорить его бег и, объясняясь с Мстиславским, облегчить тягость огорченного сердца. Время настало ненастное; осенняя сырость от близости болот и дождь, порывавшийся с облаков, наносимых холодным ветром, умножали мрак; вскоре совсем стемнело. Но сквозь леса, по местам вырубленного, уже приметно было слабое зарево от огней сторожевого отряда, и Курбский увидел на холмистом возвышении вспыхивающее, почти угасающее от дождя пламя костров, разложенных между шалашами, сплетенными из древесных ветвей. Копья, щиты и мечи, на гладкой стали коих отсвечивался огонь, развешаны были на шестах и на ветвях. Простые ратники грелись у огня на голой земле; войлоки, растянутые на жердях с той стороны, откуда бушевал ветер, укрывали их.

Владимир, окруженный стражей, так отстал от князя, что потерял его из виду. Курбский оглянулся и, не видя своих спутников, удержал своего коня.

У одного шалаша лежали на земле два ратника; за навесом нельзя было видеть их лиц, но слышен был их разговор.

– Худо совсем, – говорил один. – Пять недель стоим под Пайдою[17], а до проклятого этого гнезда не доберемся.

– Воевода похвалился во что бы ни стало взять – так надо взять.

– А чрез болотное море птицей не перелетишь. Сколько снарядов погрузило, сколько силы потрачено!

– Правда, а если бы с нами был князь Андрей Михайлович Курбский?

– Иное дело: тут не о чем думать. Идешь за ним, и он везде выведет. С ним бы давно были в Колывани[18]. А то стоим здесь столько времени понапрасну. Запасы исходят; голод не свой брат, погонит нас к Руси.

– То-то воевода и гневен, – сказал вполголоса другой.

– Да гневайся на себя! – отвечал товарищ.

– Неудача всякому не по сердцу, а догадки не у каждого много.

Курбский с беспокойством слушал этот разговор, досадуя на безуспешные усилия Мстиславского. В это время подъехали Владимир и другие всадники.

– Ну, вот мы и в стане, Владимир, – сказал князь. – Бедный юноша, ты даже не знаешь, в чем тебя обвиняют, ты терпишь за любовь к Адашеву. Напомни, что говорил ты о заключении Адашева в дерптскую башню?

– Князь... я не говорил, но рыдал. Ты знаешь, чем Адашев был для нас; тебе известно, как чтило его семейство наше...

– Но в горе ты мог произнести несколько слов... а чужая клевета могла их дополнить.

– Свидетель Бог, что никому я зла не желал, никого оскорбить не хотел.

– Так, но печаль неосторожна в словах. Помнишь ли, что говорил ты над прахом Адашева?

– Что говорил я? Не помню слов моих; и мог ли я помнить себя у могилы Адашева?

– Ты сказал, что осиротело отечество, могут и это прибавить к твоему обвинению.

Владимир задумался.

– Еще одно смущает меня, – сказал он, – грамота, которую я привез к тебе от князя Курлятева.

– Но в тот же день ты вступил в Коломенскую десятню под знамена Даниила Адашева. Грамота осталась у него, и при мне Даниил бросил ее в огонь. О чем ты вздыхаешь, Владимир?..

– Какое-то худое предчувствие тревожит меня.

Пламя костра осветило приближающегося всадника.

Курбский узнал его и тихо сказал Владимиру:

– Не считать ли худым предчувствием встречу с воеводой Басмановым?

– Не ждали тебя, князь! – закричал Басманов. – Что тебя привело сюда? Не задумал ли помогать нам?

– В чем? – спросил Курбский. – Если винить невинного, то я вам не помощник.

– Невинного? – сказал Басманов. – Не всякий ли прав, кто служит не царю, а Адашевым?

– Не говори об Адашевых. Один уже в земле, другой в опале. Но если любить их есть преступление, то и войска и вся Москва полна преступниками...

– От царских очей ни один преступник не утаится, – резко сказал Басманов.

– От Божьей руки ни один клеветник не скроется, – тем же тоном проговорил Курбский.

– О ком ты, князь, говоришь?

– О тех, которые тайными путями собирают на ближнего стрелы невидимые, прислушиваются к шепоту досады и скорби; каждому слову дают противное значение, каждую речь превращают в злонамеренный умысел с тем, чтоб на гибели других основать свое счастье...

– Кто посмел снять цепи с оскорбителя царского? – вскрикнул Басманов татарскому голове, указывая на Владимира.

– Я! – сказал Курбский.

– Выше голову, юноша! – сказал Басманов Владимиру с язвительной улыбкой. – Храбрейший воевода взялся быть твоим заступником.

– Басманов, не говори так...

– Не угрожай мне, князь Андрей Михайлович, предки мои не слышали угроз от твоих предков.

– Не считайся со мною в старейшинстве, – сказал Курбский. – Дед и отец твой призывали в молитвах святого моего прародителя князя Федора Ростиславича, а ты всегда стоял ниже меня в воеводах.

Воеводы сошли с коней пред раскинутым шатром князя Мстиславского, окруженным вооруженными всадниками.

Мстиславский не мог скрыть досады при нечаянном прибытии Курбского. Он не желал иметь его свидетелем своих неудач и тем более не желал уступить ему славы взятия Вейсенштейна. Мстиславский знал, что ревельцы с боязнию ожидали приступа русских, не предвидя надежной обороны, но не уходил от Вейсенштейна. Воины ослабевали в трудах, наряды гибли в болотах, запасы истощались, но, раздраженный неудачами, Мстиславский хотел одолеть Вейсенштейн и природу. Ему недоставало искусства и мужества Курбского. Неудивительно поэтому, что он встретил

Курбского с холодностью и выслушал его с негодованием.

Владимир стоял среди суровых татар, готовых, по одному мановению военачальника, занести убийственное железо над своей невинной жертвой.

– Князь Курбский, я не ведаю, кто здесь первый воевода? – сказал Мстиславский.

– Тот, кого прошу я, – отвечал почтительно Курбский.

– Ты просишь и повелеваешь! – воскликнул Мстиславский. – Не я, но ты снял оковы с оскорбителя царского.

– В чем оскорблен государь?

– То царь и рассудит, – сказал надменно Мстиславский, – не имею времени с тобою беседовать.

Он повелел воинам наложить оковы на Владимира.

– А ты, – продолжал он, обратясь к татарскому голове, – как дерзнул преступить мои повеления, допустить снять с преступника цепи?

– Моя вина... – едва мог промолвить татарин, преклоняясь пред Мстиславским.

– Посмотрю я, кто с тебя снимет цепи, – сказал Мстиславский и повелел заковать его.

– Если ты воевода, чтоб только налагать цепи, – сказал Курбский, – я не дивлюсь, что ты несчастлив в осаде Пайды. Нужно заслуживать любовь подвластных, чтоб легче было повелевать ими.

Мстиславский затрепетал от гнева; но укоризна была столь справедлива, что он смутился, не находя слов возразить. Басманов отвечал за него:

– Князь Андрей Михайлович, не тебе так говорить старейшему и саном и родом.

– Оскорбляя меня, – сказал Мстиславский, – ты оскорбляешь царя, который облек меня властью.

– Не думай, что мудрый царь оскорбляется правдой, – сказал Курбский.

С этими словами он вышел из шатра; проходя мимо Владимира, он сказал:

– Терпи, добрый юноша! – и пожал его руку.

– Строптивный муж! – воскликнул Мстиславский. – Царь смирит тебя и решит спор между мною и тобой. – А ты, несчастный, –

сказал он Владимиру, – сознайся в твоём преступлении.

Владимир молчал.

– Отвечай! – сказал Мстиславский.

– Отвечай, воевода тебя вопрошает, – крикнул Басманов.

– Скажи вину мою.

– Говорил ли ты, что царя окружают клеветники? – спросил Мстиславский.

– Нет.

– Говорил ли ты, что Адашев невинен? – сказал Басманов.

– Говорил.

– Неразумный юноша, ты обличил себя в преступлении. Не развозил ли ты тайно грамот, оскорбляющих царское величество?

– Нет.

– Для чего же прибыл ты из Москвы?

– Служить государю в полках его.

– Так... Но ты доставил тайно возмутительную грамоту князю Андрею Курбскому.

Владимир пришел в смущение.

– Он молчит... он сознается, – сказал Басманов.

– Я не предатель, – сказал Владимир с

негодованием, – я не доставлял возмутительной грамоты.

– Утверди же крестным целованием, что ты не привозил никакого письма от Курлятева.

Владимир в смущении не знал, что отвечать, и поднял глаза на крест, висевший в углу шатра.

– Смотри, – продолжал Басманов, – целуй крест на том, что ты не привозил такой грамоты.

При сих словах он показал юноше список с того письма, с которым Владимир прибыл из Москвы к Курбскому; список доставлен был Басманову его лазутчиком.

Владимир с трепетом отклонил руку Басманова.

– Нет, – сказал он, – не погублю души моей на неправде! Я привез из Москвы грамоту от князя Курлятева князю Курбскому.

– Тайно?

– Что друг поверяет другу, то было и для меня тайной.

– Возмутительною?

– Нет! – перебил его Владимир. – И присяг-

ну на Животворящем Кресте. Никогда бы добрая мать моя не отдала мне возмутительной грамоты...

Владимир остановился. Внезапная мысль, что мать его может подвергнуться опасности, охладила страхом его сердце.

– Итак, твоя мать передала тебе грамоту? – спросил Мстиславский.

– Она и Курлятевы издавна живут адашевским обычаем! – проговорил Басманов. – Она проводит дни в посте и молитве, а дерзает на смуты и ковы...

– Боярин! – сказал Владимир. – Есть Бог Всевидец! Страшись порочить безвинно.

– Безвинно! – воскликнул Басманов и указал Мстиславскому на то место грамоты, где Курлятев писал, что клеветники на Адашева и Сильвестра отравляли ласкательствами сердце Иоанна. – Рассуди, князь! – прибавил он. – Не хула ли на царя? Кто, кроме раба-возмутителя, дерзнет быть судиею государевой воли?

– Славные воеводы! Князь Курлятев не возмутитель, но верный слуга государю; с вами стоял за него в битвах Если осуждать каждое

неосторожное слово в домашних разговорах, в беседе друзей, то кто не будет виновен пред Иоанном?

– Оправдай себя, – сказал Мстиславский, – а о других не заботься.

– Ужели не вступится за меня твоя совесть? Умоляю тебя, воевода! Не о себе умоляю, но о матери моей, пощади от скорби ее старость! Не ищи в простых словах злых умыслов, не преклоняй слух к наветам.

– Отвести его, – сказал холодно Мстиславский, – и держать под стражею, доколе не придет повеление отправить его в Москву...

Между тем князь Курбский прибыл к своим полкам. Увлекаемый силой чувств, он порой жалел о последствиях своей неосторожной пылкости, но, по великодушью, не боялся понести царский гнев, желая спасти невинных. В опасении о судьбе Владимира и возмущенный вестью об опале на Даниила Адашева, злополучного Даниила, не заставшего в живых ни жены, ни отца, Курбский решился отправиться в Москву и готов был писать о сем к Иоанну, но обстоятельства переменились.

Осеннее ненастье, скудость в продовольствии, изнурение воинов от болезней и голода наконец победили упорство Мстиславского и вынудили его отступить от Вейсенштейна. Видя необходимость возвратиться в Россию, он отправил гонца к Иоанну и вскоре со всем воинством выступил из Ливонии, оставив охранные отряды в покоренных городах.

Желание Курбского исполнилось. Полки его двинулись к Москве. Он спешил от поля побед к семье, нетерпеливо его ожидавшей. Уже Новгород остался позади. Продолжая и ночью путь с верным Шибановым, Курбский только на короткое время останавливался отдышаться; вскоре он миновал и Тверь. Настал день, сильный ветер осушил влажную землю; опавшие листья желтели по сторонам дорог; но осеннее солнце еще сияло ярко, прощаясь с полями и рощами. И вот вдалеке открылась Москва неизмеримая, блистающая, как золотой венец на зеленых холмах.

– Москва! – воскликнул Курбский и, при виде светлых, несчетных крестов, как бы в знамение благодати над ней, ее с высоты осеняющих, поклонился святыне родины.

Часть вторая

Глава I. Горестная встреча

Вихрь, обрывая листья деревьев, мчал их по воздуху. Стены и башни московские грозно белели под небом, потемневшим от туч; золотые главы церквей потускнели в облаках пыли. Курбский въехал в Москву. За городскими воротами теснился на улицах народ, в движениях людей видно было беспокойство, во взорах уныние; радостных лиц не встречалось. Несколько боярских детей быстро пронеслись на конях и, встретив знаменитого вождя, приветствовали его, но ни один из них не остановился, как бы опасаясь заговорить с Курбским.

Князь в Москве, но там нет царицы, нет Алексея Адашева, нет Сильвестра, там ждут его вражда и клевета!.. В задумчивости он опустил поводья; и вдруг до слуха Курбского доносится печальное священное пение, погребальное шествие, подымаясь по горе к полю, преграждает дорогу. Его узнают, идущие

перед гробом останавливаются, диакон церкви Николая Гостунского, Иоанн Федоров, подходит к нему.

– Князь Андрей Михайлович! – говорит он, поклонясь Курбскому, – Анастасия пошла к своему Алексею!

Курбский узнает, что видит гроб жены Алексея Адашева.

Недолго прекрасная пережила весть о смерти своего супруга.

Курбский подошел к носилкам, на которых возлежал гроб, закрытый покровом из серебряной обьяри. Князь поклонился до земли и тяжело вздохнул; в это время сверкнула перед ним золотым венцом икона Божией Матери. Он вспомнил, что ею благословила на брак Анастасию царица, супруга Иоанна. Теперь не в светлый брачный чертог вела сия икона, но, свидетельница тайных молитв Анастасии, предтекала ей в путь к вечной обители.

Глядя на идущих в печальном шествии, Курбский искал супруги своей и не обманулся: быв подругой Анастасии с юности, она провожала ее и к могиле. Гликерия вдруг увидела князя. Горестное свидание! Она произ-

несла его имя и более не могла произнести ни слова; неизъяснимая скорбь выражалась на ее лице! Князь с удивлением заметил, что Даниила Адашева не было в шествии; не видел и Сатиных, братьев Адашевой, ни почтенной Марии. Ужасны были вести, ожидавшие Курбского. На вопрос о Данииле Адашеве, Гликерия указала на небо, дыхание ее стеснилось, глаза наполнились слезами. При вопросе о Марии она зарыдала.

Между тем раздавался плач идущих за гробом. То были бедные, лишившиеся благотворительницы, страдальцы, ею призренные, сироты, ею воспитанные. «На кого ты оставила нас? В какую дорогу собралась? Разве светлые палаты тебе опостыли или наша любовь тебя прогневала, что ты нас покинула?» Так причитали, по обыкновению, усопшую, исчисляя ее богатства и вспоминая добродетели.

Тут шла юная десятилетняя питомица Адашевых Анна, дочь дворянина Колтовского, лишившаяся в младенчестве отца и матери. Прелестное лицо сироты было орошено слезами.

Немногие из бояр сопровождали печаль-

ное шествие, но за толпою бедных шли несколько боярских детей, в черных одеждах и высоких шапках, за печальными санями, обитыми черным сукном. Завеса закрывала сидящую в них, но все знали, что то была княгиня Евдокия Романова, супруга князя Владимира Андреевича, двоюродного брата царя. Она любила Анастасию Адашеву и вместе с царицей посещала ее; верная дружбе, не забыла о ней и в бедствии и желала отдать ей последний долг любви, не страшась Иоаннова гнева. Еще несколько болезненных старцев влеклись на клюках за гробом супруги благотворителя. Боязнь не заградила уста их: они благословляли имя Алексея Адашева.

Тогда как все близкие к Адашевым представлялись виновными в глазах Иоанна, омраченного подозрениями, честолюбивые братья царицы, боясь утратить с кончиной сестры свое могущество, старались стать необходимыми для царя и, показывая заботливость о нем, явно и тайно говорили, что Адашевы извели их сестру. В доме Алексея Адашева нашли латинскую книгу с чертежами, поднесенную в дар от иноземца. Она со-

чтена была черною книгою, тем более что переплет ее почернел от времени. Клеветники толковали, что посредством ее Адашев успел очаровать Иоанна и что волшебство разрушилось, когда бросили книгу в пламя. К несчастью, при последних минутах умирающей царицы в дворцовой кладовой, между драгоценными боярскими одеждами, хранящимися для торжественных дней государева выхода, найдены были корни неизвестной травы в одежде Турова. Боярин Басманов, Василий Грязной, Левкий, а за ними и другие ненавистники Адашевых повторяли рассказы о вредном зелье; указали несколько веток, подброшенных за серебряный поставец в царской почивальной, веток той самой травы, какую нашли в парчовом ферязе Турова. Клевета утвердилась на суеверии, и последствия были ужасны. Туров погиб в то самое время, когда несчастный Даниил Адашев приближался к Москве. Гнев Иоанна стремился истребить Адашевых. За день до приезда Курбского герой Крыма пал под ударом того же топора, который обагрился кровью Турова. Идя к Лобному месту, он обличал клеветников, с

величием души приветствовал некоторых встречавшихся ему воинов, бывших с ним в Крымском походе, но не мог удержаться от слез при виде своего двенадцатилетнего сына. Юный Тарх упал к ногам родителя и обнимал колени его. Едва могли оторвать его от Даниила; Тарх умолял бояр и народ помиловать отца, но в это время блеснуло ужасное лезвие, и голова Даниила покатилась вниз. Казалось, громовой удар потряс всех, ропот последовал за первым движением ужаса. Сатины, братья Адашевой, указывали на труп героя и на раны его за отечество; сын лежал без чувств подле окровавленного топора. Клеветники слышали проклятия и спешили донести царю о мнимом возмущении. Иоанн появился на Лобном месте, сопровождаемый татарскими царевичами. Грозно окинул он взглядом народ и, увидев Сатиных, повелел их схватить. Мановение руки его было смертным приговором братьям Адашевой и юному сыну Даниила. Кровь лилась перед народом, онемевшим от ужаса.

– Так поражу всех единомышленников Адашева! – сказал Иоанн. – Не будут они вре-

дить волхвованьями и возмущать народ. Не пощажу ни рода, ни племени, ни младость, ни старость. Изменники! – говорил он, указывая на труп Даниила. – Они хотели волшебством вредить царскому здоровью и править царством посохом Сильвестра и рукою Адашева. Скоро узрите казнь новых злодеев!

Вот о чем услышал Курбский; Мария и пять ее сыновей, между ними любимец Алексея Адашева юный Владимир, – осуждены на казнь.

Клевета, которой хотели верить, очернила и Курбского. Но он забыл о себе, готовый обличить клеветников или пожертвовать собою и с погребения Анастасии, не возвращаясь в дом свой, поспешил предстать Иоанну.

Иоанн не допустил Курбского, повелев сказать, чтоб ожидал царского слова. Тогда князь решил обратиться к первосвятителю митрополиту Макарию, открыть пред ним скорбь души своей и просить его ходатайства о помиловании несчастного семейства Марии.

Глава II. Первосвятитель

Белокаменные палаты митрополита возвышались близ дома князя Мстиславского, возле Чудова монастыря, со многими деревянными строениями на обширном дворе, к которому примыкал сад, простиравшийся до кремлевской стены. Митрополит, отдохнув после трапезы, опираясь на посох, прохаживался под тенью ветвистых яблонь. Белые цветы их давно уже уступили место плодам; ветви рябин краснелись кистями. Неподалеку стояла покрытая ковром скамья, под полотняным наметом, утвержденным на деревянных столбах и осеняемым тенистыми кленами. На скамье этой митрополит любил сидеть, углубясь в размышление. Он сел на нее, держа в руке длинный столбец Степенной книги, развернул его, стал рассматривать, как вдруг слышались шаги, и он увидел подходящего гостунского диакона Федорова.

Поклонясь митрополиту, диакон остановился в отдалении, примечая на почтенном лице Макария следы душевной скорби.

– Что, все кончили? – спросил митрополит.

– Отдали земное земле! – отвечал диакон.

– А где положили ее?

– Возле страдальца Даниила. Князь Андрей Михайлович прибыл в Москву и сопровождал погребение.

– Спаси его Боже от напасти! – прошептал митрополит. – Тяжкое время, отец Иоанн! Господь на нас прогневался.

– Помолись, владыко! Господь примет молитву твою и подаст тебе силу утишить бурю царского гнева.

– Потерпим! Всевышний наслал искушение, Он и отнимет напасть. Что принес ты, отец Иоанн?

– Первый лист, владыко, тиснения Деяний Апостольских, – сказал Федоров.

– Начаток благословенного дела! – сказал митрополит с приметным удовольствием; сняв с себя черный клобук, он перекрестился и взял лист из рук диакона, лицо которого прояснилось радостью успешного труда в книгопечатании. – Благодарение Богу! – проговорил митрополит, рассматривая лист. – Не одни чужеземцы преуспевают в мудрости книгопечатания. Свыше дар послан, дабы все

пользовались. Честь тебе, отец Иоанн, и благодарность твоему радению.

– Слава Богу, царскому разуму и твоему святительству, – отвечал диакон, преклоня голову, – а мы с Петром Мстиславцем во всю жизнь делатели на пользу церкви святой и царству православному.

– Бумага добротная, буквы четкие и оттиск тщательный. Зрение мое от старости притупилось, но печатное слабым глазам моим легче читать.

– Посетуют, владыко, списыватели книг церковных...

– Посетуют и замолчат! Не жертвовать же общему пользой выгоде их. О, если б Бог сподобил нас так напечатать всю Библию!

– И жития Святых Отцов, труды твоего преосвященства.

– Четьи-Минеи? Да, не забылось бы имя наше и в позднейшие лета! Келейник, подай чару меду отцу диакону.

– За здравие владыки! – сказал Иоанн Федоров, подняв высоко чару, поднесенную на серебряном блюде.

– Пей за художников книжного дела! – ве-

село сказал митрополит, благословив чару.

В это время служитель пришел сказать митрополиту, что чудовский архимандрит Левкий желает его видеть и ждет приказа владыки.

– Левкий? – повторил митрополит с неудовольствием. – Избавит ли Бог от кознодея! Не хочу видеть его в саду моем. От дыхания его повредятся плоды мои. Приходи ко мне завтра, отец Иоанн, тогда, как распустишь учеников из училища.

Митрополит встал и, сопровождаемый диаконом, вышел из сада. У крыльца палаты встретил его архимандрит смиренным поклоном. Бодрый здоровьем, Левкий сгибался под черною рясою; лицо его было бледное, но полное, глаза быстрые и усмешка лукавая. Начиная говорить, он потуплял глаза в землю, часто вздыхал, но и в тихих речах его обнаруживались порывы страстей; в самой холодности можно было заметить пламень злобы.

– Не опять ли от царя? – спросил митрополит, дав знак идти за ним в образную.

– Не от его величества, а по церковной потребе.

– Хорошо, Левкий, что подумал о церкви. Ты проводишь целые дни в царских чертогах.

– Ох, не по заслугам государь меня, многогрешного, жалует. Но ты пастырь церкви, ходатай милостивый.

– С чем же пришел ты?

– Утруждаю твое преосвященство. Заступись за святую обитель, не дай в обиду по духовной грамоте Данилки Адашева.

– Адашева? – переспросил митрополит. – Помяни Боже страдальца! Не вздыхай, Левкий, ты, Захарьины и Басманов погубили Адашевых...

– Преосвященный владыко, волхвование погубило их. Царских злодеев Бог обличил.

– Волхвование! – повторил митрополит, сев на скамью и покачав головой. – Спаси Господи от волхвов и наушников.

– Известно, владыка, что лютые зелья найдены у Турова: он подбросил их царице, а ссужали Адашевы.

– Правда ли, Левкий?

– Вассиан и Мисаил заверят крестным целованием у чудотворцова гроба. Царица скончалась бездетной; хотелось Сильвестру и Ада-

шевым править царством и волею державного государя, а Марья-чародейка помогала им!

– Не мешаюсь в дела мирские, но много, Левкий, принял ты греха на душу!

– Царь рассудил... – начал Левкий.

– Бог рассудит, – перебил его митрополит, – и взыщет невинную кровь.

Макарий подошел поправить светильню лампы, горящей пред иконами. Лампада ярко вспыхнула пред потемневшим лицом архимандрита, и внезапный блеск ее осветил лик небесного мстителя.

В это время слышались шаги, Левкий оглянулся и увидел князя Курбского.

Не ожидал Курбский встретить здесь виновника гибели Адашевых, не ожидал и Левкий увидеть князя. Он не мог вынести взгляда Курбского, невольно вздрогнул и опустил глаза в землю.

Митрополит приветствовал князя словом Евангелия: «Благословен грядый во имя Господне!»

Курбский поцеловал руку первосвященника и сказал:

– Господь отнял от нас свое благословение.

Лесть и клевета обошли нас, владыко, нет правды в мире, нет мира в сердцах!

– Мир вам! – сказал митрополит, осенив его крестным знамением.

– Святитель, меч губит невинных.

– Господь всем воздаст! – сказал митрополит, указывая на образ Страшного суда, им самим написанный.

Образ этот стоял на станке, еще не оконченный митрополитом. Трудясь с жаром духовного красноречия в описании святой жизни и чудес угодников Божиих, митрополит Макарий усердствовал сам изображать лики их так, как представлялись они его воображению. Сей труд служил отдыхом для неутомимого архипастыря. При возникающем гонении на невинных Макарий, не однажды возвышая голос свой в царской думе, но не видя успеха и считая для себя неприличным вступить далее в дела светские, желал представить безмолвный урок сановникам и, после кончины Алексея Адашева, начал писать образ Страшного суда. Не скоро митрополит надеялся кончить сию икону; но уже можно было видеть главные части образа – праведни-

ков и мучеников, призываемых Спасителем в царство славы, и беззаконников, поглощаемых гееннским огнем.

Левкий, стараясь скрыть свое смущение, осмелился хвалить искусство письма, а Курбский, указывая на изображение, сказал:

– Страшна участь клеветников и лицемеров! Губители невинных гибнут в адском огне. Их терзают муками, каким они подвергали других; но муки их вечны. – И, схватив руку дрожащего архимандрита, который отступил от образа, Курбский прошептал: – Вот что готовят себе злодеи, преподобный отец!

– Чародеи и обаятели, – отвечал Левкий, вздыхая и не смотря на икону.

– Нет страшнее чародейства, как злоречие клеветы, – заметил Курбский.

– Радуюсь, князь, прибытию твоему! – проговорил митрополит, прерывая речь князя и приглашая его сесть на скамью, покрытую суконной паволокою.

Левкий хотел удалиться.

– Можешь остаться, – сказал Макарий. – У меня с князем нет тайны; Андрей Михайлович будет говорить при тебе.

– Я спешил в Москву просить за невинных; царь не дозволил мне предстать к нему; зложелатели торжествуют. Святой владыко, удостоить быть посредником между мною и государем.

– Велики заслуги твои, князь Андрей Михайлович, – сказал митрополит. – Голос мой ничего не прибавит к ним. Посредство мое в делах духовных; не касаюсь суда мирского и воли мирской.

– Первосвятитель, – возразил Курбский, – когда у подножия трона измена расстиляет сети для пагубы невинных, тогда мудрость духовная может стать пред троном в заступление истины.

– Разделяю с тобой скорбь о бедствии невинных, но не мешаюсь в дела синклита. Господь зрит мысли и сердца. Обвинитель Адашевых пред тобою; сам Левкий свидетель, что, призванный государем в думу, я говорил за обвиняемых, просил не судить их заочно и допустить к оправданию. Не хочу более печалить старость мою и надоедать государю; вижу, что пора мне сложить бремя мое, отойти к житию молчальному. Левкий, ты можешь

сказать государю о желании старца Макария.

– Не оставляй нас, владыко, – сказал Левкий, вздыхая. – Ты первосвященник церкви, столп православия.

– Не трать льстивых слов, – сказал митрополит, – я знаю тебя, и ты меня знаешь.

– Священник, – сказал Курбский, – в безмолвной жизни ты будешь служить себе; ныне служишь церкви и царству и еще можешь возвысить голос в защиту гонимых.

– Церковь молит о них пред престолом Господним, – тихо сказал Макарий.

– Но бедствия их не смущают ли душу твою? – спросил Курбский.

– Не смущайся бедствиями добрых! «Блажен иже претерпит искушение, зане искушен быв примет венец жизни».

– «Претерпевый до конца, той спасется», – прибавил Левкий.

– Так, Левкий, спасается тот, кто потерпел от наветов, но наветнику нет спасения.

Говоря это, митрополит взял из рук Левкия список с завещательной грамоты Даниила Адашева.

Курбский устремил пронизательный

взгляд на архимандрита.

– Скажи, – сказал митрополит Левкию после некоторого молчания, – в чем ты обвиняешь Даниила Адашева и по смерти его?

– Великий первосвятитель! – отвечал Левкий, не поднимая глаз. – Он положил на слове отказать святой Чудовской обители огородную землю в Китае, за торговой площадью. Отправляясь в Ливонию, писал нашему келарю, что если Бог пошлет по душу, и тому месту быть за святою обителью; но в грамоте оказалось, что мимо Чудовской обители отдано то место, где гостунское училище, и сказано взять для того же училища данные отцу келарю в ссуду для обители четыре рубля московскими деньгами да полтину московскую.

– У сей грамоты, – сказал митрополит, – сидел отец его духовный от Ильи-пророка, и в грамоте означено, где что дать ему и с кого взять. Отменить намерение он был властен.

– Обитель нуждается в перестройках келейных, отдачею же денег под училище это приостановится...

– Стыдись, Левкий, удерживать достояние сирот и детей. Обители обогащены дарами

царей и бояр, а для вертограда наук еще способов мало.

– Многие науки во вред душе, – сказал Левкий.

– Не видит ли Левкий чародейства в науках? – спросил Курбский.

– Не гневайся, князь, – отвечал Левкий, – и дай молвить слово: ты знаменитый воин, но Адашевы опутали тебя волхвованиями.

– Довольно! – прервал сурово митрополит. – Я уже слышал твои наговоры.

– Левкий, – сказал Курбский, – благодари Бога, что сан твой и присутствие первосвященителя ограждают тебя; но помни суд Божий.

– Ты мне грозишь, князь, в присутствии владыки?

– Я говорю пред владыкою и то же скажу пред царем, хотя бы заплатил жизнью за истину...

– Князь, скрепи сердце, – сказал митрополит. – Не для того я удержал Левкия, чтоб воспалить гнев твой. Я желал показать тебе, что не верю и не потворствую лукавым наветам.

– Прости скудоумие мое, преосвященнейший владыко, – сказал Левкий. – Пред дер-

жавным государем говорил я в простоте сердца. Глас народа – глас Божий; везде знают Адашевых; велико слово государево. Содрогался я, слыша от него самого, что Адашевы и новгородец Сильвестр обаянием омрачили царские очи его и владели державною волею.

– Не обаянием, но страхом Божиим, – возразил Макарий. – Сила их была не в чародействе, но в разуме и добродетели.

– Помилуй, владыко, ты ставил государя на царство и браком его сочетал, а поп Сильвестр насылал повеления, и боярам, и воеводам делал что хотел!

– Господь послал его, – сказал Макарий.

– Господь и оборонил от него, – молвил Левкий... – А то он и Адашевы, сговорясь, отворачивали государя от врачей телесных и врачества душевного; отговаривали не ездить на богомолье в отдаленные обители...

– На всяком месте слышит Господь Его призывающих, – сказал Макарий.

– Милует Бог, и государь увидел волков в одежде овчей...

– Но обличится и тот, кто в одежде ангельского чина сеятель клеветы на пагубу доб-

рых, – сказал Курбский.

– Князь Андрей Михайлович, не моя вина, что государь пожаловал простоту мою и со мною, смиренным, беседует. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать.

– Смирение в личине, – сказал митрополит, – благодать не в чертогах, где ты остришь меч казни.

– Не моя вина, владыко. Меч суда Божия на главу грешников. Завтра казнят чародейку Марию с ее окаянными племенем.

– И не прилипнет язык твой! – воскликнул Курбский.

– Князь, – сказал Левкий, – разве неизвестно тебе, что в палатах царицы...

– Знаю, – перебил его Курбский, – что Даниил Адашев присылал к Марии травы, привозимые в Ливонию из-за моря; знаю, что Туров ими пользовался, но не знаю, кто первый осмелился назвать целебное зловредным и клеветать на добродетель.

– Клеветать? – повторил Левкий. – Но царский врач объявил, что в зелье том зловредная сила, а Даниил...

– Левкий! – сказал митрополит. – Вчера

кровь невинного обагрила землю; не здесь место оскорблять память доблестного вождя. Оставь у меня свиток, в котором начертана последняя воля невинно погибшего, и не смущай моего спокойствия.

– Прости, владыко, я поусердствовал для святой обители. Не взыщи на моем скудомии. – Сказав это, Левкий сделал три поклона перед образами, поклонился в пояс Макарию и вышел.

Митрополит и Курбский молча проводили взглядами Левкия. Старец, не вставая со скамьи и качая седовласою головою, устремил глаза в землю, в глубокой думе. Курбский внимательно посмотрел на митрополита и, схватив руку Макария, готовый упасть к ногам его, воскликнул:

– Спаси, спаси невинных! Во имя Божие заступись за них, добрый пастырь! Да не порадуются клеветники на пагубу всех, любивших Адашева!

– Успокойся, князь! – сказал митрополит. – Господь, наказуя бедствиями, не оставит людей своих.

– Да поможет он тебе умилоствовать Иоан-

на! Чуждая буря возмутила душу его.

– Так, – сказал Макарий, – в юности он дал обет властвовать, как Всевышний указал избранным помазанникам, и много лет властвовал правдою, когда Сильвестр и Адашев, как правосудие и добродетель, предстояли пред ним.

– И мы чтим его как отца! – добавил Курбский. – Тысячу раз готовы были жертвовать жизнью за правдивого государя!..

– Его воля над нами, но горе отлучающим сердце царя от народа, угасающим светильник любви и милосердия. Решаюсь, князь, хотя и отвергаются просьбы мои, еще раз предстать к государю и молвить о невинных. Может постичь и меня участь Сильвестрова, Левкий посмеется над старцем...

– Служитель Бога правды, дерзай на правду пред царем земным! – сказал Курбский, целуя руку митрополита.

Глава III. Клеветник и заступники

В обширной палате, устланной богатыми персидскими коврами, золотая лампада с жемчужными поднизями ярко горела перед образом Нерукотворного Спаса. Перед иконою на ковре стоял Иоанн и молился. Возле него на парчовой подушке лежал рукописный Псалтырь, облеченный малиновым бархатом, но царь читал псалмы, почти не заглядывая в священную книгу. Прочитав несколько кафизм, он начал вечерние молитвы... В это время дверь тихо отворилась и кто-то сказал со вздохом: «Отврати лице твое от грех моих», – и поклонился.

Это был Левкий, пришедший, по обыкновению, беседовать с государем. Иоанн взглянул на своего любимца и продолжал молиться вслух; Левкий же хотя и не осмеливался повторять за царем, но тем не менее слышны были его усердные земные поклоны.

Иоанн встал и, милостиво подавая руку Левкию, сказал:

– Вижу я, что бы богомолец.

– Как не умилиться, государь, видя твое

благочестие; милует и хранит тебя Бог, мне ли не молиться, когда великий царь смиряет себя пред Господом!

– По грехам и молитва должна возрастать, – сказал Иоанн.

– Великий государь, и святые не без грехов. Апостол сказал о себе: «Аз плотен есмь, продан под грех», а мы не святые, не апостолы, в жизни всему время, да и чем грешен ты, государь, разве своим милосердием?

– Злоумышленники подвигли меня на гнев, дерзновенные хотели властвовать мною, но терпению есть предел.

– Так, государь, в Писании же сказано: «Всякая душа владыкам да повинуется, противящиеся власти – Божию повелению противятся».

– Я строг и гневлив, – сказал Иоанн, – но всегда ли жить мне младенцем по наказу Сильвестрову и терпеть моих зложелателей?

– Великий государь, Господь повелел повиноваться и строптивым, а ты строптив ли был с Алексеем Адашевым? Милостив, как к единокровному брату, смирялся перед ним, а изменник воздавал тебе лукавством, и другие

по его же обычаю; но мужайся и крепись, Господь не отступит от тебя.

– Знаешь ли, – спросил Иоанн, садясь на резной позолоченный стул, – что князь Андрей Курбский уже в Москве?

– Я встретился с ним, государь, у владыки митрополита Макария и лучше бы не встречался.

– Для чего он прибегает к Макарию? О себе или о других просит?

– Лучше умолчу, государь, скажу с пророком Исаиею: «Казни твои не покоряются – общники татям...»

– Курбский дружен с Адашевыми, – сказал Иоанн, – он прозорлив и кичлив, но храбрый и верный слуга... счастлив он, что я помню его во вратах Казани!

– Прости моему скудоумию, великий государь, когда скажу: каково древо, такова и отрасль. Дед Курбского, князь Михаил Карамыш, на деда твоего, великого государя, умышлял измену; дети его ехидного рождения, злобного ума, казну дедов твоих расхитили, непрестанно зло умышляли втайне. Слышал ты, государь, что Андрей Курбский, взыс-

канный твоею милостию, отпускал твоих пленников, оскорблял воевод старейших, служил вместо тебя Адашевым, ездил в Юрьев к Алексею и хоронил его, заступался за Турова и за сына чародейки Марьи, развозившего грамоты адашевских угодников?

– Велики вины его, – проговорил Иоанн, – но велики и заслуги; он виновен легкоумием и дерзостью, а не изменой; Адашевы его ослепили, но они и меня уловляли; знаю, что еще много злого семени, но Курбский мне еще нужен; пощажу его, а других не помилую!

– Ох, государь, много еще адашевцев, яд аспидов под устами их, озлобление на путях.

– Знаю, – сказал Иоанн, – что Курбский прибыл просить за Даниила Адашева. Он дерзнет просить меня о пощаде других, но завтра же увидит меч мой над ними!

В это время один из царских стольников доложил государю, что митрополит Макарий просит дозволения представиться.

Иоанн сердито взглянул на стольника, однако же повелел призвать митрополита.

Почтенный старец, в фиолетовой рясе и в саккосе из рытого полосатого бархата, опира-

ясь на пастырский посох, смиренно вошел и приветствовал государя, подошедшего принять благословение. Лицо Левкия выражало лукавое внимание.

Государь пригласил митрополита сесть.

Макарий начал просьбою успокоить его старость, говорил, что в преклонных летах желает уклониться от мира; Иоанн же убеждал его не оставлять паствы для блага церкви.

– Если и останусь, государь, – отвечал митрополит, – то могу пострадать от наветов; прискорбно мне, старцу и твоему богомольцу, подвергнуться гневу твоего величества; но кто дерзнет сказать, что убежит от стрел клеветы? Укажу на прежних любимцев твоих; совестью свидетельствуюсь, что не верю преступлениям, взведенным на Адашевых, не вижу правосудия в казни их. Государь, прости дерзновение старцу; немного остается мне жить, не вхожу в суд твой, но умоляю гласом церкви, склонись к милосердию! Правдою устрояется престол начальства.

– Владыко! – холодно отвечал Иоанн. – Мы Божиею милостию уже достигли зрелого разума и, кроме милости Божией, Пресвятой Бо-

городицы и всех святых, от людей учения не требуем; неприлично, владея множеством народов, добывать чужого ума.

– Справедливо, государь! – сказал митрополит. – Но и царский разум просвещается Святым Писанием: Соломон вещает: удерживай гнев, паче берущего грады...

– Знаю! – возразил Иоанн. – Но в книге Премудрости сказано: премудр судия наказует люди своя.

– Наказует, а не казнит, государь. Там же сказано: Престол и князей низложит Господь и посадит кроткие вместо их. Прославь кротостию душу твою!

– Я кроток с достойными. Земля правится нами, а не боярами и воеводами; жаловать своих рабов мы властны и казнить также; довольно было и в юности нашей неустройства и мятежей; помнишь ли, первосвятитель, что и на тебе мантию разорвали...

– То были, государь, буйные мятежники, а не слуги верные, то были закоснелые в преступлениях, а не смиренные вдовы, не младенцы невинные... Молю твое величество милловать их.

– Макарий, кто вразумил тебя просить о пощаде злодеев моих?

– Тот, кто кающегося злодея помиловал! – сказал Макарий, указывая на лик Спасителя. – Тот, кто рек: блаженны милостивые...

– Так! – сказал Иоанн, смягчаясь. – Но не все, что возможно Богу, возможно царю. Чародейка Марья помогала отлучить от меня Анастасию Романовну; Адашевы умышляли извести род мой, надеть Мономахов венец на князя Владимира Андреевича...

– Государь! – возразил с твердостью Макарий. – Един Бог сердцеведец знает истину; не мне исследовать вины судимых, но и ты не должен внимать одним обвинителям. Допусти к светлому лицу твоему князя Андрея Курбского, дозвожь ему...

– Курбского? – вскрикнул Иоанн. – Строптивый в устах своих носит погибель свою; едва могу воздержать гнев на дерзость сего горделивца! Разве у него десять голов? Или он надеется на заступление святого прародителя своего, князя Феодора Ростиславича; но исполню твое прошение: да явится предо мною Курбский.

По слову государеву известили князя Курбского о повелении Иоанна. Знаменитый военачальник спешил в царский дворец, смущаясь ожиданием неизвестного, но с решимостью обличить клевету пред Иоанном.

Вступив в столовую палату, князь Курбский увидел многих лиц, ему незнакомых. Несколько бояр, из приверженцев Адашева, стояли в безмолвии, с поникшими головами; новые любимцы Иоанна с надменностью и величавостью смотрели на доблестного воеводу.

Братья царицы Анастасии упали духом: они уже тайно раскаивались в зложелательстве Адашевым; новые любимцы затмили их блеск и могущество. На скамье, покрытой серебро-травчатою камкою, у большого окна, сидел небрежно молодой боярин в драгоценном парчовом ферязе; отложной воротник его, унизанный изумрудами и яхонтами, показывал роскошь царского любимца; обувь была украшена узорчатыми золотыми цветами с крупными перлами. Юность оживляла румянцем гордое лицо его, выразительные глаза показывали пылкость страстей; самона-

деянная усмешка видна была на устах, придавая чертам его особенную привлекательность; его русые волосы вились кудрями. Это был юный Федор Басманов, новый любимец Иоанна. Подле него стоял, завернувшись в алый бархатный охабень, высокий мужчина; лицо его изображало невоздержность и грубую веселость. То был князь Афанасий Вяземский. Он смеялся, смотря на одетого в синий атласный кафтан, с разноцветными парчовыми нашивками, царского шута Василия Грязного, который, подкидывая бобровую шапку с длинной золотой кистью, забавлял прибаутками и кривляньем окружающих; рядом с ним стоял широкоплечий богатырь, первый наездник, первый удалец в пиршестве, что легко было заметить по его красноватому лицу, выражающему отвагу и буйство, – Малюта Скуратов. Поодаль – два черноризца: тучный Вассиан и бледный Мисаил, приверженцы Левкия, разговаривали шепотом, как будто не примечая горбатого карлика, который из-за них костылем Левкия задевал царского шута. Таково было собрание, представившееся князю Курбскому, там, где некогда

встречали его Алексей Адашев и мудрый Сильвестр. С горестью подумал он о превратности судеб человеческих и вдруг понял все, чему удивлялся в перемене Иоаннова нрава.

При появлении Курбского карлик отдернул костыль, шут прекратил кривлянья, бояре перестали смеяться. Один Басманов сохранил небрежное равнодушие.

Иоанн отпустил уже митрополита; но Левкий был при нем. Царь стоял, нахмурясь, опершись рукою на стол, покрытый фиолетовым бархатом с золотою бахромою. Курбский, войдя и поклонясь Иоанну, твердыми шагами подошел к нему.

Царь отступил, сказав ему с грозным видом:

– Потомок князей ярославских, сильный мой воевода, как служишь ты ныне царю твоему? Верностью ли Курбского или изменою? Покорностью ли, или адашевским, фарисейским обычаем?

– Государь! – сказал Курбский. – Ты знаешь, как я служил тебе – кровь моя лилась за тебя, тело сокрушено ранами в битвах; с крестоносною твоею хоругвиею подвизался я на

татар и ливонцев, повсюду полки твои побеждали со мною.

– Знаю дела твои, – сказал Иоанн, – вся твоя храбрость подобна сонному видению. Силен ты с полками моими, сражаясь с нетрезвыми немцами, но как исполняешь ты волю мою? Не ты ли отпускал моих пленников? Бежал от воинства навестить Адашева в башне Юрьевской! Не ты ли, насмехаясь над моей волей, оскорблял старейшего воеводу князя Мстиславского за адашевских слуг? О чем советовался ты с предателем Даниилом, вредителем царского здравия?

– Государь, Бог видит правоту, сокрушаюсь...

– Не оправдывайся перед Богом и перед царем не мудрись; что говоришь о сокрушении, предав душу неправдам.

– Неправдою не жил я, и святой предок мой, князь Федор Ростиславич, не указал мне так жить, но вижу над собою твой гнев...

– Хочешь ли не бояться власти моей? Покорствуй, но если зло мыслишь – бойся; не хвались предками: дед твой, Михаил Карамыш, умышлял измену на моего деда, а дру-

зья твои, Сильвестр и Адашев, отторгали мою державу под власть свою.

– Ты сам, государь, избрал их, сам повелел Адашеву защищать немощных от руки сильных, против его желания возвел на высокую степень...

– Так! – оборвал его Иоанн. – Я желал прекратить неправды, устрашить хищников, но истребилось одно зло, возросло другое, раб стал над владыкою; любимцы мои везде поставили своих угодников, Курлятева в синклит допустили, а меня влекли на битву, как ратника под знаменем...

– Запрещали ездить на поклонение к святым местам для спасения душевного и телесного здравия, – прибавил вполголоса Левкий.

– Должно прежде царство устроить, – говорили они, – а разве можно устроить без Божией помощи? Помню я, что было и в болезни моей, когда готовились отдать венец мой князю Владимиру Андреевичу!.. А теперь погубили мою агницу...

– Не берегли и тебя, государь, пострадал ты голодом и жаждою, – сказал Левкий.

– Так! – продолжал царь. – Я должен был

вкушать пищу не по своей воле; они сокращали трапезу мою, хотели бы и жизнь сократить.

– Волки в одеждах овчих! – вздохнув, сказал Левкий.

– Государь, ранами моими умоляю тебя, дозвожь мне говорить с тобой наедине.

– Дерзостно сердце твое! – вскрикнул царь. – Что превозносишься ты над Левкием или думаешь, что нет у меня воеводы, кроме тебя? Князь Андрей, ты не гасишь, а разжигашь пламень; ты единомышленник Адашевых, смотришь, как бы посеять плевелы, а не исторгнуть зло.

– Вижу, государь, – отвечал Курбский, – вижу плевелы; у клеветников, стоящих пред тобою, лезть в устах их, яд под языком; вижу гнев в глазах твоих, но правда в сердце моем; не жалею ни жизни, ни славы; возьми от меня твои награды и почести, возврати любовь твою, я заслужил ее кровью! – Курбский упал к ногам государя.

Первые слова его Иоанн слушал с изумлением и негодованием, но сила чувств Курбского проникла в сердце царя.

– Чего ты хочешь, строптивый? – сказал Иоанн.

– Оправдания гонимых, пощады злополучной вдове, добродетельной матери невинных детей. Удостои выслушать, государь, верного слугу твоего.

– Не величай себя этим высоким титулом; слуга мой, старейший из верных бояр – князь Воротынский; послужи его послушанием, не вступайся за губителей, промышляющих лицемерием и отравою. Врач показал...

– Врач, подкупленный клеветниками. Выслушай до конца, государь, умоляю тебя.

– Терпение мое выше твоей дерзости, – сказал Иоанн, – говори!

Курбский встал, почтительно поклонился и продолжал с твердостью оправдывать обвиненных; между тем Левкий вздыхал, пожимал плечами и взглядами своими старался возбуждать недоверчивость Иоанна.

– Тебя ослепили Адашевы! – сказал Иоанн Курбскому. – Я выслушал афинейское твое красноречие, но исполню мою волю. Читай Златоустовы беседы и не утруждай меня твоими. Иди, потомок ярославских князей, твои

святые за тебя молятся.

Курбский удалился, скрепив в душе своей скорбь и отчаяние.

– Что ты думаешь, Левкий? – спросил Иоанн любимца своего.

– Очарован вражеской силой! И я, великий государь, слушая его, поверил бы, если б не оградился молитвою. Спаси тебя Боже, утружден ты и разгневан, подкрепи силы, развесели сердце. По слову Сираха: радование сердца вино пиемо во время прилично.

– Чувствую жар и жажду, – сказал Иоанн, – вчера долго пробыли мы за трапезой; не лучше ли кружка воды, чем кубок вина?

– Ах, государь, вспомни совет: не пей воды, но мало вина приемли, стомаха ради и честных недугов.

Сказав сие, Левкий махнул рукой столынику, который, за отбытием князя Горенского, заступал должность кравчего, и немедленно появился на царском столе золотой поднос, на котором стояли братина ложчатая с бастром[19], позлащенный воронок с крепким медом и любимый Иоаннов кубок в виде сокола, у которого вместо глаз вставлены были

алмазы, а золотые крылья были осыпаны рубинами и яхонтами.

Стольник, отведав вино из братины, подал его Левкию, который, отведав, налил в кубок и поднес Иоанну с низким поклоном.

– Пей во здравие, государь, – сказал он ему, – твоя утеха – нам веселие, не все скорбеть и крушиться. Бог дал тебе царство крепкое, державу честную, поживи для своего покоя, ты не инок, не отшельник от мира, сам всех мудрее, дал бы Господь тебе здравия... будет помощница для твоей царской радости!

– Право, Левкий, ты умнее Сильвестра, – молвил Иоанн, усмехнувшись.

– Вздумал ко псу применить! Ох, государь! Не мои речи, а Господне смотрение. В десятый день по кончине царицы Бог положил тебе на думу: жениться на сестре польского короля, и послы уж отправлены... как бы мы повеселились на твоей царской свадьбе!

– Послы мои хвалят Катерину: всем наделена от Бога, дородством, здоровьем и красотою; король рад отдать, да спорит, чтоб быть ей в римском законе.

– Пойдет на спор, быть войне; а свадьба

своим путем; много княжен и царевен, дщерь дщери лучше! Воля твоя: выбирай, государь!

Так говорил Левкий, угождая Иоанну. Скоро разговор стал шумнее. Федор Басманов, Афанасий Вяземский и Малюта Скуратов вошли по приглашению царя; за ними Вассиан и Мисаил. Смех шута и крик карлика в присутствии иноков и царя придавали собранию странную веселость. Ложчатая братина стучала о золотой поднос при прославлении имени Иоаннова и усердных поклонах, пока не ударил колокол в Благовещенском соборе ко все-нощной.

Глава IV. Жертвы клеветы

Мрак ночи редел над Москвою; уже рассветало, когда на площади, за кремлевской стеной, слышался стук топоров – воздвигали деревянный помост. Наставший день долженствовал быть днем ужаса для всей Москвы. Многие граждане, пораженные скорбью, затворились в своих домах, другие, побуждаемые любопытством, которое было сильнее страха, бежали туда, где смерть поджидала новых жертв. Палач уже стоял среди толпы неистовой черни, говорившей с безумною радостью, что будут казнить чародейку с детьми ее.

– Она отравительница! – говорил один простолудин. – Да с чего быть добру? Она не православная, а из ляхов проклятых, и дети-то ее знались с нечистою силою: теперь им скрутили руки перед крестом, так и нечистая сила не поможет.

– Экое диво! – сказал мещанин из кожевенного ряда, качая головой. – Эта чародейка раздавала в народе много милостыни.

– И прещедро наделяла в память Алексея

Адашева, – сказал другой.

– Да в Петров пост скоромилась, – закричал один из стрельцов.

– А сколько пустила оборотней! – пробормотала беззубая старуха. – Кого волком, кого медведем; не одну царицу испортила, а помогал ей... наше место свято!

– Ведь и деньги-то ее, – пробормотала толстая купчиха. – Лишь кто перекрестится, ан из рук пропадут...

– Нет, не грехи, родная! – сказал старик нищий, стоявший печально в толпе. – Ее подаяние не пропадало.

– Да ты почему знаешь?

– Как не знать, свет мой, вот третье лето я питаюсь ее милостыней, третью зиму ношу ее шубу.

– Видно, что милосердная! – сказал купец.

– Так чародейка ли она? Бог ведает.

– Сохрани Спас и думать, – сказал молодой ремесленник, – она, моя кормилица, спасла мою мать от болезни; призрела сироту, соседкина сына; но, видно, горе ей на роду написано...

– Молчи, молчи, – остерег, толкнув его, дя-

дья, – вот идет дьяк, поволокут тебя в земскую избу.

– Какие сыновья-то у ней! – сказал нищий старик. – Тоже предобрые и еще на возрасте!

– Видал я их, – проговорил купец, – хоть бы у православной таким быть!

В это время раздался треск барабана; показался отряд стрельцов, вооруженных бердышами; за ними шли к Лобному месту осужденные, держа в связанных руках горящие восковые свечи, слабый свет которых еще более оттенял бледность их лиц. Впереди шел Владимир, нареченный жених дочери боярина Сицкого; за ним следовали два московских жильца – братья его. Отчаяние видно было на их лицах. Как ни ужасна мысль умереть от рук палача и в цвете лет, но еще ужаснее было для них видеть гибель матери и братьев. Несчастливая шла под черным покрывалом с двумя младшими сыновьями.

Осужденные подошли к Лобному месту. Возле помоста стоял думный дьяк, он прочел приговор:

– За злодеяния матери и сына, друживших Адашеву, предать чародейку смерти, со всем

ее окаянным племенем. Таково повеление царское!

– Погибай, окаянная! – раздались крики в толпе.

– Швыряй камнями в бесовское отродье! – заревел закоптелый чеботарь, размахивая жилистыми руками.

– Молчи ты, черный бес! – крикнул ему стоявший неподалеку служитель Курбского. – Ее судит Бог и царь, а не ты, чеботарь!

– Дело! Дело! – закричали в народе, и чеботарь приумолк.

Грозный час наступал: палач приблизился к осужденным; в разных местах между народом слышались плач и вздохи.

– Помилуй нас, помилуй! – кричали два отрока, дети Марии, упав к ногам дьяка.

– Сановник царский! – сказала Мария, обращаясь к думному дьяку. – Заклинаю тебя именем Бога живого, дозвожь мне в последний раз благословить детей моих!

Дьяк постоял в нерешимости, но уступил состраданию. С мрачным видом он дал знак подвести детей к матери. Тогда, возложив на головы детей руки, отягченные цепями, Ма-

рия сказала:

– Благословляю вас на венец мучеников! Отец Небесный видит невинность вашу. Дети! Его солнце сияет нам и в сей час, когда смерть пред нами, его небо осеняет нас! Не страшитесь орудия казни. Дети! Смерть не разлучит, но соединит нас! Мы переселимся в отечество небесное.

Она поцеловала сыновей своих и заплакала, склоняясь на плечо Владимира; солнце озаряло пред ними площадь, кипящую народом; ничто в природе не предвещало их жребия, и вековые кремлевские стены тихо стояли в неподвижной красоте своей так же, как в радостные дни жизни их... Скоро кровь их брызнула на помост... Мария безмолвно молилась. Владимир, склонив голову, шел за братьями; на последней ступени он хотел на кого-то взглянуть и вдруг затрепетал... ужас выразился на лице его. Пред его глазами мелькнули главы Благовещенского собора, возле дома Адашевых, где в первый раз он увидел дочь боярина Сицкого. Несчастный вспомнил о милой невесте, о прежних надеждах своих и содрогнулся, холод объял его сердце, он заша-

тался, застонал и упал мертвый. Палач остановился в недоумении, но, как бы досадуя, что смерть предупредила его удар и похитила жертву, с безумным ожесточением потащил мертвое тело на плаху, размахнулся окровавленным топором и, высоко подняв голову Владимира, сбросил ее со смехом на ступени помоста...

Казнь закончилась. Народ в неподвижном оцепенении смотрел на тела убиенных; наконец послышался шепот. «Спаси нас, Господи!» – переходило из уст в уста.

– Мученическая кончина! – сказал со вздохом один боярин, отирая слезы.

– Для топора ли вы были взлелеяны, прекрасные дети? – говорил другой.

– Ох, ох, ох! Все мы – люди грешные, не убежать тьмы крошечной! – кричал в толпе юродивый.

Глава V. Ночь

Княжеский деревянный дом Курбских находился близ церкви Николы Гостунского; крытые кровли высоких хором еще издалека были видны из-за тесового забора, отделявшего от дома сад Владимира Андреевича, за которым на месте бывшего некогда подворья ордынских послов виднелся златоверхий Никола Гостунский; несчетное множество разноцветных, блестящих крестами глав видно было в отдаленности под гору за кремлевской стеною и кровлями боярских домов. Десятилетняя Анна Колтовская стояла в сенях, любуясь на работу девушек, которые возле решетчатого окна сидели за пяльцами, выстилая серебром цветы по синему бархату; из сеней был переход в светлицу, где Гликерия незадолго перед тем, по обещанию, низала жемчугом пелену к чудотворной иконе в обитель Вознесенскую, но княгини не было в светлице; она была у вечерни, находя в молитве утешение среди бедствий, внезапно постигших ее друзей.

Семилетний Юрий, ее сын, смотрел из ши-

рокого окна светлицы, ожидая возвращения матери.

– Еще нейдут от вечерни, – сказал он вошедшей Анне, – а тучи собираются, видно, будет проливной дождь, застанет матушку на дороге.

– Она скоро придет, – сказала Анна, – а чтоб тебе не скучно было, поди посмотреть, как красиво там вышивают богатую ферьязь!

– А ты хотела бы носить такое платье?

– Я не княжна, не царевна, отец мой бедный дворянин, так не мне такое платье носить; незачем и желать.

– А если ты будешь княгиней? – сказал, смеясь, Юрий. – Матушка говорит, что она была стрелецкая дочь, а теперь она княгиня, отец мой князь, он взял казанского царя в плен, и казанская царица дарила его доспехами. Хочешь ли, я покажу тебе их? Мамушка пошла туда оправить лампаду.

Анна улыбнулась и с любопытством побежала с Юрием через сени, в обширный покой, в котором князь Курбский обыкновенно беседовал с друзьями. В переднем углу, над широкой лавкой иконы блистали драгоценными

ризами, свидетельствуя усердие к вере и богатство боярина; в другой стороне, на ткани, которою была обита деревянная стена, развешано было оружие: булатный меч, старинная броня ярославских князей, сулица с рукоятью и клинком, острым с обеих сторон, в парчовом чехле; две татарские сабли, подаренные от Сумбеки и Едигера, легкое метательное копье с зубчатым ратовищем, колчан с позолоченными обручами, остроконечный высокий шишак, называемый иерихонскою шапкой, панцирь из стальных пластин с золотыми насечками. Далее видна была серебряная булава с позолоченным и осыпанным яхонтами яблоком, подаренная Иоанном за взятие Казани, шестопер с булатными остриями, отбитый в башкирских степях. В углу покоя стоял поставец, отягощенный сулеями, стопами, кубками и кружками в виде оленей, медведей и соколов, с шутивными и поучительными надписями – достояние предков, добыча войны, дары царские. Но драгоценнее золота и серебра были для Курбского лежавшие на широком дубовом столе столбцы и книги; рукопись, облеченная бархатом, в которой грече-

ский краснописец собрал поучительные слова Златоуста; тут же лежали в свитках: жития Александра Великого, Антония и Клеопатры, грамматика Максима Грека и список со священной книгой Макария. Над столом видны были две редкости: зеркало, имевшее вид щита в медной оправе, украшенной листьями и змеями, и хрустальный рог с резьбою; возле них висел портрет знаменитого изобретателя книгопечатания Гуттенберга, имя которого тогда с удивлением повторялось уже в России и изображение которого подарил Курбскому приезжавший в Москву императорский посол.

Юрий и Анна с любопытством рассматривали оружие и драгоценности в палате князя, а добрая мамушка Юрия рассказывала о них, что слыхала. Но на книги поглядывала она косо и, проходя мимо Гуттенбергова портрета, перекрестилась.

– Вот, – сказала она, – наше место свято, латинский еретик, прости Господи, висит как икона на стенке; он, лукавый, вздумал печатать всякую грамоту; отец Пимен, спасский протопоп, говорит, что приходят последние

дни, что грамота – Антихристова печать, и, ох, худо будет!.. Да князь-то Андрей Михайлович не то говорит; наслушался он, мой бабушка, проклятых немцев, а по моему разуму я все бы книги в печи сожгла.

– Вот какова ты, мамушка! – сказала, смеясь, Анна. – Это Бог людей умудрил; у нас читают в церкви Апостол по писаному, а скоро будут читать по печатному; государь на то казны даст, владыко благословил, гостунский диакон трудится, а князь Андрей Михайлович помогает.

– Ну, да с вами не сговоришь, моя касаточка, Анна Алексеевна; я что от людей слышу, то и толкую; отец диакон – человек добрый, да и мудрости у него много, а проще-то – лучше. Вот ведь Адашева мудрость погубила, а вы, еще пташки, в молодые лета мало знаете, а поживете, увидите... Ох, ох, ох! Недаром развелось звездочетов да кудесников.

Мамушка хотела что-то еще сказать, но, как будто боясь проговориться, приложила палец к губам и, покачав головой, замолчала.

– О чем же встосковалась, родная моя? – спросила она Анну.

– Не верь, мамушка, не верь тому, что говорят на добрых людей... – Слезы помешали Анне договорить.

– О! – воскликнул Юрий. – Если б я мог поднять меч, то заступился бы за Адашевых.

– Мамушка, – сказала Анна, отерши слезы, – мне хотелось бы попросить тебя: не знаешь ли какую боярскую дочь, чтоб купила мою бархатную повязку, я сама вышивала ее шелками и золотом.

– Для чего это? – спросила с удивлением мамушка.

– Дал бы Бог получить за работу сколько-нибудь денег, хочу раздать бедным на помин моих благодетелей; мне не носить богатых уборов; они сироте не пристали.

– Ненаглядная моя красота, райская жемчужинка, – сказала с умилением мамушка. – Бог не оставит тебя за то, что ты милосердна и благочестива; наша матушка-княгиня будет тебе вместо родной матери так же, как боярыня Адашева, царство ей небесное, помянуть не к ночи, ко дню; но вот идут по крыльцу. Ступайте, дети, видно, княгиня воротилась из церкви.

Юрий побежал встретить мать, а Анна пошла с мамушкой в светлицу.

Княгиня не отвечала на ласки сына: она отвела глаза, покрасневшие от слез, и, опустясь на скамью в изнеможении, наконец спросила:

– Не возвратился ли Шибанов?

– Не приходил еще, – отвечал Юрий, – а утром я видел его из окна: он шел с Непеей...

Послышался топот коня, заскрипели ворота, и князь Андрей Михайлович вошел в светлицу.

– Все свершилось! – сказал он супруге. – День ужаса и позора! Кровь невинных заливает путь Иоанна!

Грудь Курбского тяжело вздымалась, и Юрий, прижавшись к руке отца, не смел произнести ни слова.

Княгиня обняла супруга и сказала:

– Друг мой, князь Андрей Михайлович, не круши себя и меня!

Князь встал и удалился в свой уединенный покой. Там он преклонил голову на дубовый стол и оставался неподвижен, пока не услышал шаги вошедшего человека... это был по-

чтенный гостунский диакон.

– Ничто не спасло их! – сказал Курбский, пожав руку диакона. – Шибанов видел их смерть.

– Добродетель бессмертна! – отвечал диакон.

– Что стало с Иоанном? Боже Всемогущий, как изменились нрав и вид его!

– Сердце человеческое, – сказал диакон, – изменяется на добро или на зло и переменяет наш образ. Касающийся смолы – очерняется.

– Счастлив Алексей, что успел закрыть глаза и не был свидетелем казни брата.

– Горе клевете и верящим ей! – сказал диакон.

– Придет время, – воскликнул Курбский, – когда содрогнется потомство, услышав о смерти Марии. Дивная жена, достойная вечной памяти! Некогда просветится невинность твоя при помощи просвещения человеческого!

– Так, – сказал с вдохновением диакон, обращаясь к любимому предмету своих разговоров, – книгопечатание распространит познания; правда объяснится благодаря художеству

Гуттенберга. Чудное изобретение, князь Андрей Михайлович! Мысль человеческая, заключенная в кратком начертании, может переходить из страны в страну, от века в век!

Они еще беседовали, но уже смерклось, никого не появлялось на улицах, частый осенний дождь с шумом лился на крытые высокие кровли и, отражаясь от белого железа церковных глав, стремился на землю ручьями.

– Тяжело мне от ран! – сказал князь. – Еще больше от скорби! Пора бы и Шибанову возвратиться...

Шибанов вскоре появился... С таинственным видом подошел он к своему господину и сказал, что все исполнено.

– Благодарю тебя, верный слуга мой, – сказал Курбский, – не от меня жди награды.

– Не для награды служу я, – отвечал Шибанов, – готов за отца господина и жизнь положить.

– Поспешим, – сказал Курбский, – отец Иоанн с нами. Туда, к могиле Даниила Адашева; если не могли спасти жизнь их, сохраним хотя бы прах.

Князь поспешно накинул на себя охабень и вышел, сопровождаемый диаконом и Шибановым.

Тиха была ночь над Москвою, улицы еще не были закинута рогатками, но уже никого не показывалось. Затворились московские жители в домах, изредка мелькал огонь вечерних лампад; граждане спешили предаться успокоению; но не скоро сон слетел на вежды их; душа, пораженная ужасом, удаляла спокойствие.

В это время престарелый привратник отворял вход в ограду уединенной обители для трех печальных посетителей. В углублении ограды виден был на лугу заколоченный досками бревенчатый сруб; вскоре из кельи вышел иеромонах в мантии, с кадилом и двумя черноризцами. Два фонаря освещали путь человека, который призывал их исполнить последний долг, подобно Товиту, тайно предававшему земле тела несчастных. Тихо свершился печальный обряд погребения в необычайный час, среди безмолвия ночи, но тем торжественнее казался он при блистании вечных звезд.

Глава VI. Золотая палата

Суеверие разносило молву об адашевцах; сразговоры народа о несчастных жертвах и казнях долго не умолкали. Между тем русские послы доставили Иоанну портрет прекрасной сестры Сигизмунда Августа. Царь желал скорее обладать подлинником; с нетерпением ждал польского посланника, но прибыли неожиданные гости: послы с дарами от Абдулла, царя бухарского, и Сеита, царя самаркандского. Имя покорителя Казани и Астрахани гремело в азиатских странах; властители их искали дружбы Грозного.

Приехал и польский посол. Думный дьяк и печатник Щелкалов спешил переговорить с ним и донес царю, что посол прибыл не для брачных условий, а с гордыми требованиями. Пламенник войны должен был возгореться вместо светильников брачных.

Оскорбленный Иоанн хотел немедленно выслать посла, но, взглянув на портрет Екатерины, еще не решился отказаться от надежды на брак и, желая напомнить ляхам о силе русского царства и показать блеск московского

двора, повелел звать посла в Кремлевский дворец. В тот же день должны были представляться послы самаркандский и бухарский.

С рассветом начали собираться царские сановники в приемных палатах, заботясь о приготовлении пиршества и приема послов. Вооруженные стрельцы протянулись строями по кремлевской площади; туда же спешили толпами боярские дети и служилые люди в нарядных одеждах. Даже московские купцы, желая похвалиться богатством и усердием к государю, заперли лавки и оделись в парчовые кафтаны, которые для торжественных дней береглись в кладовой и переходили по завещанию от отца к сыну.

От дворцового крыльца до первой приемной палаты по обеим сторонам лестницы и в сенях стояли боярские дети и жильцы в светло-синих бархатных кафтанах с серебряными и золотыми нашивками. В передней палате толпились стольники в кафтанах из парчи и глазета, в средней палате сидели бояре и окольные; степень старейшинства их означалась богатством отложных воротников, шитых в узор золотом с жемчужными зерна-

ми. Думные дьяки, привыкшие встречать и провожать послов, похаживали с величавою важностью или толковали с думными дворянами за особым столом, на котором лежало несколько грамот и памятных записей в свитках.

Но уже царь шествовал чрез переходы в Золотую палату; звук труб возвещал приближение послов, и улицы наполнились народом. Почетные гости ехали на красивых конях, гордо выступавших в блестящей сбруе, но еще вдалеке от дворца, по правилу, не позволявшему подъезжать к царскому крыльцу, должны были сойти с коней и идти пешие.

Стечение народа многим препятствовало видеть проходящих; особенно жаловался на тесноту дворянин Докучай Сумбулов боярскому сыну Неждану Бурцову. Докучай по малому росту должен был довольствоваться рассказами своего высокого товарища.

– Вот, – говорил Неждан, – посол самаркандский, в желтом кафтане из камки кизильбашской, подпоясан индейскою шалью, а шуба-то на нем распашная, крыта объярью, отливает в прозелень золотом.

– Я вижу только мухояровую шапочку, – отвечал Докучай, – обшита соболями, унизна по узору жемчугом.

– Это идет посол бухарского царя, Абдулла, пояс у него так и горит самоцветными камнями.

– Эх, за народом-то не видать, – повторял Докучай.

– Вот никак польский посол в аксамитовом кунтуше, в атласной шубе с откидными рукавами, шапка из вишневого бархата; а длинное цаплино перо так и развевается.

– Цаплино-то перо я вижу, – сказал Докучай.

– Он и сам выступает как цапля, – пророчил Неждан.

– А много идут за ним?

– Много... все поляки, экие нехристи, дивись на бусурманов: мимо собора идут, не перекрестятся...

– А это кто такой дородный молодец? Щеки румяные, волосы светло-русые, кудрявые?

– Английский торговый гость, Антон, а прозвище-то мудренное... Уж как царь его жалует; послала его сама королева Елизавета; не

диво, что щеголяет в синем бархатном плаще, а епанча какая! Шляпа с белыми перьями, на руке посверкивают перстни алмазные...

– Не вижу, – сказал Докучай, приподнявшись на носки сафьянных сапог.

– А вот старый немец, голова божьих дворян, которого полонил воевода князь Курбский.

– А теперь будут вместе пировать в Золотой палате.

– Нет! Князь Курбский под великою опалой государевой.

– Гнев Божий на людей! – сказал Докучай.

– Молчи, наше дело сторона! – молвил Неждан.

«Князь Курбский под опалой государевой!» Так отвечали и в приемной палате старцу, ливонскому гермейстеру Фюрстенбергу, спросившему о славном воеводе думного дьяка, и Фюрстенберг был в недоумении, за что победитель его мог подвергнуться царскому гневу?

В это время польский посол вошел в приемную палату. При всей горделивости, с какою он вступил во дворец государя, от которо-

го ему поручено было требовать уступки Новгорода, Пскова, Смоленска и других городов и областей, в основание мирного договора, он не мог скрыть удивления при виде блеска московского двора.

Обширная палата была наполнена царедворцами в златоцветных одеждах, в собольих шапках, украшенных жемчугом; они сидели на бархатных лавках важно и чинно, но в глубоком безмолвии: казалось, каким-то очарованием никто не трогался с места, и так было тихо, как будто послы проходили чрез пустую палату. Смотрящему издали казалось, что золотое море блистало со всех сторон.

Растворились двери Золотой палаты; посол потупил глаза, не выдержав блеска окружающего великолепия. Вся гордость его исчезла с приближением к самодержцу российскому. По златошелковому ковру, расстилавшемуся до ступеней трона, посол дошел до середины палаты.

На возвышении, облаченном малиновым бархатом, стояли греческие кресла из слоновой кости, с разрезными изображениями птиц, зверей и растений. Здесь посол увидел

царя в одежде, обшитой широкою жемчужной каймою, унизанной алмазными цветами. Ожерелье из драгоценных камней метало яркие лучи; с него ниспадала золотая цепь с яхонтами. Рука Иоанна покоилась на бархатной подушке, держа царственный скипетр; лицо его поражало важным, строгим видом. Небольшие глаза его обращались на предстоящих, как глаза орла, следящие добычу. Черная борода его сбегала на грудь; длинные широкие усы, до половины закрывая уста, спускались почти наравне с бородою.

У ступеней трона стояли юные рынды с серебряными топориками, в белых атласных полукафтанах, опущенных соболями, в высоких чернолисых шапках, из-под которых видлись гладкие, как шелк, волнистые кудри; стояли безмолвно, неподвижно.

Думный дьяк, встав перед тронем, произнес титул царя и торжественно воскликнул, что посол польского и литовского короля Сигизмунда Августа бьет челом царскому величеству.

Посол три раза почтительно поклонился, не без смущения подал грамоту Сигизмунда

и, повторив по обряду титул царя, заключил кратким приветствием.

Царь отвечал легким наклоном головы и, привстав с трона, спросил о здравии брата своего короля Сигизмунда Августа.

Посол ответствовал, снова преклонясь пред царем. Иоанн, просмотрев поданный Щелкаловым свиток, в котором заключался перевод королевской грамоты, нахмурился и, приподняв скипетр, сказал:

– Вот наш ответ королю Сигизмунду: желаем мира и союза по любви христианской; но доколе держим скипетр российского царства, дошедший к нам по роду и наследию от великого князя Владимира и великих боговенчаных предков наших, дотоле никому не уступим ни единой пяди от благодарованного нам царства, но сохраним всецело и от врагов невредимо.

Иоанн умолк, но послу еще слышался грозный голос его; он стоял в смущении. Тогда думный дьяк подошел к нему и сказал, что великий государь жалует его, приглашает к царской своей трапезе с другими послами.

Поцеловав руку царя, посол сел на приго-

товленном для него месте, возле ливонского магистра Фюрстенберга.

Щелкалов дал знак бухарскому послу подойти к трону; между тем польский посол имел время внимательнее обозреть палату и находящихся в ней.

Над царским местом блистала большая икона в золотой ризе, с драгоценными камнями; на серебряном столе с позолоченным подножием лежали на златобархатных подушках три короны: Мономахова и царств Казанского и Астраханского. По правую сторону трона, на местах, покрытых среброткаными паволоками, сидели царские братья: князь Юрий Васильевич, двоюродный брат, князь Владимир Андреевич и другие Иоанновы сродники; возле них в пышной восточной одежде и в блестящих доспехах сидели цари и царевичи, служащие царю московскому: потомок Тохтамыша, сын Сумбеки, вдовы Саф-Гиреевой, Александр Сафгиреевич; царь казанский Симеон Касаевич, прежде именованный Едигером; любимец Иоанна царевич Симеон Бекбулатович и астраханский царевич Кайбула; далее сидели на парчовых лав-

как первостепенные царские сановники, а с левой стороны родословные князья и бояре. Повсюду блистали аксамит, золотые кружева, золотые цепи, отливал радугами яркий бархат, лоснился черный соболь, белели жемчужные кисти.

После бухарского посла подошел к трону посол самаркандский и приветствовал царя речью от имени своего властителя, которую думный дьяк провозгласил в переводе со золотописаной грамоты султана Сеида, царя Абусандова сына:

– Превеличайший в великих! Превознесенный властелин многих земель! Славны были Дарий и Соломон, ты их славнее; как солнце, освечиваешь вселенную, как месяц среди звезд, блещешь среди владык земных! Благотворение твое, плодовитое древо, дает всем прохладу; ты – царь царей, подобен Гамаюну, подобен Александру; меч твой, как ключ, отмыкает замки крепких градов, саблей твоей отворяешь пути в чуждые царства...

Радостно слушали бояре речь посла, и на лице Грозного просияло веселие; обратясь ласково к послу, он спросил его о здравии ца-

ря Сеида, обещал самаркандским и бухарским купцам не только дозволить торговлю в Казани и Астрахани, но и во всех городах русского царства.

Азиатские послы поднесли в дар царю золотые ткани, блюдо с восточным жемчугом и чашу с виноградною кистью из рубинов и изумрудов.

Иоанн повелел отдарить их драгоценными мехами, также и посланника Елизаветы, англичанина Антона Дженкинсона, поднесшего ему алмазную цепь в дар от лондонской российской компании.

Ловкий, предприимчивый Дженкинсон умел угождать и Иоанну и англичанам: для первого он приискивал и покупал драгоценности, для последних – хлопотал о выгодах торговли; он осмотрел Россию от Архангельска до Астрахани и собирался ехать в Бухарию и Персию.

– Антон! – сказал царь. – Я твои алмазы велю нашить на мое ожерелье, а ты носи на плечах русскую шубу. Да пожери твоих английских гостей, зачем не возят никаких узорочных товаров? Что мне в сукне их, возили

бы парчу.

– Государь! – отвечал Дженкинсон. – У вас ли парчи недостало? Но была бы ваша царская воля, а я для вашего величества готов ехать в Татарию и в Персию за парчами и алмазами, лишь бы туда открыт был путь усердным к вам англичанам.

– Свободный вам путь от Архангельска до Астрахани.

– Королева будет благодарить ваше величество. Лишь бы осмотрели мы, какво плавание по Каспийскому морю, будем из Персии возить к вам по Волге жемчуг пудами, а для нас дозвольте, государь, поискать железа в Уральских горах.

– Дам грамоту, – сказал Иоанн, – но вы, торговые люди, далеко забираетесь. Есть и у нас промышленник на великой Перми, Григорий Строганов; выпросил под слободу места пустые, леса черные, поля дикие, а теперь казны у него больше, чем у казанского царя. Не правда ли, Симеон Касаевич?

– Меч твой, государь, убавил нашего богатства, а мудрость твоя прибавила нашего разума; мы тобой от тьмы к свету вышли, – отве-

чал царь казанский.

– Вот Фюрстенберг! – сказал Иоанн, обращаясь к угрюмому ливонскому магистру. – Хорошо, когда бы ты так же думал, как царь Симеон Касаевич.

Фюрстенберг, услышав слова Иоанна, встал, дрожащими шагами подошел к трону и сказал:

– Великий государь, прошу одного на старости: дай мне могилу в отечестве!

– Магистр! – сказал Иоанн. – Еще много вины на тебе и меченосцах твоих, они ссорили меня с цесарем, набегали на отчину нашу, когда должны бы служить мне: род мой от Августа Кесаря, по Рюрикову родству, а власть наша над ливонской землей от нашего предка князя Юрия Владимировича.

– Твоя воля над нами, – сказал Фюрстенберг, низко преклонив голову.

Как необычно было это смирение магистра после той надменности, с какою некогда он заключил в темницу архиепископа Рижского, несмотря на родство его с королем польским. Иоанн вспомнил об этом:

– Ты сам показал отвагу, только худо, что

после винился королю, а не просил нашей помощи.

– Забудь наши вины, государь, и дай мне, старцу, приют.

– Даю тебе в отчину город Любим; наше царское жалованье, – сказал Иоанн. – Там будешь в покое. Думный дьяк заготовит грамоту.

Фюрстенберг преклонил колено и, поцеловав простертую к нему руку Иоанна, сказал:

– Повели, государь, устроить там кирку для старца.

– Хорошо... но когда-нибудь я изберу время поспорить с тобою о вере, уличу тебя в неправедном толке и крещу в православие, как царя Едигера.

В это время думный дьяк, подойдя к царю, сказал:

– Великий государь, возвратился посланный тобою в кавказские земли, боярин твой, князь Вишневецкий, а с ним просит бить челом тебе сын князя Темрюка от пятигорских черкес.

Иоанн дал знак, и знаменитый, бывший польский магнат – царский боярин князь

Вишневецкий – вошел в палату и бил челом с князем черкесским. Пламенные глаза и смелая осанка князя Мастряка показывали отважного питомца кавказских горцев. Круглая черкесская шапочка прикрывала его голову, поверх короткой кольчуги на красном полукафтанье серебряный пояс стягивал его стан, и стальное чешуйчатое оплечье звенело на груди.

Иоанн похвалил мужественную красоту юного князя. Тогда Вишневецкий заметил, что у Темрюка есть дочь несравненной красоты, звезда среди черкесских дев.

Царь слушал с удовольствием о черкесской княжне и сказал:

– Видно по брату, что сестра хороша.

Но уже наступал час трапезы. Царь встал и, ополоснув руки водой из золотой умывальницы, стоявшей близ трона на золотом стоянце, отер их белоснежным полотенцем.

Отворились двери в столовую палату, где приготовлен был пир. Здесь представилось еще более ослепительное великолепие; нельзя было вступить без радостного чувства в этот чертог блеска. Палата озарена была мно-

жеством светильников, яркое сияние их отражалось в золотой горе; в таком виде представлялся средний столб палаты, снизу доверху обставленный рядами сосудов. На широком основании стояли позолоченные стопы, сулеи, братины, над ними поднимались пирамидою золотые блюда, чаши и кружки; вершина оканчивалась семью венцами золотых кубков; резными, витыми, ложчатыми, чешуйчатыми, с гранями, с чеканью, с надписями, изображениями. С обеих сторон возвышались два столба серебряной утвари, и около каждого стояли по шести серебряных бочек с золотыми обручами.

– Добыча ливонской войны! – сказал Иоанн, указав на них Дженкинсону. – Это рыцарское серебро!

Царь сел за особый стол с ближними родственниками и с казанскими царями. Посланники польский, английский и гермейстер Фюрстенберг сели за стол напротив царского, с первостепенными сановниками, а для послов и князей азиатских с татарскими царевичами и карачами, по правой стороне палаты на великолепном примосте разостланы

были шелковые ковры, на которых они сели по восточному обычаю.

С левой стороны поместились за двумя столами знатные бояре и сопровождающие посланников.

Стольники, неся позолоченные и серебряные блюда с яствами, а чашники – кубки и стопы с вином и медом, шли из дверей по два в ряд, один за другим, необозримым, блестящим в золоте строем, к столу царя. Стольник отведывал от каждого блюда, кравчий – от каждого кубка, и подавал государю. Откушав от яствы или коснувшись устами кубка, царь отсылал блюдо и кубок для передачи своим гостям и любимцам, и кравчий, по слову или по его знаку, именуя кого-нибудь из послов, из князей или из бояр, подносил царскую подачу. Принимающий вставал и кланялся царю. Таким образом самые лакомые блюда и кубки с драгоценными винами были почетным даром от царской руки, со стола государева.

Пять часов продолжался обед – так роскошно было обилие яств; каждый разряд, например: жареное, пряженое, сахарные яства,

появлялись в двадцати разных видах; четыре раза обносили вокруг столов за здоровье кубки с крепким медом, испанским вином, с белым, прозрачным медом. Кравчий выбился из сил, восклицая, и уже охриплым голосом провозгласил:

– Князь Вишневецкий! Великий государь жалует тебя сею чашею меду.

Вишневецкий встал, выпил чашу меду и поклонился. Кравчий воскликнул:

– Князь Вишневецкий выпил чашу меду и государю челом бьет! Князь Мастрюк Темрюкович! – снова воскликнул он. – Великий государь жалует тебя сахарной башней с царского стола своего!

Толмач повторил его слова по-черкесски.

Черкес поднялся на ноги и поклонился, а кравчий кликнул:

– Великий государь! Князь Мастрюк Темрюкович за подачу твою челом бьет!

– Князь Мастрюк! – сказал весело Иоанн. – Зови отца и сестру твою посмотреть Москву.

– Государь! – молвил князь Вишневецкий.

– В черкесской земле сыновья не живут с отцами; Мастрюк еще не видел сестры своей.

– Пусть же увидит ее в Москве, – сказал Иоанн, вставая из-за стола.

Пиршество закончилось.

– Ну, был пир! – говорил ключник Истома Дружинин, принимая серебряные блюда от стольника, Постника Игнатьева. – Сколько угощали послов и князей!

– Не каждого принимать особо, – отвечал Постник.

– Мы утрудились до пота лица. Останется хлопот и на завтра.

– Правда, – сказал Истома, – собирать кафтаны да утварь, переносить в кладовые.

– Беда, – молвил Постник, – если бы для каждого посла было столько погрому, а то угостили всех одним разом, и царю слава!

Глава VII. Царский брак

Сигизмунд Август не помышлял о союзе с царем. Польский посланник поспешно выехал из Москвы. Иоанн готовил месть и, стараясь удалить из памяти мысль о прекрасной польской Екатерине, снова послал Вишневецкого на Кавказ: он решил увидеть и даже возвести черкесскую княжну на трон московский.

Князь Курбский не появлялся в царских палатах. Все приверженцы Адашевых страшились за свою судьбу; князь Курлятев, доблестный старец, князь Александр Горбатый были под опалою; одно заступничество митрополита Макария отдаляло жребий, грозивший им. Новые любимцы и утешители Иоанна, превозносясь своим могуществом, обрекали гибели многих. Клевета смело бросала тень подозрений на знаменитых бояр, вернейших сынов отечества, и тревожилась только ожиданием новой перемены.

Радостно принял Темрюк царское слово; через несколько месяцев княжна черкесская прибыла в Москву; Иоанн встретил ее у крем-

левской стены и неравнодушно смотрел на красавицу. Свежая, как роза, легкая в движениях, величавая поступью, но дикая и несколько робкая, черкесская княжна привлекала его полными огня взорами, выражавшими пылкость чувств; черные волосы ее ниспадали заплетенными шелковистыми косами на высокую грудь, и алые уста улыбались. С быстротою стрелы черкешенка взлетала на коня, поражала птиц на лету, и трепетание крыл падающего голубя, и кровь, брызжащая из раны, веселили ее. Никакого сходства не было в ней с Анастасией, но тем не менее она возбудила страсть в Иоанне.

Когда в царских палатах поднесли ей жемчужный убор и алая ферязь, унизанная алмазами и яхонтами, облекла стройный стай ее, тогда Иоанн забыл и Анастасию, и прекрасную сестру короля Сигизмунда.

Спешили приготовлениями к брачному торжеству; княжна переменяла веру, и названа была Марией; брат ее, Мастрюк, назван был Михаилом и возведен в степень старейших царедворцев. Толпы черкесов в блестящем вооружении, с копьями, стрелами и лу-

ками появились при московском дворце, и бояре московские с беспокойством предугадывали в новых пришельцах царских любимцев.

Уже гонцы призывали всех бояр занять по степеням их и по царскому указу места при бракосочетании государя; уже знали, что свадьбе быть в неделю[20]. Московские граждане нетерпеливо ждали торжественного дня, и он настал.

Звон колоколов раздавался по всей Москве, народ теснился на кремлевской площади, ожидая увидеть выход царя к брачному венчанию; у Красного крыльца стояли великолепные, обитые бархатом сани, с парчовыми подушками; ясельничий накинул на коня шелковое покрывало, вышитое жемчугом. Между тем средняя брусая палата Кремлевского дворца, убранная золотыми парчами, уставлена была образами; на всех стенах ее сияли в драгоценнейших окладах взятые из соборов чудотворные иконы. Место в палате для царя и царицы обито было лазоревою камкою и покрыто златошитыми подушками; на каждой лежало по сороку соболей; третий

сорок соболей держала сваха. Пред царским местом на столе, накрытом белокамчатною скатертью, лежали на золотых блюдах калачи и соль.

Сваха и боярыни окружали прекрасную невесту в ее тереме и расплели ей косы. Царедворец, присланный от жениха, известил невесту, чтобы она шествовала в палату. Она встала, боярыни шли перед нею, а за нею несли большие брачные незажженные свечи и караваи; на каждом из них положено было восемнадцать больших серебряных пенязей, с одной стороны вызолоченных. Невеста, войдя в среднюю палату, села на изготовленном месте, а жена свадебного тысяцкого и свахи – на лавках, боярыни, со свечами и с караваемы, стали в ряд возле свях. С любопытством поглядывала черкешенка на две узорчатые золотые мисы с драгоценным осыпалом; на них в трех углах насыпан был хмель; с трех сторон висело по девяти соболей, и лежало девять одноцветных платков: бархатных, камчатных и атласных, и по девяти больших золотых пенязей. Тут князь Юрий Васильевич вошел в палату с боярами и боярскими

детьми, сел на большое место и, дав знак боярину-дружке, князю Мстиславскому, приблизиться, повторил за подсказывавшим ему боярином: «Зови великого государя и скажи ему: великий князь Юрий Васильевич велел тебе с Божиею помощью идти к делу своему». Тогда Иоанн пошел в среднюю палату в сопровождении всех бояр и поезжан. Поклонясь святым образам, он приблизился к месту, на котором сидела подле невесты младшая сестра ее, и, дав ей знак встать, сел на ее место.

Священник в светлой ризе начал читать молитву; в это время жена свадебного тысяцкого подошла с золотым гребнем расчесывать голову жениха и невесты. Богоявленскими свечами зажгли брачные свечи, надели на них золотые обручи, осыпанные дорогими камнями, и обогнули соболями. Уже надели на прекрасную черкесскую княжну жемчужную с алмазами кикку с белым сребротканым покрывалом. Жена тысяцкого, подойдя к мисам, взмахнула золотым осыпалом, и хмель посыпался на жениха и невесту, в знак обилия и плодородия. Старший дружка, по благословению отца посаженного, князя Юрия, раз-

резал перепечу и сыр, поставил на золотых блюдах перед Иоанном и Марией и разослал ломти к присутствующим боярам и боярским женам.

Вскоре жених встал, и при колокольном звоне началось торжественное шествие с Красного крыльца в Успенский собор. Царь сел на коня, а невеста – в сани. Державный жених облечен был в аксамитный становой кафтан; полы были выложены перлами, пояс и пуговицы алмазные, вокруг рукавов золотые кружева блистали дорогими камнями, на голове сверкал царский венец, кольчатая цепь висела по жемчужному ожерелью; во взгляде Иоанна была величавость, но лицо его было бледно; черная вихристая борода и длинные усы придавали ему грозный вид. За ним следовали черкесские князья; народ боязливо посматривал на них. Светло сиял Успенский соборный храм; Иоанн встал на правой стороне близ столба у митрополитова места, а Мария – на левой стороне, у другого столба, перед ними поезжане со свечами и караваями. Жених и невеста приблизились к митрополиту; старший дружка, царевич Си-

меон Бекбулатович, разостлал им под ноги лазоревую камку и сорок пушистых соболей. После венчания митрополит Макарий поднес хрустальный сосуд с фряжским вином.

Царь, выпив вино, ударил сткляницу об пол и, по обычаю, растоптал ее. Свершился священный обряд; новобрачные сели у столба на помосте, покрытом персидским ковром, на парчовые изголовья, и митрополит произнес поздравление. Подошел князь Юрий Васильевич и хотел что-то сказать, но, поцеловав брата, поклонился и отошел. За ним приветствовал князь Владимир Андреевич, двоюродный брат; князь Михаил Темрюкович, брат царицы; молодая княгиня Юрия Васильевича, Иулиания, подвела двух отроков в светлой одежде: то были дети покойной царицы Анастасии – Иоанн и Федор. Мало было из бояр, кто бы не взглянул на них с умилением; иные невольно вздохнули; с обоих клиросов гремело многолетие царскому дому.

Царь вышел один в боковые соборные двери на площадь, а царица поехала из церкви в санях, запряженных восемью белыми конями. За нею следовали жена тысяцкого, сва-

ха-царица Сумбека и свахи боярыни.

Между тем носили свечи и караваи к брачной постели в сенник, поставили обе свечи в дубовую кадь, обтянутую искрометною серебряною объярью; в головах царского одра спальники насыпали пшеницу; по четырем углам почивальной воткнули золоченые стрелы, повеса на них по соболю и по пшеничному калачу; на бархатных лавках по углам поставили оловянки с медом; постель с правой стороны сенника постлали на три девяти ржаных снопах, припоминая, что в счастливейшее время, в торжество брака Иоанна с Анастасиею, стлали брачный одр два брата Адашевы. В головах одра и по стенам поставили четыре иконы в драгоценных окладах. Стены обиты были златоцветным бургским бархатом, шитым шелками.

Царица вошла на крыльцо; раздались песни величания. Новобрачным предложен был завтрак; вскоре царь вышел из палат, сел на коня и в сопровождении всего брачного поезда, при колокольном звоне объезжал монастыри и церкви для принесения молитв. Он посетил и Чудовскую обитель, где встретил

его приветствием Левкий. Отсюда спешил Иоанн в другие обители; был в Сретенском монастыре, сооруженном в память избавления от татар дедом его. Наконец когда он возвращался в Кремль, вдруг послышался из толпы громкий хохот; женщина странного вида, расталкивая народ, появилась перед царем, завопила что-то непонятное.

– Прочь, безумная! – закричал татарский царевич Симеон Бекбулатович. – Не останавливай государя! Это кликуша, – сказал он.

– Не гоните ее, – сказал Иоанн. – Господь многое возвещает устами простых.

– Не гоните меня, – говорила кликуша. – Слушай не слушай, царь, а тебе мои загадки пригодятся.

– Посмотрю, – сказал Иоанн, – что ты мне скажешь?

– Тебе вся мудрость открыта, – продолжала кликуша с диким смехом, – так скажи мне: какой был ключ деревянный, замок водяной, где заяц ушел, а ловец потонул?

Иоанн быстро ответил.

– Моисей, – сказал он, – открыл жезлом путь чрез Черное море, вот ключ деревянный

и замок водяной; заяц – израильтяне, а ловец – фараон.

– Премудрый государь, – говорили бояре, – и ты проведешь нас невредимо через море житейское!

– Загадаю другую загадку: два стоят, два идут, два чередуются. Скажи, что такое?

– Слыхал я, – сказал Иоанн, – стоит небо и земля, идут солнце и луна, чередуются день и ночь.

– А я думала, – закричала кликуша, – небо и земля – Русь и Москва, солнце и луна – царь и царица, а день и ночь – веселье и горе. – Она вдруг захохотала. – Еще загадка: стоит град на пути, а пути к нему нет... Обмолвилась, не ту загадала, есть мудренее: долго ли проживет князь Андрей Курбский?

– Князь Курбский, – повторил Иоанн с недоумением, – может быть, и это я знаю.

– И я тоже, – проговорила быстро кликуша, – я сейчас отгадаю: он умрет за день прежде тебя.

Тут она закричала, завопила диким голосом, завертелась, затряслась, стала рвать на себе волосы.

Суровые черкесы с изумлением на нее по-сматривали. Никто не смел подойти к ней; Иоанн и сопровождавшие его удалились, толкая о загадках кликуши.

Возвратясь во дворец, Иоанн повелел царице идти к столу, и сопровождающие ее шли по шелковым персидским коврам, сели за стол на полавочки, обитые парчой, свахи вокруг царицы, боярыни за большим столом. С царем сели братья и знатнейшие сановники; перед новобрачным поставили жареную курицу на золотом блюде, но он до нее не касался, и старший дружка, обернув ее скатертью, отнес к царской постели.

Между тем, еще до начала пира, ближний боярин, сев на царского коня, ездил с обнаженной саблей вокруг сенника, устроенного на палатном дворе для царской почивальни. При окончании пиршества Иоанн и Мария стали у дверей палаты, и посаженный отец, князь Юрий Васильевич, выдавая молодую супругу, сказал затверженную речь: «Бог положил на сердце тебе, государь, жениться, взял княжну Марью, и ты держи ее по тому, как Бог устроил». Тогда княгиня Иулиания, су-

пруга Юрия Васильевича, с громким хохотом надела на себя, по обряду, две шубы собольи, шерстью навыворот и осыпала новобрачных хмелем.

Всему поезду раздавали ширинки, шитые серебром и золотом. Наконец все пошли к сеннику; пред царицей понесли караваи и свечи, а пред государем фонарь с богоявленскою свечою, для зажжения других светильников в разукрашенном сеннике, где над дверьми и над каждым окном утверждены были золотые кресты внутри и снаружи. В глубине поднимался брачный одр, окинутый куньим одеялом и чернолишьей шубой под шелковой простыней.

Толпы народа долго еще стояли вокруг двора государева... Наконец толпы разошлись, огни стали потухать, лишь боярин с обнаженной саблей ездил вокруг сенника до рассвета.

Глава VIII. Вечерняя беседа

Наступил памятный для России день. За тридцать один год в сей день родился Иоанн, ужасная гроза бушевала над Москвою и еще страшнее разразилась громом над волнами Волхова, колебля в основании Новгород. Старые бояре припоминали, что от самых пелен новорожденный нарекся Грозным в молве народа.

С рассвета царские палаты наполнились поздравителями. Не одни ближние бояре и святители церкви, но и купцы московские били челом на царской радости и подносили дары: серебряные сосуды, аксамиты, золотые корабельники, поставки сукна; каждый усердствовал что-нибудь поднести государю.

Многие уже разошлись, когда явился боярин Алексей Басманов; он поднес костяной жезл в серебряной золоченой оправе.

– Довольно жезлов у тебя, государь, – сказал хитрый ласкатель Иоанну, – а еще нет жезла на адашевцев.

Басманов показал, что сквозь затейливый жезл продернут был острый железный прут и

при нажатии рукой пробивался из наконечника.

Иоанн усмехнулся и, взяв жезл, слегка утавил в ногу Басманова. Тот проворно отдернул ногу.

– Жезл сей на врагов великого государя! Царская милость твоя над нами!

– Пусть все государи христианские и басурманские послужат тебе рабски! – сказал Василий Грязной.

– Ты наш, Богом избранный царь, Богом почтенный и превознесенный, – сказал с умилением Левкий.

– Да имя твое славится от моря до моря, – продолжал Басманов.

– А слава твоя воссияет навеки, как пресветлое солнце! – перебил Левкий.

– От пучины твоего разума льются реки щедрот, – продолжал Басманов и поклонился Иоанну до земли; за ним и все окружающие.

Жезл, выскользнув из руки Иоанна, упал на ковер; несколько любимцев бросились к нему и едва не опрокинули друг друга.

– Так ли было при Сильвестре! – спросил Иоанн с довольным видом.

– Так ли было, государь, при Сильвестре? – повторил Басманов почти со слезами, вероятно, от боли в ноге.

Боярин Репнин вздохнул.

– Хочу для строптивых быть грозным, – сказал Иоанн, взглянув на Репнина. – Дар Басманова пригодится.

– Гроза ведет к покаянию, – заметил Вассиан.

– Грози не грози Курбскому – не покается, – сказал Левкий.

Но внимание всех обратилось на вошедшего в палату, возвратившегося с Афонской горы, Матфия, епископа Сарского и Подонского.

Иоанн не без смущения услышал поздравление от старца, посланного за год перед тем в Иерусалим и на Афонскую гору с подаяниями по Анастасии. Как-то раз слезы в память ее показали в очах царя; он живее почувствовал разлуку с Анастасией, как мало могла заменить сию потерю прелестная его черкешенка.

Полудикой красавице все было чуждо: и язык и нравы. Молодая царица была поутру в соборе, но мало понимала молитвы и свя-

ценное пение; присутствовала при торжественном пире, но тут одна новость приводила ее в удивление; с пылкою живостью, иногда с восклицаниями, подбегая к блестящим мелочам, она с бесчувственным равнодушием смотрела на все, что было для русских святынею драгоценных воспоминаний, и взирала с таким же пренебрежением на бояр и воевод, славных заслугами, как и на стольника, подносящего ей чашу с плодами.

Вечером вокруг Марии собрались боярыни и дочери их в богатых нарядах, пестреющих радугою всевозможных цветов: одна перед другою старались веселить царицу играми, песнями, но Иоанна тут не было. Царь остался в своей палате, в кругу любимцев и приближенных бояр, и с князем Юрием сидел за столом на бархатном полавочнике. В углу палаты, на другом столе, сработанном новгородскими мастерами и поддерживаемом резными позолоченными медведями, протянувшими лапы один к другому, стояли на парчовой скатерти две енды с крепким медом, принесенные четыремя чашниками. Между царедворцами были Левкий и Вассиан. Одни из го-

стей подходили к Иоанну, иные стояли поодаль, примечая каждое его движение, и становились то угрюмыми, то веселыми, смотря по тому, хмурился или смеялся царь. Разговор перелетал из края в край палаты, но более всех говорил Василий Грязной, по должности своей тешить шутками Иоанна.

– Царь государь, – сказал он, – в лето семь тысяч шестьдесят восьмого от сотворения мира подарил своего шута, Василия Грязного, золотым колпаком, а в шестьдесят девятое лето, на своей царской радости, не пожалует ли большим кругляком?

Грязной показывал на золотую медаль, отличие знаменитых воевод.

– Пожалуй его, Симеон Бекбулатович, – сказал царь любимцу своему, молодому татарскому царевичу.

Симеон отгадал мысль Иоанна, и шут от его толчка перевернулся на земле несколько раз при громком смехе бояр.

– Доволен ли жалованьем? – спросил Иоанн.

– Челом бьет на милости Васька Грязной, лишь бы не подчивал его, как немецких по-

СЛОВ.

– А разве не весело пировали?

– Сам знаешь, прислуги было много, блюда золотые, а все пустые.

– Как ни честили дорогих гостей, – сказал с усмешкою князь Мстиславский, – что честь, когда нечего есть!

– То правда, – сказал князь Юрий Васильевич.

– Немцы пыхтели, краснели, – продолжал Грязной, – а я-то упрасивал...

– Как Эзопова лисица журавля, – сказал Иоанн, – ты сказал бы по-немецки: за пустое пустым и платят; дани не присылали, а послы их к нам рыщут.

– Так и за подчиванье не взыщут, – прибавил Грязной.

– Поделом немцам! Землею богаты, а мужеством скудны, – сказал Шереметев.

– И горды, – прибавил князь Горенской.

– Все рыцари их ходили как князья в светлой одежде, – заметил Мстиславский, – а жены в храм Божий без атласного платья не шли.

– Зато Святая Русь одолела немцев, – ска-

зал князь Горбатый.

– Святая Русь! – сказал Грязной. – А спроси, князь, кто строил нам соборы, – ан все немцы, то Аристотель, то Алевизо.

– Твои немцы из итальянской земли, – сказал Шереметев.

– Мне все равно, – возразил Грязной, – домовой ли в доме, леший ли в лесу, все тот же бес.

– Репнин ли, Горбатый ли, все адашевцы, – сказал Вассиан на ухо Басманову, а тот повторил Иоанну.

– Бог и слепых умудряет, – сказал князь Горенский. – Немец же выстроил Покровский собор, а как красив!

– Малые главы прижались к большой средней, как дети к матери, – сказал Шереметев.

– Как мы, твои богомольцы, около тебя, государь! – сказал Левкий Иоанну.

– Так, государь-братец, – подтвердил Юрий Васильевич.

– Он и построен в память взятия Казани, – сказал царь, – где со мной были храбрые... – Тут он остановился.

– Вольно тебе было, государь, – подхватил

Грязной, – не взять меня под Казань; я дело бы справил не хуже, чебурахнул бы хоть какого великана.

– Как Курбский татарина Янчуру? – спросил Репнин.

– Не о поганных речь, – сказал Грязной.

– Тебе ли так говорить? – заметил князь Александр Горбатый. – Вспомни, что Курбский – оберегатель святорусской нашей земли.

– Да, – сказал, вслушавшись, Грязной, – медведь медовые улья стережет, только уцелет ли мед?

– Этого медведя давно бы пора в зверинец, – сказал небрежно Федор Басманов.

– В Ливонии побрал несметные корысти! – проворчал Алексей Басманов.

– Неправда, одна корысть его – слава, – возразил с твердостью Репнин.

– Смотри, пожалуй, лисица по волке поручка, что овечек берег! – воскликнул Федор.

– Не юродствуй, Басманов, – сказал князь Горбатый.

– Не думаешь ли, что я Никола Псковский? – гордо спросил царский любимец.

– Тот юродствует для спасения, а ты для кубка...

– Князь Горбатый! – вскричал Иоанн. – Кому говоришь ты и в чьем присутствии?

– Государь! Он младший в царедворцах, а я старый боярин думы твоей, потомок князей суздальских.

– Князь Горбатый, я тебя выпрямлю! – гневно сказал царь.

– Все адашевцы, как борзые, заходили на цепях, – шепнул Вассиан Скуратову.

– Я знаю, – сказал громко Иоанн, – что здесь еще много единомышленников Адашевых и Курбского. Дорого мне стоят сберегатели земли русской!

– Что долго думать, государь? – сказал Грязной. – Произведи Курбского из попов в дьяконы, зашли его куда-нибудь, хоть в вельянские воеводы или степи басурманские, сыщется разоренный городишко, пусть там себе воев одствует ярославский князишка.

– Умен ты, шут Грязной, – сказал Иоанн, – за это велю провезти тебя по городу на быке с золочеными рогами.

– Завеличается он, государь, – сказал Лев-

кий, наливая чашу меду.

– А тебе завидно? – спросил Грязной.

– Что завидовать, – сказал Левкий, допивая кубок, – смотря на лес, сам не вырастешь. Поздравляю с почестью!

– Пить так пить, – говорил Грязной, потягивая вино из воронка и передавая другим сидящим, – веселая беседа на радости – пир! Только меду мало... А чтоб на всех достало, хорошо бы ливонскую бочку выкатить.

– Потешьте шута, – сказал Иоанн.

И чашники вкатили серебряную бочку.

– Не испугаете, – закричал Грязной, заглянув в пустую бочку, – завтра же вытрезвлюсь.

– Когда вытрезвишься, поезжай со мной на охоту.

– Эх, государь, мне уже чистое-то поле наскучило; бывало скачешь на коне, посвистываешь: добрый мой конь, бурочка, косматочка, троелеточка! А земля так и бежит под тобой! Бывало, государь, завидишь, птица летит, пустишь стрелу – взвыла, да пошла каленая, уходила стрела орла на лету; а зайца ли травить...

– Полно, заяц, – сказал Малюта Скуратов, – ты и в поле ничего не наезжал, не следил зверя бегущего, не видел птицы перелетной.

– Видал соколов почище тебя.

– Молчи ты заяц, Грязной, – сказал Иоанн.

– Заяц не укусит, государь, ни одной собаки, – отвечал Грязной, – а я закусаю не одного Скуратова!

– За это я велю тебя напоить медом на смерть.

– Смерти не боюсь, государь, а боюсь твоей царской опалы, в меду же медовая смерть!

Иоанн усмехнулся, посмотрел на Грязного и на большую серебряную бочку, как будто измерял ее глазами, нельзя ли со временем исполнить его желание.

Кубки не переставали ходить вокруг стола; разговор коснулся службы боярских детей.

– Государь, – сказал громко Малюта Скуратов, – щеть боярам служат дети боярские на земщине, а ты, опричь того, учреди для себя царскую стражу.

– Оберегать твое дражайшее здравие! – прибавил Левкий.

– Да из кого же выбрать, – спросил Гряз-

ной, – небось из черноризцев?

– А разве благочестивому царю неприлично окружить себя ангельскими чинами? Так, государь, в телохранителях твоих должен быть и ангельский чин.

– Нет, Левкий, прока в постниках мало, – сказал Грязной.

– Надежнее будет, – сказал Федор Басманов, – когда царь выберет удальца к удальцу, чтоб было на кого понадеяться, а за царя постоять!

– Я соглашу тебя с Левкием, – сказал Иоанн, – выберу удалых и облеку их в ангельский чин.

– Хорошо, государь-братец, – сказал князь Юрий Васильевич.

– Пусть никому не служат, опричь тебя, – сказал Левкий, – и назови их опричниками, а сам будь нашим игуменом; воздержания, государь, от тебя не требуем, довольно твоего благочестия, ты благочестив и милостив; таков, как поется песня про князя Ивана Даниловича.

Левкий, постукивая кубком, запел:

А как было то в Москве белока-

менной.

*При князе Иване Даниловиче,
Зачинался тогда Успенский собор,
На зачине был сам батюшка, ве-
ликий князь,
Видит много он бедных по ули-
цам;
Стало жаль ему нищей братии,
Государь наш князь в руки посох
взял,
Государь наш князь калиту подвя-
зал,
Наменял он корабленичков
На копеечки серебряные,
Наделяет бедных и страждущих.
С той поры его Калитой прозвали,
И Бог взял Калиту на небес высо-
ту.*

Левкий, окончив песню и сняв клубук, по-
клонился.

– Ну, что ты распелся, – сказал Иоанн, –
попросил бы лучше Басманова.

– На твое рождение, государь, я потешу те-
бя песнею, – сказал Федор Басманов и запел:

*Высота ль, высота поднебесная,
Глубина ль, глубина океан-море,
Широко раздолье по всей земле;*

*Что ж земля всколебалася,
Сине море всколыхалось?
Всколебалася земля русская,
Всколыхалось море синее,
Для рожденья светлокняжева,
Государя Ивана Васильевича,
Рыбы нырнули в реки, глубину...*

– А вы кричите, – сказал Басманов веселым гостям, – рыбы, рыбы, рыбы.

Птицы полетели высоко, в небеса...

И все с громким хохотом повторили «птицы, птицы, птицы», махая руками.

Туры да олени за горы ушли...

И бояре, закричав «туры да олени», побежали вслед за Басмановым, спотыкаясь, кругом стола. Смех раздавался в палате.

Басманов продолжал:

*Князь наш растет не по дням, по часам,
Он говорит своей матушке:
«Не пеленай меня, матушка,
В пелену, пояс шелковый,
Пеленай, государыня,*

*В крепки латы булатные,
Дай на голову шлем золотой,
Тяжку палицу, свинцовую,
Я возьму царство Казанское,
Завоюю Астраханское,
Завладею сибирским я,
Три короны к тебе принесу!»*

– Склад лучше песни, – сказал Афанасий Вяземский.

– Поцелуй Федора, – сказал Алексей Басманов Иоанну, – как я целую его. Он поет, как красная девица.

– У меня голова кружится, государь, а то я лучше бы спел, – сказал изнеженный любимец.

– Голова кружится – ляг отдохнуть, – сказал Иоанн, держа его за руку.

Басманов улыбнулся и склонился головою на плечо Иоанна.

Между тем шут Грязной хвалился, что скоро будет воеводой.

– Горе-воевода! – сказал Мстиславский.

– Не хвались воеводством, а хвались дородством, – сказал Малюта Скуратов.

– Мстиславский толст, а я не прост, – гово-

рил Грязной, – величается он воевода большого полка, а я воевода большого ковша, так посмотрим, кто одолеет?

– На чем же бой, на копьях, что ли? – спросил царевич Симеон Бекбулатович.

– На чарках, и кто отстанет, тот полезай сквозь ухо иглы.

Иоанн смеялся, а Малюта Скуратов, взяв с серебряного блюда чрезвычайной величины дыню, покатил ее к Грязному, закричав: «Ешь за то, что весело шутишь».

– Экая невидаль! – сказал Грязной, притворяясь обиженным. – Другое дело, если б подвинул стопу меду и сказал: «Пей за то, что весело шутишь».

Иоанн велел кравчему подать золотой кувшин с вишневым медом, сам налил серебряную стопу и вдруг опрокинул на Грязного.

– Пей за то, что весело шутишь!

– Вот как, братец-государь, – сказал, простодушно засмеявшись, Юрий Васильевич.

Раздавался шумный хохот, алый мед лился ручьями с головы Грязного на парчовую скатерть.

– Князь Воротынский и зван был на твой

пир, да не приехал, – сказал Иоанну Алексей Басманов, заикаясь от меда.

– Сидят пасмурные, поникши головой, – шептал Левкий, указывая на Репнина и сидящих возле него, в углу палаты, князя Горбатового, Шереметева и юного князя Оболенского. – Замечай теперь, государь, замечай лица и мысли и отличишь верного раба от изменника. Кто скучает за веселым пиром, у того злое на уме.

– Адашевцы осуждают нас, – сказал царь.

– Не повторяли и песни в честь тебя, государь, – сказал Скуратов.

– И Молчан горюет, как будто в беде, – заметил со злой усмешкой Алексей Басманов, указав на дьяка Молчана Митнова, так прозванного за его молчаливость.

– Пей, Молчан, – сказал молодой Федор Басманов, – пей за веселых гостей!

– Шестой кубок! Нет, не пью я меда из твоих горьких рук...

– Государь! Молчан досадил мне и не пьет кубка за твое веселье, – жаловался Басманов царю.

– Я научу его веселиться! – гневно сказал

Иоанн.

Но вошел брат царицы, князь Михаил Тёмрюкович, и разговор Грязного с черкесом на время укротил гнев Иоанна.

Глава IX. Феодорит

Иоанн, чувствуя всю необходимость и важность деятельности самодержца, возвратился к царским трудам. День его начинался с рассветом. Он выслушивал приближенных сановников, читал челобитные, разбирал посольские статьи и разряды, решал сомнения Боярской думы и карал нарушителей закона. В то же время он спешил с приготовлениями к войне в месть за отказ Сигизмунда Августа. Воеводам объявлен был поход, и опальный князь Курбский должен был, по повелению царя, выступить из Москвы с полками под Псков.

– Да заслужит за вину свою послушник Адашевых! – сказал Иоанн.

Впрочем, уже не доверяя Курбскому главного начальства, он избрал старейшими воеводами бояр, ему неприязненных.

Княгиня страшилась и подумать о разлуке

с супругом.

– На горе мне оставаться! – говорила она ему. – Позволь мне с сыном ехать за тобой в Псков!

– Гликерия, – сказал князь, – не в обычай женам сопровождать воевод в их ратных походах.

– Друг мой, князь Андрей Михайлович, не стало родных моих, а без тебя мне весь свет опустеет; умру я с тоски!

– Подумай, Гликерия, что скажут, когда увидят в военном стане сына и жену Курбского.

– Позволь мне видеть Псково-Печорский монастырь, помолиться о спасении твоём! Разве жены воевод не ездят на богомолье? Вспомни, что ты сам обещал свезти меня к печорским угодникам.

– Добрая жена! Не одно благочестие внушило тебе эту просьбу. Знаю, что ты боишься за меня.

– Так не скрою, – отвечала княгиня. – Все принуждает меня следовать за тобою, опасение и любовь. Боюсь твоего пылкого сердца. Кто без меня успокоит тебя? Юрий, проси со

мною отца твоего!

Курбский согласился, чтобы Гликерия, через несколько дней после отъезда его, в сопровождении Шибанова отправилась с Юрием из Москвы в Псково-Печорскую обитель, поручив юную свою питомицу княгине Евдокии Романовне, супруге князя Владимира Андреевича. Курбский снял со стены древнюю прародительскую броню, облекся в доспехи и, простясь с родными и друзьями, выехал из дома, но на пути к своей ратной дружине посетил митрополита Макария.

С радостным лицом вышел к нему старец-первосвятитель.

– Знаешь ли, князь, – сказал он, – какой гость в доме моем? Ты не ждал его видеть, а он уже спрашивал о тебе.

– Святой владыко! Не возвратился ли Феодорит? – спросил с радостью Курбский.

– Пойдем и увидишь, – сказал митрополит, подавая ему руку, и, поддерживаемый князем, отворил дверь в теплые сени и повел его по деревянной лестнице в верхнюю светлицу.

Дверь была не заперта. Несколько человек

стояли там; Курбский, не замечая их, бросился к сидящему иноку, убеленному сединами, но еще бодрому видом. Инок обернулся, увидя вошедших митрополита и князя Курбского, хотел встать, но воевода не допустил.

– Возлюбленный старец, отец мой духовный! Как сладостно мне узреть тебя, как прискорбно было не видеть честных седин твоих!

– Здравствуй, любимый сын мой духовный! Привет тебе от святого гроба, от Животворящего Креста Господня. Но зачем ты, первосвященник, привел его? Не в труд бы мне сойти к вам; здесь у меня тесно.

– Князь не осудит, – сказал ласково митрополит, – здесь все люди Божии.

– Так, владыко, – отвечал Феодорит, – это мои ближние братья; скудны они, но Бог-Промыслитель мне посылает на их долю.

Митрополит окинул взором стоящих, и все с благоговением поклонились ему до земли. Возведя взоры на Макария и чтя в нем верховного пастыря церкви, они безмолвствовали. Митрополит не в первый раз видел, что гость его, не утомляясь трудами и долгим странническим скитанием, пользовался каж-

дой минутой для благодеяний, называя себя слугою всех.

– Время отпустить их, – сказал Феодорит.

Затем он разделил между бедными несколько просвир и, взяв полную горсть серебряных денег из кожаного кошель, встал и каждому подавал, во имя Господне, сколько внушали ему сострадание и прозорливая внимательность. Тогда дети и старцы, забыв присутствие митрополита, бросились целовать руки и одежду инока, но Феодорит, поспешно отстранясь, сказал:

– Братья и дети, благодарите Божий промысел, а не меня, грешного скитальца; не мое добро раздаю, а что Господь послал вам чрез раба своего.

И все набожно стали молиться пред иконою и с восторгом благодарности вышли из светлицы. Тогда черноризец, сев с двумя своими духовными сыновьями – митрополитом и Курбским, радостно с ними беседовал.

Курбский расспрашивал его о недавнем путешествии в Царьград и удивлялся, что Феодорит, при самой глубокой старости, в ничто вменяет труды.

– Вспомни, – сказал Макарий, – сколько он странствовал; тринадцать лет оставил родительский дом и пошел на Соловки жить среди студеного моря, но учитель его был учеником святого Зосимы Соловецкого.

– О, сколько Бог послал тебе благодати, отец мой! – говорил Курбский, обратясь к Феодориту. – Ты видел и Александра Свирского?

– С божественным Порфирием он провел многие лета в пúстыни, – сказал митрополит.

Феодорит возвел взор к небу; глаза его наполнились слезами.

– Сыны мои! – проговорил он тихим голосом. – О блаженных днях вы напоминаете мне! В пúстыни покой мой.

– Вся жизнь твоя – подвиг! – сказал Курбский. – А сколько принял ты нужды, сколько потерпел от клевет!

– Вы же, сыны мои, за меня заступились, – возразил Феодорит. – От наветов в мире не избежнешь, а скорбь христианину в радость. Не утешил ли меня Господь, когда я два лета провел в Ярославле, в обители, где, князь Андрей, почивает блаженный твой предок, Феодор Ростиславич Смоленский.

– Оттуда царь послал тебя на новое странствие, – сказал Курбский.

– И с Божьею помощью свершилось! – продолжал старец. – Господь управлял мой путь в лапландских снегах, сохранил меня и в Царьграде, где два месяца страдал я огненным недугом.

– Вчера ты порадовал государя. Патриарх благословил его на царский престол, – сказал митрополит.

– Обещал прислать и книгу царского венчания, – прибавил старец.

– Святое дело совершил ты, отец! – продолжал Макарий. – Но не гневен ли государь, что ты отказался от царских даров его?

– Отказывался, – отвечал Феодорит, – а приневолен взять; возвратясь сюда, я увидел драгоценный кожух под аксамитом, которого не хотел принять в царских чертогах.

– Царь дарит тебя, – сказал Макарий, – еще тремястами сребреников и хотел почитать духовною властью.

– Властью! – воскликнул, усмехаясь, Феодорит. – Но чего мне желать? Все, что царь повелел, Бог привел мне исполнить. Не доволь-

но ли этого отшельнику? А в награду за труды не принял ли я благословение апостольского наместника, патриарха вселенского? Даров и власти от царского величества не требую; пусть дарует тому, кто просит; я отрекся от серебра и одежд драгоценных; хочу украшать душу для Бога, а не тело для земли; одно мое желание: пожить мирно и безмолвно в келье моей, пока не отзовет меня Бог. Так говорил я государю, но он убеждал меня, да не прекословлю я царской воле его, и я, повинуюсь, принял двадцать пять сребреников.

– А где же присланный царский кожух? – спросил Курбский.

– Не для меня соболя и аксамит, – отвечал старец, – я уже продал его, и ты видел здесь тех, для кого я продал. Мне пора в обитель Прилуцкую, да собираюсь побывать в моей пúстыни, над рекой Колой, навестить диких лопян, мною крещенных. Веришь ли, что и в Царьграде, стоя у Черного моря, я думал о Ледовитом и о тамошних моих духовных детях.

Митрополит и Курбский с умилением слушали старца, вменявшего ни во что трудности и отдаленность пути и изнурявшего тело

свое беспрерывными подвигами.

Феодорит, казалось, забылся, погрузившись в размышление; устремив неподвижный взор в отдаленность, он безмолвствовал, чему-то внимал: то глубокое благоговение, то святая радость выражались в духовном созерцании старца. Митрополит и Курбский почтительно отошли в сторону, чтобы не смущать его, и тихо между собою разговаривали.

– Обители горния! – воскликнул наконец Феодорит, подняв руки к небу. – Каким светом блистаете вы, пролейте сей свет благодати на всех сынов земли; согрейте теплотою веры сердца их; проясните их ум омраченный, да чтут они Бога, как сыны, да возлюбят друг друга, как братья! Россия, утверждайся благодатию, велика будет слава твоя! Крепись в благочестии: дивны судьбы твои! Придет он, придет исполин к Северному морю, падут пред ним дремучие леса, засыплет он зыбкие болота, поставит на них твердыни великого града, на раменах его опочнет русский орел!.. Легки крылья бессмертной души, далеко земля подо мною; свободно плавание в воздушном пространстве. Отечество мое, всю-

ду вижу тебя; от востока солнца до запада! Твои корабли на морях; твои знамена на стенах несокрушимых бойниц; горы твои дадут золото; царства земные преклонятся пред славою твоей.

Он умолк; но долго еще в прозорливом восторге взирал на небо; первосвященник и князь Курбский с удивлением внимали ему, не прерывая его пророческих слов. Они знали, что Феодорит впадал иногда в самозабвение; но его добродетели, прозорливость, события, уже оправдавшие несколько его предвещаний, апостольские странствия и мудрые беседы – все побуждало, все уверяло их, что Бог посещает сего старца дивными видениями и дает ему силу бестелесного существа.

Феодорит склонил чело на скамью в тихой дремоте; душа, утомленная восторгом, погрузилась сама в себя; тихий сон сомкнул вежды старца. Митрополит и Курбский, поцеловав край одежды его, удалились.

Курбский простился с Макарием, но, отъехав от палат митрополита, внезапное смущение овладело им: почему не дождался он пробуждения Феодорита и не взял на путь его

благословение? Но уже воинство ожидало вождя, трубы давали знак к походу, и московские граждане теснились у кремлевской стены, чтоб видеть Курбского, едущего поразить врагов России, не зная, что он уже не возвратится в стены Москвы.

Глава X. Провидец

Радушно угощал псковский наместник Булгаков русских воевод. Между тем как почетные гости подъезжали к его дому, невдалеке от ворот народ собрался около человека в рубище, опоясанного цепью и сидевшего на камне, в нем нетрудно было узнать псковского юродивого Салоса; он смотрел в землю и напевал унылую песню.

– Что так приуныл, Никола? – спрашивали его.

– Ох, горе! Великое горе! – готовьте телеги, вывозите уголья из города, вычерпайте великую реку, заливать пламя.

– Что говоришь ты? Какие уголья? В городе веселятся, у наместника пир.

– Пир! – воскликнул Салос. – Суета веселится в стенах, а стены распадутся, перегорят,

как перегорели сердца ваши!

– Полно, юродивый, с чего гореть нашим стенам?

– Души почернели, как уголь, и дома ваши в уголь истлеют. Пойдем молиться! Боюсь, чтоб не упал свод Свято-Троицкого собора!

Сказав это, Салос взошел на паперть собора, напротив дома наместника, и возопил громкогласно:

– Держись, держись, свод Свято-Троицкого собора! Не пади на главы наши, как мы пали в соблазн греха. Некогда упал ты, но спаслись отцы наши, стоя в благочестии, а ныне подавили мы совесть; боюсь, чтоб не подавил ты нас!

Салос упирался руками в стены собора. Гремящий голос его поразил страхом сердца; вдруг он стремительно сбежал с паперти на площадь и, прискакивая, начал петь:

*Псков мой, Псков!
Заповедный кров,
Черны тучи идут,
Твое горе несут:
Псков мой, Псков,
Заповедный кров,*

*Что-то видятся мне
Твои башни в огне;
Псков мой, Псков,
Заповедный кров,
Поклонись, помолись,
Во грехах повинись;
Господня рука,
На преступных тяжка,
Жить бы верой о Нем,
Не гореть бы огнем!*

Юродивый умолк. Он качал головою, руки его дрожали, и, казалось, он видел пред собою будущее. Окружающие его, содрогаясь, внимали ему и молились.

– Доброе дело молиться, – сказал он, – а лучше молиться делами!

– Да как же молиться делами? – спросил дюжий хлебник Лука, стоявший у корзины с хлебами.

– Не лукавствуй, Лука, – отвечал юродивый, – продавай хлеба, а не душу свою. – И, сказав это, Салос начал раздавать его хлеб стоявшим в толпе нищим и старикам.

Раздраженный хлебник, развязав свой ременный пояс, бросился на юродивого. Салос безмолвно стерпел удар; но народ освободил

его из рук хлебника.

– Не смей трогать Николу! – кричали ему.

– Лучше подай милостыню!

– Доброе дело творить милостыню, – сказал Салос, – но еще лучше предать Богу волю свою. Тогда будете и к бедным щедры, и добрыми делами богаты.

– Дай-то, Господи! Богатство нажить не худо, – сказал, поглаживая бороду, седой купец.

– Да о таком ли богатстве он говорит? – возразил другой.

– Дай нам, Господи, спастись! Не оставь нас, Господи! – сказал третий.

Гневно посмотрел на них Салос и сказал:

– Что вы зовете: Господи, Господи, а не творите, что Господь повелел? Отступите от нечистых, не прикасайтесь! Враны в перьях павлиньих! Самохвальство возносит вас! Столбы, указующие пути другим, сами вы с места не двигаетесь! Омойте лица ваши, лицемеры; проклят завидующий ближнему! Проклято сердце, веселящееся злословием! Проклята рука, в забаву себе уязвляющая других! Постыдится ищущий стыда ближнему. Позорящий других себя опозорит. Горе!..

*Псков мой, Псков!
Заповедный кров,
Черны тучи идут,
Твое горе несут;
Что-то видятся мне
Твои башни в огне...*

– Горит, горит! – закричал он. – Дом богача жестокосердного; горит жилище бедняка ленивого; пламя истребит нажитое неправдою и богатство почитающих себя праведными. Стой, хижина доброго человека! Господь хранит тебя, а ты, терем боярский, осветись палящим огнем, Господь повелевает тебе!

С трепетом слушали слова его. «Он пророчит беду», – говорили между собою.

В столовой палате псковского дома наместника пировали за веселою трапезою князя и бояре. Обед был постный, но по русскому гостеприимству изобильный; уже обнесли взварец крепкого вина, настоящего кореньями, мед ароматный полился в кубки из серебряной лощатой братины, и после жарких появились стерляди, окруженные паром, а рыбные тельные казались белыми кречетами, раскинувшими крылья на узорчатых деревянных

блюдах; просыпанные караваи подымались горками; перепечка с венцом краснелась на серебряной сковороде и рассольный пирог плавал во вкусном отваре из рыб. Орлы и пушки, башни и терема сахарные, колеса леденцовые, разноцветный сахар зеренчатый, пестреющий, как дорогие камни в глубокой чаше, были яствами последней статьи; более сорока блюд сменялись одно другими; крепкие душистые наливки поддерживали возможность пресыщаться; наконец полились в кубки фряжские вина; гости пили за царя и за царицей, за митрополита и за победоносное оружие. Давно уже степенные бояре расшутились; присказки и приговорки возбуждали то веселую улыбку, то громкий смех. По любви русских ко всему домашнему много доставалось иноземным обычаям; завелся разговор о немецких причудах, русские бояре не могли надивиться, что немцы, как козы, едят полевую траву.

– Диво ли, – сказал князь Серебряный, – что травую лакомятся, они едят и зайцев нечистых.

– Наказал их Бог, как Навуходносора, – за-

метил князь Горенский, – мало, что едят траву; лютым зельем носы набивают.

– А как зовется зелье, которое видели у царского посланника? – спросил один из бояр.

– Табак, – отвечал Горенский.

– Уж не этой ли проклятой травой портят людей? – спросил Серебряный.

– Во всяком народе свой обычай, – сказал Шереметев. – Наш чеснок для немца не лучше, чем табак для русского.

– А всего пуще железный чеснок, – прибавил с усмешкой Булгаков, – как бывало подсыпем около стен, то сколько попадает немецких да литовских наездников!

– У нас и без того немцы на конях не удерживались! – сказал Курбский.

Послышался шум, отворились двери палаты и вошел нежданный, непрошенный гость, с босыми ногами, в рубище, с посохом, остановился у дверей и громко спросил:

– Есть ли на богатом пире место для нищего? Есть ли среди веселых гостей доступ печальному?

Наместник встал из-за стола и подошел к юродивому; все изумлены были появлением

Салоса.

– Будь гостем моим! – сказал Булгаков. – Мы чтим старость, не чуждаемся бедности, сострадаем печальным.

– Примите дар мой! – сказал Салос и вдруг зарыдал. – Поминайте Сильвестра, поминайте на острове среди Белого моря... дожили мы до черных дней!

– Ты нарушаешь веселье наше, – сказал наместник. – Где же дар твой?

– Дар мой – слезы, единый дар, приличный вашему жребию. Радость ваша сонное видение, оплачьте со мною веселие ваше!

– Да не сбудутся слова твои, прорекатель бедствия, – сказал князь Серебряный. – Ты видишь нашу мирную беседу собравших на веселом пиру, празднующих щедроты царя.

– Князь Серебряный, князь Горенский, князь Курбский, верьте, верьте веселью, оно обманет вас; вместе пируете вы, но одной ли дорогой пойдете вы с пира? Разойдетесь вы в путях жизни; скоро друзья не узнают друзей, братья отрекутся от братьев, вождь оставит воинов, отец убежит от детей... Укрепитесь, терпите, смиренному все во благо.

– Чудный старец! – сказал Булгаков.

Между тем Курбский, сидевший дотопе с поникшей головой, не отрываясь смотрел на юродивого.

– Добро, прощайте! – сказал Салос. – Пойду к благоверному князю Тимофею; он христианин.

– А разве мы не христиане? – спросил Серебряный.

– Христиане ли? – сказал Салос. – Молимся до праха земли, а возносимся до края небес; за одну обиду платим дважды; шесть дней угождаем себе, да и седьмого Богу не отдаем! Помолимся Довмонтовой молитвой: Господи, Боже сил призри на кроткие и смиренные, а гордым высокие мысли низложи! Прощайте! Даруй вам Бог смирение и терпение.

Салос запел и побежал к дверям. Последние слова бояре уже слышали из сеней, и скоро на улице, под окнами наместникова дома, раздался голос удаляющегося юродивого:

*Псков мой, Псков,
Заповедный кров,
Что-то видятся мне*

Твои башни в огне!

– Не к добру его песни! – говорили бояре. – Недавно же, видимо, было во Пскове знамение: лучи огненные расходились по небу; не знак ли гнева Божия?

Через несколько дней князь Курбский встревожен был вестями из Москвы; он узнал от прибывшей в Псков супруги своей, что новые жертвы безвинно гибли по подозрениям Иоанна и проискам любимцев царя. Часто приходил он в собор, освященный славными воспоминаниями для псковитян, поклоняться останкам доблестных князей Гавриила и Довмонта, искал утешения веры, но едва мог укротить порывы оскорбленного сердца. Казалось, невидимые зложелатели человеческого спокойствия старались отравлять мир души его. До него беспрестанно доходили слухи об угрозах Иоанна и новых бедствиях. Терпя оскорбления, видя опасность, Курбский, по убеждению супруги, обращался к митрополиту Макарию и к новгородскому архиепископу Пимену, просил их напомнить Иоанну о заслугах его, но заступничество первосвященителей только отдаляло, а не отвращало жребий,

ему грозящий. В Курбском погасла уже преданность к Иоанну, смутные мысли овладевали душой его. Он таил свои намерения, но, встречаясь с Салосом, всегда чувствовал замешательство; взор этого старца, казалось, проникал в сердце Курбского, угадывал борение мыслей его.

В один летний день князь, осматривая шатры воинов сторожевого полка, расположенные на лугу за Предтеченским монастырем, увидел Николу, спящего на хворосте возле монастырской стены.

– Никола спит на хворосте! – сказал он сопровождавшим его. – Немного нужно для доброго старца, он блажен в нищете своей, но здесь жарко, солнце печет, ноги его обнажены!

Юродивый открыл глаза и поднялся с хвороста.

– Хорошо уснуть на солнышке! – сказал он Курбскому. – Хорошо жить под Божьим кровом!

– Здравствуй, старец! – сказал Курбский.

– Холодна рука твоя, Андрей, но горячо сердце; хлад в мыслях твоих, пламень в душе

твоей. Прощай!

– Куда же идешь ты?

– Если хочешь, пойдём со мной, – сказал Салос – Авось не собьёмся с дороги, – прибавил он с таинственным видом.

– Пойдём, – отвечал Курбский, желая знать, что скажет провидец.

Салос, взяв его за руку, медленно шёл с Курбским через поле.

– Был зной, а вот и облака! – сказал он. – Облака безводные, ветром гонимые. Смотри, вот деревья... немного осталось листьев.

– Листья их поблекли под зноем, облетели с ветром, – сказал Курбский.

– Мало в них крепости, – сказал Салос, – и ты – сильный воевода, а нет в тебе твердости... Горько тебе, Андрей, но не спеши бежать, чтоб не набежать на зло!.. Солнце везде увидит тебя, где бы ни укрылся ты, а очи Господни тьмами тем светлее солнце!

– Не понимаю тебя, старец!

– Андрей! Ещё успеешь венчаться, когда жена твоя будет кончаться.

– Странны слова твои.

– Сетует на тебя, горько сетует предок

твой, князь Феодор.

– О чем сетует он?

– Напрасно! Ты князь и боярин, сердце твое не должно знать смирения; предки твои святые, и ты должен мстить за обиды. Но смотри, чтоб меч твой не грянул бедой на тебя.

Курбский содрогнулся, пораженный прозорливостью юродивого.

– Разве ты знаешь мысли мои? – спросил он.

– Смотри, вот косогор, – сказал Салос. – Разве я не вижу его? За косогором долина, все молодой лес да кустарник, а есть и старые дубы... Эге, да вихрь подымается в поле. Андрей, смотри, как мягкая трава стелется, как ветер обрывает листья и кружит их по воздуху... Смотри, мчатся с пылью и прахом! Слабые листья.

– Будет буря! – сказал Курбский. – Черные тучи разостлались по небу.

Салос шел безмолвно, опираясь на посох.

– Гроза близка, отец мой.

– Да, но крепкий дуб стоит под грозою, не трогаясь с места.

В это время сильный вихрь ударил из тучи, опрокинул пред собою деревья, заскрипел дуб... Вдруг небо засверкало стрелами разлетевшейся молнии, и гром разразился с ужасною силою, как будто небо обрушилось на землю.

Оглушенный ударом и ослепленный блеском, Курбский остановился и несколько минут думал, не зная, куда идти. Наконец он оглянулся на Салоса.

– Смотри, – сказал юродивый спокойно, как бы продолжая прерванную речь, – дуб этот, сломленный вихрем и опаленный молнией, не переброшен, как лист, на чужое поле, но пал на том же месте, где вырос. Честно его падение пред Господом!

Сказав это, он благословил расколовшийся дуб, бросаясь в кустарник, скрылся от глаз изумленного Курбского.

Странные угрозы и песни юродивого немногих из жителей Пскова приводили в уныние; многие еще не верили бедствию, не видя его и почитая слова юродивого расстройством ума. Салоса уважали за благочестие, но смеялись над его песнями. Нравы

псковитян в это время отклонились от непорочности предков; богатство ввело роскошь, и новгородское удалство приманивало псковитян подражать буйству Новгорода, слывшего в народе старшим братом Пскову.

Не прошло и двух дней, как псковитяне испуганы были звоном колоколов, возвещавших пожар. Огонь появился у нового креста на полонице. Небрежность ли стражи или смятение испуганного народа были причиной, что пожар усилился, но силой ветра перебрасывало искры и горящие головни через реку; тут запылало Запсковье, и под тучами дыма пламя быстро стремилось из одной улицы в другую, охватывая вершины зданий; церкви казались огненными столбами в разных концах города; между ними со страшным треском разрушались дома, при воплях народа и не умолкающем звуке набата, призывавшего отовсюду на помощь. Ужас еще увеличился взрывом пороховых погребов; казалось, огнедышащая гора вспыхнула над Псковом, извергая в воздух град камней и пепла; пламя, как лава, с новою силою разлилось по улицам, и пятьдесят две церкви погибли в по-

жаре. Тогда-то народ окружил Салоса и, упав к ногам его, просил помолиться о прекращении бедствия. Никола проливал с ними слезы и помогал таскать воду из реки, приговаривая: «Господь наказал за грехи по правде, помилует по благодати!»

На другое утро еще густой дым застилал все небо над Псковом; большая половина города представляла пожарище, и самый Свято-Троицкий собор обрушился в пламени; едва успел усердный народ вынести святые останки князей Гавриила и Довмонта, и сам Никола Салос среди пожара и разрушения вынес в церковь Преображения Господня мечи князей, защитников Пскова.

Глава XI. Взятие Полоцка

Поляки радовались бедствию Пскова, но Курбский был уже в Литве и предал огню предместья Витебска. Князь Серебряный разгромил литовцев близ Мстиславля. Русские воеводы спорили о старейшинстве, но успехи их устрашили литовцев. Сигизмунд предлагал мир Иоанну, царь требовал уступки Ливонии и велел боярам припомнить на переговорах, что и Литва была достоянием русских венценосцев. Между тем на юге России князь Владимир Андреевич отразил набег крымских татар. Хан бежал, и с новым годом Иоанн предпринял блистательный поход, собрав ополчение, какого еще не бывало при нем, не для долголетней войны, но для верного, рассчитанного удара. Он стремился показать Сигизмунду силы России и овладеть Полоцком, оплотом Литвы. Это давало возможность удалиться на время из мрачной Москвы, бывшей позорищем казней, и развлечь уныние народа. Иоанн сам отправился с воинством, окруженный казанскими, астраханскими и черкесскими царевичами. Многие

бояре царской думы, окольников и дьяки сопровождали его. Казалось, царский двор присоединился к воинству. Сигизмунд Август не верил слухам о приближении трехсот тысяч русских. Блеск доспехов, богатство оружия отличали дружину царскую; семь рынд с серебряными топориками сопровождали Иоанна в торжественном шествии, неся вооружение государево: меч, сулицу, колчан и другие доспехи. В воеводах большого полка были князь Мстиславский, оба Шереметевы, Иван Васильевич большой и меньший, князья Петр Шуйский и Серебряный, но старейшим над всеми был князь Владимир Андреевич. Русская сила, как необозримая в пространстве река, окружила Полоцк. Радзивилл с литовцами спешил на помощь осажденным; но триста сажень стены было уже разбито русскими барсами и драконами. Устрашенные граждане не хотели защищаться, тем более что Иоанн, казалось, готов был миловать побежденных.

Въехав в верхний замок Полоцка с царскою пышностью, Иоанн повелел представиться знатнейшим полоцким гражданам.

Войско окружало площадь пред замком. Черкесские всадники на статных конях, вооруженные с головы до ног, охраняли берег Двины, а дружины стрельцов, в красных кафтанах с бердышами в руках, казались багряною стеной, увенчанной сверкающей полосой. Между рядами их проходили с трепетом в замок почетные граждане полоцкие, предшествуемые епископом, и несли драгоценные дары грозному победителю. Иоанн ожидал их в большой палате замка, на возвышенном месте, устланном шелковым ковром, и стоя под сенью златотканого балдахина, украшенного литовским гербом. Поодаль его почтительно стояли князь Владимир Андреевич, царевич Симеон Бекбулатович и Михаил Темрюкович.

Полоцкий воевода Довойна, приблизясь к Иоанну, просил его о выполнении договора: не касаться имения граждан. О том же просил и епископ Полоцкий, напоминая, что это было первое условие сдачи.

– Царь московский, – сказал Иоанн, – не коснется имения полоцких граждан, но здесь я великий князь полоцкий. Вся Литва – моя наследная отчина. Епископ и воевода, ждите

нашего слова в Москве, а здесь ни в латинском епископе, ни в польском воеводе нет нужды. Царевич Симеон Бекбулатович, покажи усердие к православию. Распорядись, чтоб ни одной латинской церкви в Полоцке не осталось. Всех крестить, а для ослушников Двина глубока...

Повеление Иоанна ужаснуло полоцких граждан, ропот и крики раздались на площади перед замком, но медные барсы и драконы устоялись с валов на толпы, и народ затих.

– Хочу, – продолжал Иоанн, – избавить короля Сигиз-мунда Августа от забот о казне полоцкой; незачем оставлять для него здесь запаса в богатстве граждан. Золото и серебро взять все на дружину; немцев не обижать, хоть и стояли за польского короля. Они не знают, кому служили, но мне не чужие. По Божией милости корень русских владык от прусса, брата Августа Кесаря. Ротмистры Албрехт, Валкер и Ян, вы здесь пришельцы, даю волю вам возвратиться восвояси или к королю, пусть видит, что я вас с ляхами не равняю. Кого хочу миловать, милую, и жалую вас, на моем княжении полоцком, золотыми

корабельниками.

Иноземцы не ожидали такой милости. Иоанн допустил их к руке своей.

– Ныне, государь, – сказал князь Владимир Андреевич, – исполнилось проречение, что Москва вознесет длани свои на плечи врагов ее.

– Так совершилось слово Петра Чудотворца, – отвечал Иоанн, – напомним о сем нашему богомольцу, митрополиту Макарию. Князь Михаил Темрюкович, поезжай обрадовать Москву и царицу, сестру твою, а первосвястителю отвези от меня поминок, крест с драгоценными камнями. Не теряйте времени, воеводы мои, стены полоцкие разрушены, Витебск дымится пожарищем, путь вам открыт.

Князь Воротынский подал царю письма королевской рады. Польские магнаты снова предлагали выгодный мир, извещая, что послы их готовы ехать в Москву. Этого и ожидал Иоанн. Главная цель его – утрашить врагов – была достигнута; впрочем, труды войны были для него в тягость.

– Когда так, – сказал он, – пусть едут послы! Послов не секут, не рубят. Ляхи смири-

лись, а нам нужен отдых. Сигизмунду будет о чем подумать, а мы, возблагодарив Бога, поспразднуем в Москве с нашими крещеными царевичами.

Поручив восстановление полоцких стен и защиту города князю Петру Шуйскому, Иоанн с избранною дружиною отправился обратно в Москву. Бояре, один перед другим, спешили к нему на пути с поздравлениями от супруги и сыновей. Пред стенами Волоколамской обители святого Иосифа встретил отца царевич Иоанн, старший сын его, младший царевич Феодор, ожидал его в Крылатском селе и сам благовестил в церковный колокол при приближении государя. В Старице великолепно угостила Иоанна княгиня Евфросиния, мать князя Владимира Андреевича; в то же время Иоанн получил весть о рождении сына Василия. Радостно было шествие покорителя Полоцка в свою столицу; казалось, повторилось торжество покорения Казанского царства.

Глава XII. Праздник Ваий

Наступила неделя Ваий. Еще до рассвета Кремль наполнился толпами народа, стремившегося видеть обряд воспоминания шествия Господня во Иерусалим, тем более поразительный, что, по древнему обычаю, в сей день царь, воздавая смиренное поклонение святыне, шел пешком возле ехавшего первосвященника. Колокольный звон возвестил начало торжественного хода. Из Успенского храма вынесли ветвистое дерево, со всех сторон увешанное яблоками, кистями изюма, смоками и финиками. Утвердив его на двух широких санях, стоявших у паперти собора, почетные граждане повезли священное древо, и шествие тихо подвигалось вперед при пении пяти отроков, стоявших на санях; ослепительная белизна их одежд, как покров непорочности, юность, смирение и благочестие, придававшие лицам их небесную красоту, священные стихиры, стройно и согласно ими повторяемые, – все возбуждало умиление в зрителях. Невыразимы были чувства видевших приближение древа Иерусалимского, за коим

боярские дети несли алтарный фонарь – знамение светильника церкви; священные хоругви развевались в воздухе, кадиланицы диаконов дымились фимиамом пред ликами шести чудотворных икон. Ряды священнослужителей в богатейших ризах, казалось, лились, как золотая река; долго не видно конца ей; но вот пошли архиереи, и на коне, в виде жребяти осяго, покрытом белою пеленою, сидел первосвяtitель, митрополит Макарий, придерживая левою рукою сверкающее златом Евангелие, а правую – благословляя народ, припадающий со слезами, по сторонам пути его. Коня вел под уздцы царский брат, князь Юрий Васильевич, и сам царь с непокрытою главою шествовал, придерживая шелковый повод. Конь степенно и тихо переступал по алому сукну, устилавшему дорогу пред ним. Верховные царские сановники, князья и бояре следовали за государем, наконец усердные граждане с вербами и свечами шли стеной за торжественным шествием, как бы сопровождая самого Спасителя, грядущего во Иерусалим.

– Еще молод, а немощен, – говорили в на-

роде, смотря на князя Юрия.

– Зато добр, воды не замутит, – тихо сказал брату своему стольник Прокудин.

– Да и в стоячей-то воде проку мало, – возразил стоявший возле него дворянин Лука Чихачов.

В это время благоговейный порядок шествия нарушен был неожиданным случаем. Князь Юрий Васильевич оступился; в глазах его потемнело, он упал на руки подбежавших стольников, но вскоре старание царских лекарей привело его в чувство. Иоанн, приметя в толпе прибывшего в Москву доктора Бомелия, поручил брата своего его попечению.

Болезненная слабость Юрия не давала надежд на его выздоровление. Печальная супруга его видела приближение неотвратимого жребия. Несколько месяцев еще продолжалось брение жизни с болезнью. С наступлением зимы Иоанн лишился брата и вскоре сопроводил в Новодевичий монастырь прекрасную княгиню, вдову Юрия, принявшую пострижение и имя Александры. И в самом уединении Иоанн хотел окружить ее блеском; казалось, весь княжеский двор Юрия пе-

реселился с нею в обитель; но иногда во мраке ночи слышали у стены монастырской плач кликуши, приговаривавшей: «Не любил бы да не убил бы!»

Много событий волновало Москву. Двоюродный брат царя князь Владимир Андреевич подвергся опале. Иоанн окружил его соглядатаями. Евфросиния, мать его, принуждена была принять пострижение. Князь Вишневецкий бежал в Литву; Курлятев лишен боярского сана, разлучен с женою и пострижен с детьми; бояре, не принадлежавшие к любимцам царя, трепетали за свою участь. Одних рассылали по монастырям, другие гибли в Москве.

То подозрения, то укоры совести удручали сердце Иоанна; сумрачный, смутный, после веселых пиршеств приходил он к супруге своей и сетовал на окружавших его.

– Для чего терпишь ты противных тебе? – спрашивала царица. – У тебя есть стрелы, мечи на виновных; брось тела их зверям! – И, слушая рассказы черкешенки, привыкшей видеть месть неукротимых горцев, Иоанн успокаивался.

Не ослабевая в трудах государственных, он искал отдыха в вечерних беседах с своими любимцами, но невоздержание заглушало рассудок; а между тем клеветники, указывая на молчаливых и важных бояр, шептали ему: смотри, они на пире твоём не хотят быть веселыми и нас осуждают; дух Сильвестра и Алексея еще держится в них. И очи Грозного раскидывались на беседу; горе было тому, в чьем лице виделся ему обличительный взор Сильвестра или Адашева. И те казались опасны пред ним, чей род восходил к древним ветвям поколения Мономаха и Рюрика, и те, чье богатство, обращаемое в благотворения, приобретало любовь народа; и те, чьи заслуги были предметом общей молвы. Знаменитейший из бояр князь Воротынский послан был в заточение на Белоозеро, Шереметев повергнут в темницу, князь Львов поражен булавой...

Дни, полные страха, не мешали вечерним беседам; трепетавшие утром должны были веселиться вечером. В одну из таких бесед Василий Грязной притащил мешок, набитый личинами разного рода, по большей части

звериными или представляющими страшилищ. Каждый из собеседников наряжался, как хотел. Боярин Репнин, свидетель сего странного игрища, не мог удержаться от смеха.

– Старик! – кричал Иоанн. – Не хочешь ли, как новый Сильвестр, увещевать меня, как младенца? Плачешь ты на свою беду!

– Плачу я, государь, на свою голову, что дожидается она до темных дней.

– Молчи, боярин, если не хочешь, чтобы я послал тебя в беседу к медведям князя Михаила Темрюковича. Образумься, веселись с нами, возьми личину крымского хана или польского гетмана, под личиною будешь веселее.

Иоанн хотел сам наложить маску на лицо угрюмого боярина, но Репнин отстранился.

– Советник думы твоей не скоморох, – сказал он и, выхватив личину, бросил ее к ногам и растоптал пред Иоанном.

Грозный царь прогнал его, но гнев на Репнина кипел в душе его. Через несколько дней Репнин был убит подосланными убийцами.

Между тем перемирие с Польшею рушилось. Царь хотел удержать свои завоевания и

требовал Полоцка и Ливонии. Поляки собирали новые силы к отражению русских. Радзивилл, осторожнейший и хитрейший из польских вождей, окружил русских в лесах, близ Орши. Здесь пал доблестный князь Петр Шуйский; труп его брошен был в колодезь, но Радзивилл, желая представить всю важность победы своей в гибели славного воеводы, велел с почестью перевезти труп его в Вильну, в сопровождении русских пленников. Польский король, страдавший тогда болезнию, услышав о победе, ожил и сказал, что радость действует успешнее врачей. Хитрый Радзивилл, желая довершить свой успех, приготовил другое донесение к королю; преувеличив число сил своих и поражение русских, он послал гонца такою дорогою, чтоб русские могли захватить вестника. Так и случилось.

Русские полки, поверив перехваченному известию, отступили: одни к Смоленску, опустошая все на пути, другие собирались под Невелем, где был и Курбский. Соболезнуя о погибших друзьях и ближних, князь изнемогал в душе; привыкшая к победам рука его, казалось, оцепенела, мрачные думы сменя-

лись одна другою... В это время польский отряд Замойского и Лесневельского, разведя ночью множество огней, чтоб показаться многочисленнее, успел занять место, удобное к обороне, между озером и рекою. Поляки едва могли противостоять усилиям русских; защищались отчаянно, но случай обратил битву в их пользу. Курбский был ранен и должен был сдать начальство другим воеводам. Заступившие место его не умели одолеть неприятелей; множество русских пало, и поляки остались на месте – хвалясь, что, ранив русского льва, перебили овец.

Весть о неудаче под Невелем, преувеличенная окружающими Иоанна, возбудила его гнев и подозрения. Помня еще слова московской кликуши, он уже их приписывал умыслу Курбского, хотевшего избежать грозной руки его; митрополит Макарий еще оправдывал Курбского пред царем, но скоро от трудов и прискорбий угасла жизнь великодушного заступника гонимых.

В последний день декабря не стало Макария, и диакон Иоанн Федоров, восклонясь на гроб его, с глазами полными слез взирал на

почившего старца.

– О, как торжественно твое безмолвие, великий святитель, – говорил он. – Ты, как плод созревший, ожидаешь, да вкусит тебя Господь. Дела твои, муж правды, говорят за тебя в самом молчании смерти. Много потрудился ты для христианского просвещения! Благодарим тебя! – Слезы пресекли голос диакона; он поклонился в землю пред гробом митрополита.

Глава XIII. Бегство

Среди воинского стана князь Курбский получил повеление быть наместником покоренного Юрьева. Вожди и воины были удивлены; носился слух, что шутка Грязного подавала Иоанну мысль к унижению Курбского.

Негодование гордого воеводы достигло последней крайности.

– Меня! – воскликнул он. – Меня Иоанн жалует наместником юрьевским! Забавляет мною шутов своих, в воздаяние за раны мои! Не так ли поступили и с Алексеем Адашевым? Хотят насытиться позором моим. Но они не унижат Курбского. Судьба войны еще

колеблется...

На другой день, оставляя Псков, Курбский пожелал проститься с воинами; ратники собрались на двор княжеский. Курбский говорил со всеми приветливо, благодарил за сподвижничество, угостил пиром на дворе своем, наделял подарками на память.

– Возьми нас с собой, храбрый князь! – кричали ратники.

– Нет, пришло время проститься; а не думал я с вами расстаться... С тобой, Ратманец, я сражался под Тулой, с тобой, Утеш, переходил степи башкирские!.. Прощайте, сподвижники ратные, гроза моя летучая, копьё боевые!

Курбский обнимал их, и они с горестью провожали его; но скоро быстрый конь унес его. Курбский спешил в Дерп или, как звали русские, Юрьев, куда последовала за ним прибывшая из Псково-Печорской обители супруга его с юным сыном.

Все жители дерптские были изумлены и обрадованы прибытием нового наместника. Они спешили ему представиться. Между ними были старейшина Ридель и Тонненберг.

Ридель все еще тосковал о похищенной до-

чери и, встречаясь иногда с Тонненбергом на улицах дерптских, проклинал коварство Вирланда.

Уже прекратил свое существование славный орден меченосцев, но Тонненберг не снимал с себя рыцарских лат. Он представлялся лицом таинственным; то являлся в Дерпте, то в Нарве, то в Новгороде. Московские воеводы пользовались его посредничеством к покорению Ливонии, ливонские ратсгеры поручали ему склонять на милость воевод московских. В Новгороде любили его как веселого удалца; там он сбывал разное оружие и драгоценные вещи. Курбский видал его еще в Пскове, и Тонненберг старался заслужить его доверие, показываясь прямодушным и твердым в правилах чести.

Граждане дерптские часто видали своего воеводу в церкви Святого Георгия, куда заходил он навещать прах Алексея Адашева. Однажды, когда Курбский молился там пред образом Святого Победоносца, заметил он невдалеке стоящего человека, странно одетого, который, казалось, был в нерешимости, подойти ли к нему, и осматривался, нет ли

еще кого в церкви.

Князь, дав ему знак приблизиться, спросил его имя и откуда он.

– Я из Москвы, – отвечал боязливо незнакомец, – имя мое Марк Сарыгозин и пришел открыть тебе тайну. Князь, не выдавай меня.

– Кто бы ты ни был, – сказал Курбский, – если умыслил недоброе, не жди от меня покров.

– Я из московских жильцов, – отвечал Сарыгозин, – а меня неволею велели постричь в чернецы за то, что я хотел взять за себя дочь стольника Нащокина, на которой задумал жениться царский шут Василий Грязной.

– А тебя он хотел заставить молиться? – спросил Курбский.

– И я бежал из монастыря, – продолжал Сарыгозин.

– Беглецов здесь не укрывают, – сказал Курбский.

– Князь, – отвечал Сарыгозин, – я не останусь в Юрьеве, но и ты недолго здесь будешь; спасай себя, князь, меч над твоею головою.

– Что говоришь ты? – спросил Курбский. – От кого ты знаешь о том?

– Знаю, князь, и на верности слов моих поцелую крест. Друг твой, благодетель мой Головин, едучи из Москвы в Ругодев, узнал меня на пути и велел спешить к тебе с вестью, что ты снова в опале. Бутурлин назначается на смену тебя... С ним отправится Малюта Скуратов... Чтоб не встревожить верных полков твоих, есть ему тайное повеление...

– Понимаю, – сказал Курбский с горькой усмешкой. – Могу верить тебе и благодарю Иоанна! Следуй за мной.

Княгиня Курбская заметила, что супруг ее возвратился встревоженный, прошел с незнакомцем в дальний покой, затворился и долго говорил с ним; наконец, велел Шибанову дать ему одного из лучших своих коней, ласково отпустил незнакомца.

В тот же день Курбский узнал от Тонненберга, что в доме одного дерптского жителя готовятся покои для каких-то бояр, ожидаемых из Москвы.

Следующий день был праздничный, и в доме воеводы собрались старейшины дерптские и многие граждане с поздравлениями. Черные епанчи их, обувь с широкими раструба-

ми, кружевные манжеты, выпущенные из рукавов, отличались от одежды русских, окружавших князя, но они также усердствовали изъять свое уважение славному воеводе.

– Благодарю, высокоименитые ландраты, за ваши приветствия и доброжелательство ко мне, – сказал Курбский, и старейшины низко кланялись князю, прижимая к груди свои шляпы, украшенные густыми черными перьями.

Курбский разговаривал с Риделем, как вдруг вошел нежданный посетитель. Прибывший из Москвы Малюта Скуратов спешил представиться наместнику дерптскому. Курбский устремил на него испытующий взгляд. Скуратов приветствовал его, не изменяясь в лице, и сказал, что послан царем в Юрьев ждать указа о назначении по разряду в воеводы. В словах Скуратова Курбскому слышалось лукавство, улыбка его казалась улыбкою убийцы. Курбский, отпустив собрание, спешил открыть супруге свои опасения и ужасную решимость, давно уже тяготевшую на душе его.

Княгиня безмолвствовала, наконец пере-

крестилась и сказала:

– Бедствие наше велико, но можно искать спасения, бежим, князь Андрей Михайлович, скроемся из Юрьева!

– Мне бежать? – воскликнул Курбский. – Нет, еще много преданных мне... пусть приступят убийцы... Может быть, сам Иоанн содрогнется.

– Друг мой, что ты предпримешь?

– Иль спокойно ждать казни? – спросил Курбский. – Мне, потомку князей ярославских, пасть без отмщения, к позору моего рода и племени, к утехе Грязного и Левкия? Иоанн дорогой ценой купит смерть мою! Но ты, Гликерия... но сын мой...

– Спаси себя и нас! – сказала княгиня, падая к ногам его. – Умоляю тебя, скройся, если только можно укрыться от царского гнева: на край света последую за тобою! Пожалей меня, пожалей твоего Юрия!

– Гликерия, – сказал смягченный князь, – куда убежим мы? К Сигизмунду?.. Но бегство предаст нас. Невозможно мне с вами скрыться. Нас узнают, тогда не спасемся. Повсюду стерегут тайные приставы царские; бегство

мое ободрит их. Одною смелостию можно от-
вратить бедствие. Лучше уйти мне к моим
верным дружинам в Псков или в Новгород, а
вас я тайно отправлю к другу моему Головину
в Ругодев.

– Как? – спросила с ужасом княгиня. – Ты
хочешь восстать на царя? Князь Андрей Ми-
хайлович, побойся Бога Всемогущего.

– Я хочу, – сказал Курбский, – избавить
Россию от кровавого жезла Иоаннова.

– Бог дает царей, – возразила княгиня. –
Господь наказал нас Иоанном Грозным; но
неужели ты думаешь, что русские воины за-
будут страх Божий и восстанут с тобою на за-
конного государя? Нет, Андрей Михайлович,
тогда и Бог от тебя отступится! Русь не помыс-
лит изменить государю. Вспомни, что в Пско-
ве Дмитрий Андреевич Булгаков, в Новгороде
Федор Андреевич Булгаков: они ли отступят
от верности? Друзья твои скорее примут
смерть, как Адашев, а не поднимут руки на
мятеж. Не прибавляй преступления к бед-
ствию! Беги, если можешь...

Курбский погрузился в глубокую думу, по-
том тихо сказал:

– Гликерия, повторяю, что бегство с тобою и с сыном нас погубит. Один среди опасностей я найду еще путь во Володимерец ливонский. Избирай: или расстаться со мною, или увидеть здесь смерть мою!

– Расстанемся! – отвечала княгиня. – Спасай себя.

– Вечная разлука не легче смерти. Где вас оставлю? Где я найду вас? Иоанн помилует ли семейство мое?

– Если Бог помилует, не погибнем, – сказала княгиня.

Курбский опустился на колени и, простерши руки к иконе Спасителя, долго молился. Наконец, встав, начал ходить скорыми шагами и, остановясь, сказал с твердостью:

– Я отправлю вас в Нарву. В семье Головина вы найдете пристанище. Когда же получите весть, что я в Вольмаре, по-нашему, в Володимереце, с Богом поезжайте морем в Ригу, там сестра старца фон Редена; некогда я возвратил ее брату взятого в плен сына; она радушно примет тебя.

– Неблизок путь до Нарвы, – сказала княгиня, – дорога болотная, леса дремучие.

– Это в противную сторону от пути в Вольмар. Я дам вам отважного проводника. Ливонец фон Тонненберг отправляется в Нарву, ему известны все дороги, он будет охранять, защищать вас, с вами же отправится и Шибанов.

Курбский призвал Тонненберга и с твердостью прямодушия сказал ему:

– Ты знаешь меня, а мне известны твоя смелость и усердие. Причины, которых нет нужды объяснять, отзывают меня из Дерпта. Между тем жена моя и сын должны отправиться в Нарву. Это тайна, которую я тебе доверяю. Будь им проводником. Я заплачу тебе золотом за услугу твою; мне нужна твоя отважность и скромность.

Предложение было неожиданно для Тонненберга, но он с радостью согласился быть проводником княгини.

– Эта тайна умрет со мною! – сказал он. – Клянусь тебе, знаменитый князь...

– Не клянись, я верю слову чести, слову рыцарскому. Ты служил мне и Адашеву, страшись напомнить о сем Иоанну. Прими от меня в залог благодарности мой кубок, – про-

должал князь, подав ему золотой, украшенный дорогими камнями кубок, поднесенный от граждан дерптских.

Тонненберг отказывался. Наконец он взял кубок, но опустил его на стол, при виде вошедшей княгини.

– Вверяю тебе супругу мою, – сказал Курбский, – вверяю тебе моего сына.

Тонненберг, казалось, не слышал слов этих; все внимание его было обращено на княгиню. Она вошла медленно и с потупленным взором. Благородное, открытое лицо ее украшалось выражением кротости; минутный румянец заиграл на щеках ее, но, когда подняла она длинные темные ресницы, когда блеснули светлые глаза ее, выражавшие тайную горечь и добродушие, Тонненберг удивился, что княгиня, быв уже матерью девятилетнего сына, могла сохранить пленительную красоту, какой он не ожидал видеть.

Он приветствовал княгиню; вместо ответа вздох вылетел из груди ее; она поклонилась Тонненбергу и села в кресло; Юрий, вбежавший за нею, примечая грусть матери, ласкался к ней, играя белым покрывалом, упав-

шим на ее бархатную ферязь.

– Помогите найти нам безопасный путь к друзьям нашим, – сказала княгиня.

Тонненберг спешил все приготовить к отъезду княгини по поручению Курбского и перед наступлением ночи обещал ждать с повозкою близ ворот восточной башни. Княгиня должна была выйти с сыном в сопровождении Шибанова за город, а между тем в течение дня двое верных слугителей переносили тайно разные драгоценности в загородную хижину, опустевшую после жившего в ней пастуха; в этой хижине Курбский должен был проститься с семейством.

Уже смеркалось. В одной из тесных улиц Дерпта, в доме гражданина Гольцбурга, мелькали в высоких окнах огни. Если бы Курбский мог быть тайным свидетелем того, что происходило там, он увидел бы несколько человек зверского вида, испытывающих острия сабель и кинжалов, которые выбирал Малюта Скуратов при блеске светильника и раздавал, переходя от одного к другому. Курбский услышал бы, как уговаривались они в следующую ночь напасть внезапно на дом его и умерт-

вить безоружного.

– Чтоб увериться в успехе, – говорил Скуратов, – нужно прежде сменить всех стражей. Нелегко утомонить смуглого эфиопа, он одним ударом руки справлялся с черемисскими великанами. Это мне царь говорил, но и Малюта постоит за себя! Я на медведя хаживал, авось и с Курбским управлюсь.

– А мы поможем, – сказал уродливый татарин.

– Мой ятаган, – продолжал Малюта, – не даст промаха, хоть бы на нем были заговоренные латы; не то задушим его...

– Не хвались прежде времени, – сказал Гроза Одинцов, – осторожно надобно напасть на этого зверя; говорят, многие из юрьевских граждан постоят за него.

Курбский не знал об этой беседе, но не медлил. Каждая минута приближала к опасности. Тонненберг готов был сопровождать княгиню с сыном; Шибанов заботился о сохранении драгоценностей, необходимых для пути; княгиня уже вышла под кровом ночи из дома. Шибанов вел Юрия. Тихо приближались они к городским воротам; не доходя до

них, повернули мимо забора в поле, где в чаще деревьев стояла пастушья хижина.

Курбский спешил к своему семейству; в хижине накрыт был усердным Шибановым вечерний стол. В последний раз Курбский занимал место за столом подле любимой супруги; в последний раз сын его стоял возле него. Чувство неизъяснимой скорби наполняло сердца их. Яства на столе остались почти нетронутыми. Часто встречались взоры супругов, но они не могли долго смотреть друг на друга. Так умирающая мать нередко отдаляет от себя любимых детей, чувствуя приближение вечной разлуки и страшась подумать о них. Время летело быстро. Ненастная ночь темнела над городом. Курбский сидел безмолвно, с поникшей головой; княгиня вздрогнула, услышав бой часов на башне, и уже не сводила глаз с князя; слезы прерывали слова ее; любовь и страх боролись в ее сердце.

– Сын мой, сын мой, насмотришься на отца своего! – сказала она, рыдая.

Встав, Курбский в последний раз прижал к сердцу супругу и благословил сына.

– Прости, Гликерия! Прости, Юрий!.. – ска-

зал он и возложил на сына родительский крест, и, закрыв рукою глаза, вырвался из их объятий.

В это время вошел Шибанов с извещением, что Тонненберг ждет. Курбский, пожав руку Тонненберга, сказал:

– Береги их, и когда будет можно... доставь мне весть о них!..

Была глубокая ночь; граждане дерптские покоились сном... Одни стражи окликались на стене городской, но у западной башни, обращенной к Вольмарской дороге, стражи было немного. Курбский поспешил к стене, у которой уже была привязана приготовленная Шибановым веревочная лестница...

Часть третья

Глава I. Рыцарский замок

Тонненберг и Шибанов ехали на конях возле повозки, закрытой навесом, в которой сидела княгиня с сыном. Дорога пролегла между болотами; с обеих сторон видны были равнины, казалось, покрытые травой, но один шаг на это мнимое поле подвергал опасности неосторожного путешественника.

Серые облака покрывали все небо над местами печальными и пустынными; изредка видны были болотные птицы, перелетающие по кочкам, или вереницы диких гусей, которые, высоко поднявшись, неслись темною нитью к Пейпусу. Скоро показалось это обширное озеро, разливавшееся в необозримую даль; дремлющие воды его почти не колыхались, лениво омывая ровные песчаные берега.

«Не таков путь к белокаменной Москве, – думал Шибанов, – но не туда дорога нам; где вы, светлые дни наши? Было время, да мино-

вало!..»

Печальные мысли его прерваны были топотом скачущих всадников.

– Не погоня ли за нами? – сказал он Тонненбергу.

Повернув коня в ту сторону, откуда доносился конский топот, Тонненберг прислушивался.

– Должно быть, погоня, – сказал он, – нам вместе опасно ехать; лучше повероти вправо по опушке леса, а мы повернем за пригорок; там мы снова съедемся на берегу озера. – Сказав это, Тонненберг закричал эстонцу, правившему повозкою: – Гони влево во весь опор! – И сам поскакал за повозкой.

Шибанов повернул в лес; через несколько минут его настиг отряд всадников. Один из них требовал ответа, кто он и куда едет. Шибанов назвался боярским слугой из Таваста и сказал, что ездил в Юрьев.

– Не видал ли, – спрашивали всадники, – высокого, смуглого человека в латах или в охабне?

– Видел большого человека, – говорил Шибанов, – как богатырь на коне, а волосы как

смоль, развеваются ветром. Он как стрела пронесся мимо меня...

– Куда же? – спрашивал объездный десятник.

– Вот в ту сторону, – сказал Шибанов, махнув рукою на северо-запад, к Колывани.

– К Колывани здесь и дороги нет, – сказал десятник.

– Да разве я сказал твоей милости, что здесь его видел? – возразил Шибанов. – Он встретился мне недалеко от Юрьева.

Всадники поскакали назад.

Шибанов радовался, указав дорогу совершенно противоположную той, которой поехал Курбский. Оставалось настичь княгиню; но далее густота леса препятствовала пути. Наконец Шибанов увидел, что деревья, поверженные силою ветра, сплелись и образовали непроходимую стену. Тогда он, повернув назад, поехал влево, но и тут открылось непроходимое болото. Он увидел, что сбился с пути, и потерял надежду настичь княгиню, однако же через несколько времени выбрался на дорогу, ведущую к селению, и, расспросив о пути к Нарве, или, как называли русские, к Руго-

деву, удивился, узнав, что лес, указанный ему Тонненбергом, вовсе ведет не туда. Шибанов в недоумении решил продолжать путь к Нарве.

Между тем Тонненберг, объехав топь, повернул через лес на обширную равнину; в разных сторонах были видны огромные гранитные камни, казалось, руками исполинов разбросанные на песчаной степи, недалеко один от другого; несколько бедных эстонских хижин, сложенных из булыжника, скрепленного землею и мохом, видно было на высоте отдаленных пригорков; густой черный дым вился над ними, и здесь-то остановился Тонненберг, чтобы дать отдохнуть усталым лошадям. В первый раз еще княгиня Курбская остановилась в селении после двухдневного пути; бедные жители хижин со страхом смотрели на Тонненберга. Княгиня была в чрезвычайном беспокойстве, видя, что Шибанов не возвращается, и спрашивала, может ли он догнать их? Тонненберг ободрял княгиню, но наступила ночь, Шибанов еще не возвращался. «Нарва должна быть близко», – говорила княгиня; Тонненберг подтвердил ее надежду,

но убеждал продолжать путь.

Мало-помалу равнина стала приметно возвышаться, снова показались зеленые холмы; за ними вдали синелась пелена необозримых вод.

– Не море ли это? – спросила княгиня.

– Это Пейпус, – отвечал Тонненберг.

– Пейпус! Нет, мы давно отъехали от берегов его. Куда же мы едем?

– Туда, где княгиня Курбская будет в безопасности.

Такой ответ не успокоил княгиню. Тонненберг, казалось, был в замешательстве и наконец признался, что ночью они сбились с пути, но скоро выедут к Нарве.

Дорога пролегла дикими местами; с одной стороны, вдоль залива, темнели сосновые рощи, с другой – вспыхивали огоньки на болотах: кое-где на горных крутизнах мелькали озаряемые луною развалины рыцарских замков, опустошенных войною и междоусобием. Мрачные деревья, как великаны, стояли на пути, качая черными ветвями. Но уже приближался рассвет: красноватая полоса показалась на востоке, края туч вспыхнули ог-

нистым пурпуром, и скоро весеннее солнце, яркими лучами расторгнув облака, осветило окрестности. Дорога по отлогому скату горы повернула в лес.

– Ах, матушка, опять в лес, – сказал печально Юрий.

Княгиня спросила еще раз, далеко ли они от Нарвы. Тонненберг отвечал ей смехом, в глазах его видно было лукавство. Княгиня не знала, что подумать о своем спутнике, и тревожилась долгим отсутствием Шибанова.

Между деревьями показалось несколько эстонцев в рубищах; они бродили, как тени и, услышав стук повозки, бежали с пути, укрываясь от едущих. Тонненберг кричал на своего задремавшего эстонца, чтоб ехал скорее; повозчик в испуге очнулся и хлестнул малорослых лошадей; они помчались птицею, не отставая от скачущего Тонненберга. Скоро в лесу раздался свист, на который Тонненберг отвечал звуком медного рога, висевшего на цепи под его епанчой. Из-за кустарников чернела в горе пещера; княгиня услышала шум, и четверо сухощавых эстонцев высокого роста и угрюмого вида выбежали вооруженные

топорами и дубинами. Тонненберг, подъехав к ним, что-то сказал; они скрылись в пещеру. Несколько далее открылись из-за деревьев, на возвышении утеса, чернеющие башни старого замка; зубцы их поросли мхом, подъемный мост через ров вел к загражденным решеткой воротам.

– Эрико, въезжай на мост, – закричал Тонненберг эстонцу.

– Куда мы едем? – спросила княгиня.

– Мы здесь остановимся, – сказал Тонненберг.

Лишь только они переехали мост, решетка ворот поднялась по звуку рога. Тонненберг поскакал вперед на темный двор замка, и княгиня услышала стук опустившейся за ними решетки и звон цепей подъемного моста.

Все объяснилось. Тонненберг сбросил с себя маску...

Видя изумление, слезы, слыша упреки княгини, он говорил ей о невозможности супругу ее возвратиться в Россию, говорил об угрожающих ей опасностях и восторгался красотой ее.

– Не одна страсть, – сказал он ей, – но и

желание спасти княгиню Курбскую побудили меня удалиться в этот уединенный замок.

Княгиня с презрением слушала слова предателя, обличившие всю черноту души его.

– Где твои клятвы? – сказала она ему. – Верь, что никакое преступление не укроется от небесного Мстителя; не прибегай к новым хитростям скрыть злой умысел; вспомни, что ты был меченосцем, где твоя честь? Прошу тебя, дай мне проводника до Нарвы.

Тонненберг улыбнулся.

– Успокойтесь, княгиня, – отвечал он, – после трудного пути нужен отдых, но отсюда нет выхода; отвечая любви моей, вы будете повелевать замком и его владельцем. В этих старых стенах можно найти княжеское довольство.

– Злодей, ты забываешь, что говоришь с женой князя Курбского, ты можешь держать меня в неволе, даже лишить жизни, но, кроме презрения, ничего не увидишь в глазах моих.

– Я надеюсь, – сказал он, – что через несколько дней гостя моего замка будет ко мне благосклоннее.

Княгиня бросилась в кресло, ломая руки в отчаянии. Юрий плакал.

– Куда это, матушка, завезли нас? – спросил он. – Эта большая комната с круглыми сводами блестит позолотою, но и образа нет, а на стенах представлены охотники с собаками. Вот, – продолжал он, рассматривая украшения комнаты, – шелковый занавес, как полог, раскинут над кроватью; наверху пучок пушистых перьев в золотом обруче; вот черный шкаф с решетчатыми дверцами; сколько в нем парчи, кружев и бархата! Вот стол с немецким зеркалом и возле него хрустальный ларчик; в нем все жемчуг.

– Не прикасайся, Юрий, к сокровищам злодея! – сказала княгиня. – Лучше молись, чтоб мы их не видали.

Тут вошла красивая, нарядно одетая эстонка с корзиною столового прибора, а за нею два служителя несли несколько оловянных блюд с яствами; княгиня не хотела касаться до них, но Юрий упрашивал ее. Чтоб успокоить его, она согласилась подкрепить свои силы.

Молодая эстонка смотрела на нее с участи-

ем, и княгиня задала ей несколько вопросов, на которые Маргарита, однако же, не могла отвечать. Мало понимая русский язык, она краснела и перебирала разноцветные ленты, спускавшиеся с ее пестрой шапочки, обложенной серебряною сеткою, то оправляла свой передник с цветною накладкою, то сбортые рукава, белевшие около полных рук, из-под красивого нагрудника; бисерное ожерелье с корольковыми пронизьями дополняло ее наряд. Маргарита налила в кубок вина и знаками упрашивала княгиню выпить, но Гликерия отклонила кубок и была рада, когда эстонка ушла.

Ничего утешительного не представлялось в ее мыслях; вопросы Юрия, расспрашивавшего об отъезде отца, его страх при малейшем шуме разрывали сердце Гликерии. Ночь привела с собою новые опасения, но сон, овладев изнуренными силами, на несколько минут возвратил княгине спокойствие.

Шум и крики пробудили ее. Они раздавались за стеною, отделявшею этот покой от столовой залы в башне замка, где Тонненберг пировал с приехавшими гостями. Еще вече-

ром княгиня слышала топот коней и замечала свет на дворе замка, она догадалась о прибытии гостей к Тонненбергу. Буйные крики привели ее в ужас; она не могла объяснить себе этого ночного явления, и, приблизившись к стене, слышала песни и хохот. Вдруг раздался страшный стук, зазвенели сосуды и оружие; ей нельзя было ни понять, ни расслышать слов, но она нечаянно заметила в досчатой стене круглую скважину – давний след ружейного выстрела. Наклонясь к ней, она увидела в освещенной зале, за длинным столом, около расставленных чаш и кубков несколько человек в замшевых одеждах, подпоясанных разноцветными шелковыми шарфами, за которыми сверкали охотничьи ножи и стволы пистолетов; некоторые сидели, другие уже лежали на лавках, постукивая огромными кубками. Брань мешалась с дружескими приветствиями и проклятия с радостными восклицаниями. В багровых лицах разгульных гостей глубоко врезались следы пороков, во взглядах их выражались или дерзость, или жестокость. Многие из них прежде принадлежали к обществу рыцарей, но это

собрание более казалось шайкой разбойников.

Имя Курбского нередко слышалось в речах их.

– Мы не думали, – говорил рыжий Юннинген Тонненбергу, – чтоб ты, удалец, так скоро возвратился в свой замок, а нагрянули к тебе для ночлега. Как видишь, приятель, мы не с турнира, а с охоты, и собрались потешиться в лесах за волками и зайцами.

– Не привез ли какой добычи? – спрашивал Зеттенрейд.

– У него не добыча на уме, – сказал Юннинген. – Он гоняется за красавицами, как собака за зайцами; жаль только, что орден меченосцев распался, а то он все щеголял бы в рыцарской мантии.

– Рыцарская мантия, – сказал Тонненберг, – у меня была только для наряда; впрочем, я ничего не теряю. Не для чего носить орденского креста, так велю вышить на епанче золотой кубок, который выбираю себе гербом.

– Вот это славно, – сказал Брумгорст, – посвяти и нас в рыцари золотого кубка!

– За чем дело стало? – спросил Юннинген.

– Эй, Шенкенберг, сорвиголова, наливай большие кубки для нового посвящения в рыцари.

– Наливай через край, – закричал Тонненберг, – да и сам выпей кубок одним духом; я недаром прозвал тебя Аннибалом.

Слова эти относились к высокому, быстроглазому мальчику с приплюснутым носом и черными курчавыми волосами. С необыкновенною силою приподнял он большой кувшин вина, с необыкновенным проворством обежал вокруг стола, и в одну минуту все кубки были налиты; в доказательство своей ловкости он с усмешкой опрокинул кувшин и выпил одним глотком остатки; глаза его запрыгали от радости.

– Молодец! – сказал Юннинген. – Славно пьет.

– И промаха в стычке не даст, – сказал Тонненберг. – Это не мальчишка, а чертенок; пуля его всегда сыщет место; ему все равно, стрелять ли в зайца или в охотника.

– Я не знаю, чего в нем больше, – сказал Юннинген, – силы или лукавства. Скажи, сорвиголова, чем ты берешь?

– Чем? – пробормотал Шенкенберг, оскалывая зубы. – Все, что силой возьмешь, – твое; где не станет силы, там возьмешь хитростью.

– А не боишься петли? – спросил Ландфорс.

– Без череды и в петлю не попадешь; маленький плут, как муха в паутине, завязнет, большой – проскользнет.

– Разбойник! – сказал Юннинген. – А на вид пигалица.

– Что за пигалица? Не шути с ним. Он Шенкенберг, даровая гора, – сказал Зигтфрид.

– Что за прозвище? Скажи, сорванец, кто тебе дал его? – спросил Юннинген.

– Так прозвали меня после дяди Плумфа, – забормотал Шенкенберг скороговоркой. – Он был проволочник и тянул вино, как проволоку. Жили мы в трех милях от чертовой пасти, одной пещеры; все обегали этой воронки; а смельчак дядя побился об заклад, что перед закатом солнца пойдет со мною ночевать к пещере; мне тогда было десять лет. Сказал и пошел. Уж то-то была дорожка! Мы вязли в песке, а вдоль пути чернела река в глубине песчаного желоба. Дядя шептался с флягою, а я похлестывал галок. Луна торчала фонарем

на небе, но скоро ветер взбесился и погнал облака, как зайцев; дяде казалось, что луна качалась от ветра, а сам он качался от вина; около леса мы повернули к горе, тут камни и сосны перетолкались, как гости после пира. Воздушные трубы ревели в утесах горы, и скоро мы очутились перед чертовой пастью. Из глубокой впадины слышались свист, вой и грохот, а сосны перед пещерой светились искрами. Мы отыскали ощупью мшистый камень и присели на нем. «Спи себе, – сказал дядя, – бояться нечего, черт мне кум!» Правду сказать, после таких слов немного страшно было, однако я прилег возле дяди. Вдруг мерещится мне страшилище, черное, косматое, вышиною с добрую сосну; оно смотрело на меня, похлопывая огненными глазами, и показало мне гору серебряную. – «Здравствуй, кумов племянник! – зарычало оно. – Я подарю тебе эту гору, но прежде добудь сто котомок ста пулями». Тут скала грохнула, камни полетели на камни, я вскочил, хотел будить дядю, но дядя пропал!.. На другой день я нашел его; он лежал на песке, опрокинувшись головою в реку, возле него валялись пестрая

фляга и рогатина, с которой он ходил на волков. Загулял он у кума! Видя это, пошел я бродить по свету, добывать котомки, и забрел в Верьель. С тех пор меня прозвали даровою горою.

– Ну, Тонненберг, – сказал Юннинген, – нашел ты по себе молодца; только ему еще долго у тебя учиться, сам черт не узнает, как ты осетишь праведника.

– Да! Могу похвалиться, – сказал Тонненберг, – мне верил Адашев, и сам Курбский поверил мне ненаглядную жену свою.

– Да как же сумел ты вползти к ним в душу? – спросил Ландфорс.

– Эх, простаки! – отвечал Тонненберг. – Умейте скрывать себя и угождать людям и будете повелевать ими.

– Так ты не все брал силою, а подчас и хитростью! – воскликнул краснолицый, широкоплечий Брумгорст.

– Что твоя сила! – сказал Тонненберг. – Хитрость – вот та золотая цепь, которою легко притянуть все сокровища Ливонии.

– Не говори о Ливонии, – сказал, покачиваясь, Ландфорс, – ты ее продавал московским

воеводам; у тебя нет ни совести, ни отечества.

Тонненберг захохотал.

– Молчи, седой медведь! – сказал он. – Там и отечество, где весело жить, а совесть – хорошее словцо для проповеди.

– Так для тебя все равно, что новгородцы, что мы? – сказал Ландфорс, встав со скамьи, и пошатнулся на Юннингена.

– Вот о чем спрашивает! – возразил Тонненберг. – С новгородцами я жил с детства, а с вами я грабил новгородских купцов. Отец мой повешен в Новгороде на вечевой площади, а я с удалыми новгородцами разгуливал по Волхову, по Мсте, дрался на кулачных боях, потом захотелось мне пожить с рыцарями; я попал в милость к его светлости, епископу Дерптскому, служил у него на посылках. У меня был еще старый дядя, которому удалось сделать очень умное дело: умереть и оставить мне замок; тут-то я закировал.

– Особенно когда подманивал с товарами богатых новгородских купцов...

– Я угощал их, – сказал Тонненберг с ужасным смехом. – Разумеется, что они уже не возвращались...

– Вот это по-рыцарски! – сказал Ландфорс.

– Уф, мне страшно с тобою, вокруг тебя все мне чужды сатанинские головы.

– Немудрено, – сказал, захохотав, Юннинген. – Это наш Аннибал из-за твоего плеча его дразнит.

– Да ты и в кирку входил с собаками, – продолжал Ландфорс.

– Молчи, проповедник, – закричал Тонненберг, вспыхнув от досады, – вот тебе подарок от Сатаны. – И бросил в Ландфорса оловянное блюдо, которое, ударив старика в плечо, погнулось и покатилося на пол.

Эхо разносило по замку дикие крики буйных товарищей Тонненберга. Когда ссора утихла, звук кубков смешивался с нестройными песнями; долго еще говорили о грабежах и убийствах, стуча по столу мечами и бросая на пол опорожненные кубки.

Все это слышала несчастная княгиня Курбская, и ужас ее еще увеличился от пробуждения Юрия, который прижимался к ней в испуге. Ему чудились страшные лица, и он боялся открыть глаза, думая, что уже злые люди ворвались в комнату.

Наконец все затихло в замке... Наставшее утро прошло спокойно, но в полдень появился Тонненберг. Красивое лицо его обезобразивалось следами безумного разгула; забыв всякое приличие, он схватил княгиню за руку и сказал:

– Одумалась ли ты, моя прекрасная Гликерия? Ты смиренна и робка, но здесь, в замке, нет принуждения; предайся веселости, забудь твоего беглеца, корми сладостями маленького сына и будь благосклоннее к твоему обожателю; в моем замке есть пастор, который нас обвенчает.

– Чудовище! – сказала княгиня, отдернув с негодованием руку, прижав к себе Юрия.

– Ого! – сказал Тонненберг. – Ты любишь гневаться, но должна уступить судьбе; здесь затворы крепкие, леса дремучие.

– Вижу твой умысел, – сказала княгиня, – но пока дышу, до тех пор буду гнущаться тобою, презренный злодей.

– Посмотрим, гордая княгиня, – сказал Тонненберг, – не будешь ли ты благосклоннее? – Он схватил Юрия и потащил его на террасу.

– Смотри, – сказал он, – если ты еще будешь противоречить мне, то я сброшу твоего сына с башни.

Слова эти были для нее громовым ударом; едва не упала она без чувств, но отчаяние возвратило ей силы; она бросилась к Тонненбергу и, силясь вырвать Юрия из рук его, схватилась за железную решетку террасы; волосы ее рассыпались по плечам. Тонненберг смотрел на нее с нерешимостью, наконец сказал ей:

– Я беру твоего сына с собою; жизнь его будет залогом за твое повиновение. Два дня даю тебе на размышление; на третий он будет сброшен с башни или ты будешь моею.

Прошло два дня слез и ужаса; рассвет третьего дня Гликерия встретила молитвою; тяжкие вздохи вырывались из груди ее. Когда Тонненберг вошел к ней, она сидела неподвижно.

– Отдай, отдай мне моего сына! – сказала она изменнику.

– Он возвратится к тебе, верь моему слову.

– Возврати и ты не услышишь моего ропота, – сказала княгиня.

– Могу ли я надеяться на любовь твою?

– Не требуй любви кинжалом... Дай мне забыть мою беду.

– Княгиня, я возвращу Юрия, но клянусь, если через два дня ты не согласишься носить имя супруги моей, он погибнет.

Тонненберг удалился. Скоро незнакомый человек привел маленького Юрия, который со слезами и радостью бросился к матери. Незнакомец, который, по-видимому, был один из слугителей замка, при грубой наружности своей не мог скрыть сострадания.

– Несчастливая боярыня! – сказал он. – Куда это привела тебя злая судьба.

Княгиня удивилась, услышав человека, говорящего по-русски, в эстонской одежде.

– Кто ты, мой друг? – спросила она его. – Неужели ты из эстонцев, слуга этого злодея?

– Нет, – сказал печально слугитель, – я прежде был в кабале у русского боярина, но жестокость его заставила меня бродить по Ливонии, и я нашел здесь пристанище, у рыцаря или у разбойника, не знаю, как сказать. Ему нужен был русский слуга, и новый мой господин, поручив мне надзор над замком, женил меня на эстонке. Маргарита тобой не

нахвалятся. Жаль тебя, добрая боярыня, а нельзя спасти! За мной сотни глаз примечают, а больше всех этот постреленок, сорвиголова. Не знаю, когда вынесет Бог из этого адского гнезда, а уж жизнь надоела мне. Попал я из огня в полымя.

– Спаси меня, – сказала княгиня, – я тебе отдам дорогие камни мои; возьми мое ожерелье; найди только средство вывести нас отсюда.

– Нет, боярыня, не вижу никакой надежды; мой господин и без вины рад кожу снять, а за вину и подавно; не одна ты попала сюда в западню; здесь есть еще прекрасная девушка, дочь богатого человека, ее зовут Минна... Тоже как птичка в клетке!.. Заговорился я, княгиня; без памяти рад, что есть с кем русское слово промолвить!

– Зачем же Тонненберг держит в заключении эту несчастную? – спросила княгиня.

– Вот видишь ли, боярыня, он увез ее от отца, кажется, из Юрьева, а у ней был жених, немец, которого она не любила; вот этого-то немца наш ястреб тоже захватил и держит здесь в подземелье; иссушил бедняка, в чем

душа в теле! А и немочка-то с ума сходит, как узнала, на кого променяла отца; хотела не раз броситься из окна, но к окну приделана железная решетка. Бедняжка обманулась, увидев, что худо, но было поздно; теперь плачься Богу, а слезы – вода.

Все это говорил он вполголоса, и слова его еще более увеличили в душе княгини омерзение к Тонненбергу.

– Боже! – воскликнула она, упав на колени. – Ты один можешь спасти нас. Не дай совершиться злодейству или прекрати нашу жизнь. Ах, что говорю я, прости мне Милосердный! Жизнь – Твой дар и воля Твоя во благо; я верю, что Ты спасешь нас!

Она отирала слезы, катящиеся по щекам ее; молитва укротила волнение души ее.

Пир продолжался в замке. Тонненберг и друзья его собрались на охоту, вывели со двора коней, покрытых богатыми чепраками, выгнали свору борзых и гончих собак, вооружились копьями и алебардами, затрубили в рога и понеслись толпой на равнину.

Княгиня видела шумный отъезд их и узнала от Юрия, что они возвратятся через два

дня, как говорил ему русский слуга. Гликерия с содроганием подумала о возвращении Тонненберга.

– Князь Андрей Михайлович, супруг мой, не придешь ты избавить меня! – восклицала она. – Знаешь ли ты, что жена и сын твой в вертепе разбойников?

Всю ночь шумел порывистый ветер и к утру усилился. Крики птиц предвещали бурю. Разорванные тучи быстро неслись от моря над замком, усиливая стремление ветра, воющего в лесу. Волны страшно воздымались, стремясь с яростным ревом к отлогому берегу; наконец вихрь закрутился столбом и, сшибаясь с морем, погнал валы пенными горами; все предвещало наводнение.

Волны быстро устремились на равнину и, возрастая, поглощали поля и кустарники. Буря, свирепствуя, ломала верхи деревьев, стволы которых были уже залиты водою. Обломки сосен и берез неслись по волнам, хлещущим с яростью на всем пространстве долины пред замком; казалось, море, разорвав берега, стремилось потопить землю. Из леса быстро неслись всадники к замку, погоняя своих ко-

ней и стараясь спастись от грозящей опасности; впереди них можно было узнать Тонненберга. Между тем море настигло их; кони разбивали копытами волны, но, выбившись из сил под тяжестью всадников, не могли выдержать усилия вихря; напрасно Тонненберг понуждал шпорами коня своего; конь сбросил его с себя; страшно кричал он, прося помощи, но холодные волны заглушают его крик, и злодей, отягощенный железным доспехом, тонет пред глазами княгини Курбской и выбежавших на башню служителей замка.

Глава II. Освобождение

Наводнение было непродолжительно; море скоро возвратилось в берега свои, но следы бедствия были ужасны; на возвышении около замка разбросаны были прибитые волнами трупы и груды деревьев, вырванных силою ветра; равнина была изрыта потоками, рвы около замка завалены камнями и песком. В замке происходило страшное смятение; никто из слуг Тонненберга не жалел о нем; но каждый спешил воспользоваться случаем; ломали двери, разбивали погреба, сун-

дуки; челядь бегала по всему замку с Шенкенбергом, который показывал тут свое удалство; расхитили все, что могли; достояние злодея пошло прахом, между тем как черные вороны клевали его труп, и коршуны, кружась в воздухе, оспаривали у них добычу.

Княгиня Курбская благословляла Промысл небесный; но посреди своевольств и грабежа ей угрожала новая опасность.

Несколько эстонцев ворвались в ее покой и с жадностью бросились искать драгоценностей. Княгиня в испуге отбежала в угол покоя, заслонив собою Юрия, и уже думала, что грабители не пощадят ее жизни, но в эту минуту появился незнакомец, более похожий на привидение, нежели на человека. Волосы его были всклокочены; на руке висел обрывок тяжелой цепи; бледное, рябое лицо его, сверкающие косые глаза выражали ожесточение; он с быстротою бросился на грабителей, остолбеневших при его виде и, выстрелив в одного из них, поверг его мертвым; другие разбежались в ужасе.

Появление незнакомца изумило княгиню; за ним вбежал Пармен, русский слуга Тоннен-

берга.

– Где же она? – спрашивал незнакомец по-немецки. – Веди, веди меня к ней!

– Испуг лишил ее чувств, – сказал Пармен, – жена моя заботится о ней...

– Минна, несчастная Минна! – восклицал незнакомец, а это был Вирланд. – Благодарю тебя, избавитель мой, желал бы я сжечь этот проклятый замок, этот вертеп злодейства, не оставить камня на камне в жилище изверга!

– Зачем жечь? – сказал Пармен. – Ему коршуны выклевали глаза, а бедная Минна свободна, возьми ее и поезжай куда хочешь, два коня к услугам твоим, а меня помяни добрым словом.

– Добрый русский человек, без тебя Вирланд умер бы с голоду и стужи в подземелье.

– Я того и ждал, – сказал Пармен, – что Тонненберг за эту заботу сорвет с меня голову, но, к счастью, он не проведал; и то, может быть, что имел во мне нужду по делам его с русскими.

Скоро отворилась дверь, и вошла жена Пармена, поддерживая молодую девушку; приятные черты лица ее, некогда одушевлен-

ные миловую веселостью, представляли томность и задумчивость; глаза потускли от слез, и румянец не играл на щеках ее. Это была Минна, не резвая и беспечная Минна, а невольница Тонненбергова замка. При взгляде на Вирланда щеки ее вспыхнули, голова закружилась... Минна опустилась в кресло. Вирланд стоял в смущении... Этот человек, за несколько минут ожесточенный и пылкий, вдруг затих; горесть любви его, некогда отвергнутой Минною, была сильнее ненависти к Тонненбергу; он желал облегчить жребий Минны, еще надеялся заслужить ее благодарности; надежда ободряла любовь, не угасшую в сердце его; но в то же время Вирланд понимал, что наружность его могла еще более возбуждать отвращение в Минне; во всех движениях его видны были замешательство и печаль.

Наконец он подошел к Минне и сказал:

— Злодей погиб, вы свободны, бедствие сблизило нас.

Минна не отвечала, но посмотрела на него с участием; она уже не презирала человека, который подвергся за нее бедствию, самая на-

ружность его возбуждала в ней сострадание. Обманутая Тонненбергом, она тем более могла ценить постоянство Вирланда, чувствуя необходимость в его помощи.

– Мог ли думать я встретить здесь Минну? – сказал Вирланд.

– Коварство обмануло меня, легковерную, – тихо отвечала Минна, – я убегала от Вирланда, а Тонненберг увлек меня в бездну.

– Несчастливая, и вы последовали за ним добровольно?

– Ах, я достойна презрения, во всю жизнь буду оплакивать день, когда Бригитта помогла моему побегу.

– А меня захватили ночью безоружного, оковали цепями и повергли сюда в подземелье; конюший Тонненберга, притворившийся простаком, подкупил моего Дитриха подлить мне в вино усыпительных капель.

– Тонненберг довершил злодейство, – сказала Минна. – Он сумел отвести от себя все подозрения и вину свою обратить на вас.

Заливаясь слезами, Минна открылась Вирланду, что была отвезена к мнимой родственнице Тонненберга, Фальстаф, у которой про-

была несколько дней; забор был нарочно подпилен ночью Дитрихом и Конрадом со стороны Вирландова дома; из повозки, проехавшей с Вирландом за городские ворота, хотел выскочить переодетый в женское платье Шенкенберг. Через несколько дней после того Минна отправилась с Бригиттою из дому мнимой тетки в Тонненбергов замок. Там она стала подозревать страшную тайну; недоумение и боязнь ее день со дня возрастали; замечая свет в отдаленной башне, она узнала от Бригитты, что и Вирланд захвачен Тонненбергом. Скоро сам Тонненберг сказал о том Минне и в то же время убеждал ее уведомить отца, что избавил ее из рук похитителя. Такое коварство ужаснуло Минну; она отказалась от гнусного обмана и почувствовала отвращение к Тонненбергу. Но через несколько месяцев, когда она решилась показаться согласной, с тайным намерением открыть все отцу своему по возвращении в Дерпт, недоверчивый Тонненберг переменял сам свои мысли, опасаясь выпустить ее из замка, где она уже могла заметить, кто был рыцарь ее. Скоро Минна узнала, что не одна она была жертвою

обмана в замке Тонненберга, и любовь уступила место ненависти. Тонненберг слышал одни укоры, видел одни слезы, Минна тосковала и гнушалась злодеем; он держал ее, как заключенную, в башне.

– Тогда отчаяние едва не погубило меня, – продолжала Минна. – Не знаю, что было бы со мною, если бы небо не покарало злодея. Что бы ни ждало меня, желаю возвратиться к отцу моему, упасть к ногам его; он увидит мое раскаяние и, может быть, не отвергнет несчастной Минны.

– Дозволь мне сопровождать тебя в Дерпт, – сказал Вирланд, – я буду твоим охранителем и оправдаю тебя перед добрым отцом твоим!

Минна не без смущения благодарила его. Вирланд, вооружась, спешил отправиться из замка, а княгиня Курбская просила его принять от нее пособие, необходимое ему для скорейшего прибытия в Дерпт. Несколько эстонцев, которых Вирланд обещал щедро награждать, вызвались оберегать Минну в пути. Сама княгиня заботилась скорее оставить замок и вскоре отправилась с сыном в той же

самой повозке, в которой прибыла туда. Пармен согласился проводить ее до Нарвы.

Небезопасен был путь, но, вверяясь промыслу Божию, княгиня с радостью услышала стук растворившихся ворот замка; с удовольствием смотрела она на подъемный мост, ужасавший ее при въезде в мрачное жилище, а теперь открывающий ей свободный путь... Так различны бывают впечатления от одних и тех же предметов, нас окружающих.

Трудно было пробираться дикими местами после ужасов наводнения; дороги забросаны были деревьями или, превратясь в болота, сделались непроходимыми; к счастью, Пармен, которому все окрестности были известны, нашел возможность пробраться мимо болот, но путники были еще далеко от большой дороги; нападение бродяг, скитающихся по лесам, не устрашало Пармена, запасшегося оружием; он знал, что при первом выстреле эстонцы остановятся, при втором – обратятся в бегство.

Скоро весеннее солнце теплотою лучей осушило землю, дорога становилась удобнее, и путники остановились подкрепить свои си-

лы в роще, окружавшей небольшой холмик. Пармен повел усталых лошадей к источнику; княгиня с Юрием села на траве, положив подле себя узелок со своими вещами и часть дорожного запаса. Густота деревьев закрывала их от ярких лучей солнца, прохладный ветерок, вея в роще, колыхал полевые цветы, и птицы весело пели, высоко кружась в воздухе. Вдруг княгиня услышала вдалеке выстрел и крик. Схватив Юрия и подняв с земли узел, она сбежала с холмика в глубокую лощину, поросшую кустарником; тут она увидела два огромных гранитных камня, покрытых густым мхом и цветущими растениями. Между камнями княгиня заметила щель, в которую скрылась с Юрием. Еще слышались крики с разных сторон, хлопанье бича, стук колес, стоны; наконец все затихло.

Тщетно ожидая возвращения Пармена, она решила выйти с Юрием, поворотила на холм и спустилась в равнину к источнику, куда пошел Пармен; там видны были следы проехавшей повозки; Пармена не было. Княгиня была в ужасном беспокойстве – опасения ее оправдались; пройдя далее, она увиде-

ла под наклоном деревьев, возле источника, человека, сброшенного с берега в воду, и с ужасом узнала несчастного Пармена.

Не скоро она могла успокоиться, не знала, какую избрать дорогу, откуда взять проводника, оплакивала жребий Пармена и собственную участь. Пройдя рощей, она скоро пришла к небольшому озерку, от которого по широкому полю пролегало несколько тропинок в разные стороны. Она перекрестилась и пошла вправо, не зная, куда приведет этот путь, но, примечая вдалеке чернеющий лес, полагала, что идти лесом ей безопаснее; на месте более открытом труднее было уйти от преследователей.

Северный ветер охладил воздух; ясный день быстро изменился в ненастье; к вечеру стужа сделалась чувствительнее, весенний дождь превратился в метель. Княгиня прошла несколько верст лесом. Страшно бушевал ветер, и чем далее она шла, тем лес становился все гуще.

Глава III. Эстонская хижина

Княгиня Курбская шла, ведя за руку сына. Юрий дрожал от стужи. Остановившись, она согревала своим дыханием его окоченевшие руки. Она села на старый пенек и развязала узел, в котором находился остаток хлеба, взятого в дорогу.

Она видела себя окруженною лесом. Ночь застигла ее, а дорога была ей неизвестна. Она слышала еще в Дерпте, что эстонцы, бежавшие от жестокости своих господ, скитаясь в лесах, жили ловлею диких зверей и грабительством.

Княгиня боялась выйти на большую дорогу, боясь попасть в руки сторожевого отряда; она желала и страшилась приближения дня; наконец изнурение победило страх, она решилась провести ночь под тенистыми кустарниками, на пне срубленной сосны, и склонилась головою на ветви. Утомленный Юрий уснул на коленях матери. Небо закрыто было тучами; крупный дождь шумел, прорываясь с ветром сквозь листья.

Княгиня проснулась, когда ранние лучи

солнца проникли сквозь ветви частого леса. Она тяжело вздохнула, перекрестилась, разбудила Юрия и продолжала путь.

Несколько часов шла она, никто не встречался ей, только дикие птицы с шумом пролетали по лесу и робкий заяц перебегал дорогу. «Здесь не видно и следа людей», – подумала она; но в это самое время заметила невдалеке идущего эстонца. Длинные желтоватые волосы его были накрыты треушником; на коротком кафтане, опоясанном кушаком, висели нож и топор; серые глаза его сверкали из-под нахмуренных рыжих бровей.

Эстонец, казалось, был удивлен этой встречей; поглядывая искоса на княгиню, он прошел мимо, но вдруг остановился, озираясь вокруг. В это время в стороне послышался шум проезжающих всадников.

Между тем княгиня, чувствуя голод, который начинал уже изнурять их, и боясь снова быть застигнутой ночью в этом диком месте, решила подойти к эстонцу и с умоляющим взглядом сказала ему:

– Добрый человек, прошу тебя, выведи меня из леса!

Эстонец, не понимая слов ее, смотрел на нее. Она снова повторила просьбу и, дав ему серебряную монету, показывала на лес и на дорогу; также старалась дать понять ему, что ей нужен хлеб.

Тогда он махнул рукой и подал ей знак следовать за ним.

Не без трепета смотрела княгиня Курбская на своего спутника.

– Матушка! – говорил Юрий, прижимаясь к ней. – Я боюсь этого человека.

– Бог хранит нас, – сказала княгиня, пожимая ему руку.

Долго шли они по едва заметной тропинке, наконец, показалась из-за кустарников черная, низенькая, полуразвалившаяся хижина, сложенная из камней.

Заскрипела дверь, и княгиня вошла в жилище. Печь, почерневшая от дыма, несколько грязных досок на земляном полу, несколько полок над широкой лавкой, кучи соломы в углах – вот что предстало ей при первом взгляде. Двое детей играли на земле глиняными черепками.

Эстонец, бросив нож на окно, сказал жене,

что он встретил русскую женщину с сыном и что они голодны.

Толстая малорослая эстонка что-то проворчала сквозь зубы и принесла кусок хлеба и кувшин с отбитыми краями, налитый молоком.

Таков был ужин княгини Курбской. Она встала и сказала Юрию:

– Сын мой, мы должны благодарить Бога за пристанище, которое он дал нам.

Сын молился возле матери. Эстонец и жена его смотрели на них с удивлением.

Гликерия, взяв за руку эстонку, благодарила ее ласковой улыбкой и поклоном. Скорбь сердца, которая обнаруживалась в ее лице, возбудила жалость в эстонке.

Утомленная усталостью, княгиня села, вздохнув, на соломе, набросанной в углу хижины, и, сняв с себя шубу, покрыла дрожащего Юрия. В это время, при свете горящей лучины, блеснуло драгоценное ожерелье княгини.

– Ах, ах, светлые камешки! – закричали дети, и эстонец с жадностью уставился на ожерелье. Между тем княгиня закрыла ожерелье фатою и, перекрестясь, легла на соломе.

Эстонец, разостлав шкуру на полу, лег возле лавки, на которой заснули жена и дети.

Лучина погасла; при глубоком мраке ночи нельзя было ничего видеть в хижине.

Княгиня Курбская, думая о супруге и сыне своем, не могла сомкнуть глаз: прошедшее было бедственным, будущее казалось ужасным и мрачным, как тьма ночи, ее окружавшая.

Скоро показалась луна, и свет ее сквозь пробитое отверстие, служившее окном хижине, озарял княгине мрачное ее пристанище.

Вдруг послышался шорох; она взглянула и увидела, что эстонец встает и тянется через лавку к окну. О боже, он смотрит на княгиню и сына ее, спящего кротким сном невинности. Гликерия, закрыв рукой глаза, тихо молилась: «Пресвятая Владычица! помилуй меня!»

Схватив нож, эстонец задел за веретено, лежавшее на окне; веретено, застучав, покачилось на лавку; стук его разбудил жену эстонца. Открыв глаза, она испугалась: нож блестел в руке ее мужа.

– Молчи, молчи! – сказал эстонец. – Я

знаю, что делаю.

– Ах, ты хочешь убить русскую и ее сына?

– Заколоть и бросить в яму, а шубу ее, серебряные деньги и светлые камни возьмем себе.

– Побойся! Это злое дело. Юмалла все видит и накажет тебя.

– Бес с тобой, молчи...

– Муженек мой, жаль мне этой женщины. Помилуй ее для меня! Пожалей мать, сжался над ребенком, не трогай их! – говорила жена, останавливая его.

– Пергала! Что тебе в них?

– Помилуй, хоть для малых детей твоих! Не заливай нашей хижины кровью!

И жена выхватила нож из руки его и бросила на окно.

Они еще шептались, споря между собою; княгиня во все это время едва смела дышать. Вскоре все затихло.

Луна скрылась за тучами. Гликерия не могла ничего видеть, но прислушивалась. Эсто-нец ворочался, кашлял, наконец, захрапел, и княгиня Курбская во мраке ночи, встав на колени возле спящего сына благодарила слеза-

ми небо за спасение жизни их.

На другой день княгиня встала с зарею, но не знала, на что решиться. Если бы она вышла с сыном из хижины, эстонец мог бы догнать их в лесу и погубить, притом же, потеряв путь, она могла встретить новые опасности. Но сам эстонец вывел ее из недоумения; он дал ей знак, чтоб она сняла свое ожерелье и шубу, и бросил их на лавку своей жене; после этого эстонка подала ей прялку.

Княгиня поняла, что хотят ее удержать. Эстонец указывал Юрию, чтобы он подложил дров к разведенному огню. Молодой князь смотрел в глаза эстонцу с боязнью и удивлением, но тот махнул пред ним ножом с угрожающим видом, и Юрий повиновался; дрожащими руками, не привыкшими к тяжелой работе, он подложил дров, между тем эстонец раздувал тлеющий огонь. Скоро княгине Курбской показали дорогу к роднику, который был недалеко от хижины. Гликерия должна была прясть на семейство эстонца и носить в хижину воду.

Она покорилась своей судьбе, плакала, но не роптала на небо, как ни ужасна была пере-

мена ее состояния; терпение и кротость ее даже переменяли грубость эстонки в ласковость. В самых унижительных работах Гликерия не видела унижения; хижина стала опрятнее, даже дети эстонца стали смиреннее.

Часто сидела она с Юрием пред входом в хижину, здесь, говоря с сыном своим, она внушала ему покорность к Богу и любовь к добру.

Иногда как бы сквозь сон вспоминая прежнее, Юрий спрашивал ее: увидит ли он отца, и зачем родитель покинул его.

– Люди разлучили нас, – отвечала княгиня со слезами, – но Бог соединит если не в этой, то в другой, лучшей жизни. Если Бог освободит нас из неволи, – говорила она Юрию, – не открывай никому своего имени; это подвергнет нас величайшей опасности. Мы не должны терять надежды на освобождение, сын мой! Бог знает, к чему ведет. Освободив нас от злодея, Он здесь спасет нас от неволи, если это во благо нам, а терпение наше будет нам в заслугу пред Его милосердием. После разлуки с отцом твоим мне тяжелее было бы в нашем боярском доме, нежели в этой хижине, где мы отдалены от врагов отца твоего;

здесь никто не смеется нашему бедствию, мы окружены бедностью, что сроднее с горестью нашего сердца, нежели светлые княжеские палаты. Жизнь мрачна и во дворце для души, темной грехами, а с чистым сердцем, сын мой, можно найти спокойствие и в мраке пустыни! Юрий, если Бог и мне велит с тобою расстаться, не забудь слов моих и помни о матери!..

Летом княгиня ходила с эстонкой собирать землянику, растущую обильно на покатости широкого рва, в который эстонка кидала иногда зерна стекляруса, куски лент, ломти хлеба с суеверными приговорками; тут рос старый клен; эстонка кланялась пред ним и с суеверным страхом целовала камень, возле него лежащий. Она говорила княгине, что сюда приходят не за одними ягодами, но и для молитвы лесным духам, покровителям хижин и оберегателям домашних животных.

Прошло лето, миновала и осень; зима убежала дорогу, и ветви сосен ломались, отягощенные снегом. Скоро настал жестокий холод.

Княгиня сидела весь день за пряжею льна

до позднего вечера при свете зажженной лучины; тогда плотно заколачивали отверстие и запирали двери; волки, бродившие по лесу, часто по ночам выли пред хижиной.

Глава IV. Страница

В морозное утро, когда лес побелел от инея, а тропинки и деревья сверкали яркими звездочками при сиянии солнца и дым исчезал в воздухе розовым паром, эстонец запряг тощую лошадь в дровни и поехал с Юрием в лес нарубить сучьев, но недалеко от хижины лошадь чего-то испугалась и понесла. Эстонец оглянулся и увидел двух волков, которые бежали за ними по снегу. Голодные волки уже догоняли лошадь. Эстонец замахнулся на них топором, но обледеневший топор выскользнул из рук его и упал в снег; хищные звери готовы были броситься на путников; мальчик с воплем прижался к эстонцу, тогда злодей, желая спасти себя, схватил Юрия и бросил его на дорогу.

В этом месте был глубокий овраг, занесенный метелью; Юрий провалился под сугроб. Яростные звери нагнали эстонца и кинулись

на него. Испуганная лошадь умчалась в глубину леса.

Юрий, оцепенев от стужи, уже замерзал, но Провидение послало ему избавителя. Несколько возов, нагруженных товарами, проезжали мимо, и позади них в широких санях новгородский купец. Он заметил волчьи следы, кровь на снегу и руку Юрия, которая торчала из-под снега. Новгородец велел отрыть снег; наконец Юрия вытащили.

Красота мальчика возбудила жалость в сердце новгородца, но напрасно старался он привести несчастного в чувство. Новгородец спешил в Великие Луки и не мог долее медлить в диком и опасном месте. Он думал, что мальчик заблудился в лесу. Не видя хижины, находившейся далеко в стороне за деревьями, и не примечая никакого пристанища, он решил взять с собой Юрия, опасаясь, чтоб он не стал жертвой диких зверей; посадил его в свои сани.

Лошадь примчалась из лесу с пустыми дровнями; это привело в ужас жителей хижины. Эстонка обегала все тропинки и возвратилась с воплем: она нашла обогранные кровью

лоскутья одежды и кушак, которым был подпоясан ее муж; волчьи следы, заметные невдалеке, открыли ей страшный жребий его. Княгиня не сомневалась более, что и Юрий погиб с ним вместе.

Прошло четыре месяца. Гликерия не выходила из хижины; четыре месяца тяжких страданий провела она на одре болезни. Эстонка, видевшая гнев Божий в смерти своего мужа, усердно ходила за больною; она привыкла к княгине и жалела ее. Несчастное семейство терпело во всем недостаток. По временам эстонка отлучалась в ближайшее селение для покупки хлеба; тогда дети ее оставались с княгиней, шум их тревожил больную, вид их напоминал ей сына, бывшего одних с ними лет.

– Милый сын, лютые звери растерзали тебя, – восклицала она в изнеможении, и сердце ее обливалось кровью, но вера подкрепляла в тяжком испытании. – Не смею роптать на Тебя, – говорила она, обратив мысли к Богу. – Ты, взяв от меня сына, может быть, спасаешь его от вечного бедствия!

Весенняя теплота, животворя землю, воз-

вратила силы княгине. Мало-помалу она начала прохаживаться около хижины. Скорбь и болезнь изменили вид ее; глаза потускли от слез, тихая тоска согнала улыбку с ее уст. Княгиня находила утешение только в благочестивых молитвах.

Она решила оставить хижину и взять в ближнем селении проводника до Нарвы. Эстонка возвратила ей несколько камней из ее ожерелья, другие же были заброшены детьми; но еще оставалось много денег, и эстонка отдала их вместе с шубою. Жалея расстаться с княгиною, она не смела ее останавливать, да притом и сама, боясь оставаться в лесу, собиралась перейти с детьми в соседнее селение.

Княгиня простилась с нею и, расспросив о дороге, пошла тропинкою, ведущею к Чудскому озеру, откуда лежал прямой путь к Нарве. Там княгиня могла ожидать известия о своем супруге, но с ужасом помышляла, как горестно будет их свидание, если судьба соединит их.

Она шла с пожилой эстонской крестьянкой. Нейпус светил ровным зеркалом в небо-

зримою даль; ярко горела огненная полоса на краю небосклона и еще долго мерцала по захождению солнца; роса ложилась на поля, на кочках вспыхивали летучие огоньки. Наконец, появился месяц и озарил все пространство; ночь была так ясна, что по сторонам песчаной дороги отражались тени кустарников. Скоро показались рыбачьи хижины на берегу озера; здесь Гликерия и спутница ее провели ночь и на заре пошли дальше.

Княгиня уже не боялась быть узнанной; страдания не оставили в ее сердце места для боязни. Несколько всадников встретились ей на пути, лицо одного из них показалось знакомо; это был боярский слугитель, добрый Непея. Он не узнал княгиню Курбскую. Заметив, что он отстал от товарищей, она назвала его по имени. Непея с удивлением посмотрел на нее, соскочил с коня и простодушно приветствовал княгиню. Он проживал у окольного Головина в Нарве и направлялся в Псково-Печорский монастырь. Встретив княгиню, он вызвался проводить ее до Нарвы.

Наградив за труд свою спутницу, княгиня пересела в телегу, нанятую Непеей; он сам по-

вез ее. Дорогою она спросила его: нет ли вести о князе Андрее Михайловиче?

– Слышно, – сказал он, – что князь был во Владимирце ливонском, а оттуда поехал к польскому королю; о тебе же, боярыня, были слухи, что ты утонула, а после стали говорить, что тебя загубили с сыном. Да где же он, свет мой ясный, Юрий Андреевич? Бывало, я на руках его нянчил; аль не стало его в живых, что ты горько плачешь? Не взыщи на простоту мою, государыня-матушка, не думал тебя словом опечалить. Жизнь бы отдал, боярыня, чтобы видеть тебя веселою, как была ты прежде, когда жив был господин мой, Алексей Федорович Адашев.

Так говорил Непея княгине и, услышав об ее участи, горевал вместе с нею.

– Не привел Бог меня, матушка, оборонить тебя от лиходеев твоих! Со мной ты не боялась бы их; не выдал бы я тебя! Попытался бы кто поразведать со мной силы своей, так сорвал бы я с плеч его буйную голову, разметал бы всю силу нечистую; ведь ты слышала, государыня, что я поймал немецкого славного витязя, из наибольших первого; вот уж мож-

но сказать, что был храбрец! А жаль мне, что положил он в Москве свою голову, под мечом царя Грозного. Что делать, горе да беда над кем не живут! А и в горе люди песни поют; вот и здесь, на пригорке, бедные эстонки поют и пляшут! Кстати, остановимся коня покормить...

Прекрасен был вечер, небо на западе представлялось светло-бирюзовым морем, в котором почти неприметно несло легким ветерком несколько золотых облачков. Молодые эстонки, провожая праздник, собрались на цветущем холмике вокруг ветвистого вяза. Цветные ленты, опущенные из заплетенных кос, развевались на плечах их; бисерные узоры и радужная бахрома украшали передники; держась одна за другую, девушки составляли цепь, в середине которой играл на кобозе, приплясывая, веселый эстонец, а молодая крестьянка пела:

*– Юрий, Юрий, не пора ль мне
прийти?*

*– Ах, любезная, нет, погоди,
Для чего вчера не пришла?
Ты меня одного бы нашла;*

*Теперь пятеро нас собралось,
Лучше утром с зарей приходи;
Приходи же, я буду один;
Но роса падет, легче ступай,
Поскорей по траве пробегай!..
– Ах, тогда время в поле идти,
Наше стадо мне надо пасти,
Нет, уж лучше приду той порой,
Когда змеи и жужелиц рой
Призатихнут в траве луговой.*

Эстонки веселились, но упомянутое ими имя возбуждало горестные мысли в княгине.

Запад алел при закате солнца, которое, как багряный щит, величественно погружалось в тихие воды необозримого Чудского озера; песни умолкли, крестьянки разошлись, а княгиня Курбская приближалась уже к Нарве.

Нарвский окольныйчий, Петр Головин, был из числа тех праводушных бояр, верных сынов отечества, которыми издревле хвалилась Россия, и особенно в то время, когда добродетели Адашева и Сильвестра возбуждали соревнование в сановниках, окружавших царя. И после падения Адашева, когда любимцы отдалили от трона старых бояр, еще во многих городах русских оставались воеводы, которых

народ называл добрыми боярами, и новые царедворцы, называвшиеся приверженцами Адашевых. Головин давно был в приятни с Курбским и не изменил дружбе: он встретил княгиню с искренним радушием, а в городе разнесся слух, что к окольничему приехала бедная родственница жены его.

Княгиня провела несколько месяцев в семействе друзей; предаваясь задумчивости, она желала только уединения, но утешение дружбы доступно и огорченному сердцу. Ожидая удобного времени для отплытия из Нарвы, она тревожилась, не имея никакого известия от супруга; но дошел слух, что князь жил то в Вильне, то в Ковне, а иногда и в Варшаве, и с почестию принят королем Сигизмундом Августом. Самое местопребывание князя было ей неизвестно наверное, и она оставалась, не зная, куда же ей отправиться.

Вести из Москвы были ужасны; гнев Иоанна страшил всех, кого подозревали в сношениях с Курбским, и княгиня боялась за Головина, страшилась, чтобы не открыли ее пребывания в Нарве. Разосланные лазутчики наблюдали за поступками и словами воевод и

бояр.

Наконец, дошли в Нарву неожиданные слухи из Литвы; княгиня не хотела им верить, но странные вести подтверждались: князь Курбский, возведенный в достоинство первостепенного польского вельможи, готов был вступить в брачный союз с сестрой Радзивилла, вдовою знаменитого князя Дубровицкого. Молва уже называла их супругами.

Горестная и оскорбленная Гликерия не думала, чтобы князь мог так скоро изгнать из памяти ее и сына; новый брак казался ей поруганием супружеской верности; но недолго временно было негодование кроткой души; княгиня размыслила, что это могло случиться по неверному слуху о ее участи и не сомневалась, что князь был обманут рассказами о мнимой гибели ее в замке Тонненберга, тем более что после этого около года она прожила в эстонской хижине. Княгиня простила ему неумышленную измену, но еще новая скорбь прибавилась к ее бедствию: она узнала, что Курбский идет с поляками на Россию.

Дни и ночи несчастная проводила в молитве, чтоб умилоствить небо за супруга;

присутствие друзей было ей в тягость; она не хотела удручать их своею тоскою, не могла участвовать в их беседе; все призывало ее в святое уединение от мятежного мира; все мысли ее обратились к пристани спокойствия для гонимых бедствием; сердце ее избрало Богородицкую Тихвинскую обитель; там желала она провести остаток дней своих и, заключась в тесной келье, посвятить себя Богу.

Головин одобрил ее намерения. Княгиня спешила отправиться в путь и простилась с друзьями. Непея сопровождал ее.

Дорога лежала по берегу реки Наровы; за несколько верст от города река, свергаясь с крутых утесов, кипела водопадом; великолепное зрелище представлялось княгине: быстрые воды на покате, сливаясь стеною, падали с ревом на камни, разбиваясь в пену и отражая радугами солнечные лучи в тонком облаке брызг. Далеко разносился грохот водопада! Птицы не смели пролетать над ними и, оглушаемые падением воды, падали в кипящую бездну.

Беспрерывное стремление воды, неумол-

кающий шум водопада напоминали ей о быстроте времени, сброшенные порывом ветра в волны Наровы, деревья стремительно увлекались в ее жерло и исчезали в кипящей пучине. Так слабые смертные несутся по волнам жизни с течением времени, падают в бездну вечности, появляются минутно и исчезают в неизвестности. «Где вы, – думала княгиня, – столь драгоценные мне, еще недавние спутники моей жизни, родные мои? Навек увлечены вы от любви моей, но вы живы для Бога! Он соединит меня с вами».

С этими мыслями княгиня продолжала путь к Луге и оттуда в Новгород, где наместник, Дмитрий Андреевич Булгаков, мог доставить ей надежный способ к безопасному достижению обители Тихвинской, где сестра его была игуменью.

Глава V. Грамота

Мы оставили князя Курбского на пути к Вольмару, где у городских ворот ждал его слуга с двумя конями. Быстро понесся князь под мраком ночи по знакомой дороге, не отдыхая до самой горы Удерн. Здесь он остановился в роще до рассвета; слуга стерег коней у источника. Дерпт остался далеко; гора Удерн находилась несколько в стороне от проезжей дороги, но Курбский, ожидая погони, отдыхал недолго. Прежде нежели блеснуло солнце, он сел на коня, и восходящее светило дня уже застало его в лесу.

За лесом путь его преграждала река, стремившая темные воды между песчаных холмов; она носила название Черной. Суеверное предание разносило молву, что в ней потонул черный витязь и что тень его иногда являлась на берегах пугливым путникам. Узкий, сплоченный из бревен плот привязан был к дереву у берега реки; моста для перехода не было, и перевозчик еще не появлялся. Он спокойно спал на прибрежном холме, в ветхой избушке. Лучи солнца, блеснув в отверстие

хижины, разбудили его; он потянулся, открыл глаза и закричал от испуга: его плот быстро несся к противоположному берегу. Человек в черной одежде стоял возле двух черных коней на плоту, который, казалось, двигался сам собою; за конями не видно было слуги, управлявшего плотом. Воображению эстонца представлялось такое сходство незнакомца с черным витязем, что он нисколько не сомневался в истине предания и, зажмурив глаза, бросился на пол, дрожа от страха.

По песчаным возвышениям, на которых местами росли темные сосны и можжевельник, Курбский продолжал путь к Вольмару; по обеим сторонам видны были болота, поросшие мхом. Открывалась уже долина пред Вольмаром, по которой извивается извилинами светлая Аа. Вдалеке белели ряды палаток польского войска, составлявшего сторожевую цепь; последние лучи солнца освещали долину; вечерний ветерок веял прохладой от струй реки, которая, уклонясь влево, возвращалась быстрым изворотом в долину Вольмарскую, расстилалась полукругом и, снова изменяя своеенравное течение, стремилась по

лугам в противоположную сторону. Курбский, примечая утомление своего коня, сошел с него, сел на прибрежный камень, погладил по спине изнуренного аргамака, велел слуге провести коней по траве и утолить их жажду; а сам, сев на камень, обозревал окрестности. Верхи вольмарских зданий виднелись из отдаленных садов, отражая блеск огнистой зари; восток туманился в отдалении влажными парами, и синий сумрак сливался с розовым сиянием запада. Курбский услышал легкий шум, стая птиц пролетала пред ним, высоко поднявшись над рекою. Курбский следил за их полетом; они стремились к Нарве и вскоре скрылись.

Он увидел двух литовских всадников, с двумя широкими посеребренными крыльями, прикрепленными к панцирю. Князь сказал им, что желает видеться с верховным вождем литовского стана.

Литовцы, удивленные видом и осанкою Курбского, отвечали, что готовы проводить его в шатер воеводы Станислава Паца, начальствовавшего в литовском стане, под Вольмаром.

– Не воеводу Паца, – сказал Курбский, – я должен видеть королевского наместника в Ливонии, князя Радзивилла. Мне известно, что он в Вольмаре.

– Великого маршала литовского, князя Радзивилла? – сказал один из литовцев, посмотрев с удивлением на Курбского. – Много ступеней до наияснейшего князя: начальник наш, Станислав Пац, а есть еще воевода Зебржидовский; а может идти и выше, к старосте самогитскому Яну Ходкевичу; сам светлейший князь Радзивилл не в стане, он в городском замке.

– Я сказал, что мне должно говорить с самим королевским наместником, ваше дело – указать мне дорогу к нему.

Литовцы отрядили несколько воинов для сопровождения незнакомца в Вольмар, но, желая показать принятые ими предосторожности, побрякивали своими саблями.

Князь Радзивилл, почетнейший из вельмож при польском дворе, гордый богатством и властью, уважаемый королем Сигизмундом Августом за личную храбрость, не раз встречался с князем Курбским на поле битвы и не

мог забыть лицо этого военачальника. Когда известили его о русском, желающем видеть его, Радзивилл велел пустить его, но при взгляде на него поднялся с кресел, забыв свою важность, и, казалось, не верил внезапному появлению Курбского.

– Если не обманываюсь, – сказал Радзивилл, – я вижу...

– ...изгнанника Русской земли, – прервал его Курбский, – пришедшего просить убежища от великодушия короля Сигизмунда Августа...

Лицо Радзивилла прояснилось радостью, хотя в глазах его еще заметна была недоверчивость, при виде столь знаменитого человека, прибегающего к покровительству противников. Но он скоро уверился в том, чему желал верить, и ожидал уже видеть ослабление сил московского царя, надеясь, что за Курбским многие перейдут в пределы Польши.

Оставшись наедине с Курбским, Радзивилл обнадежил его именем короля, что он будет принят согласно его сану и доблестям.

– Сигизмунд Август, – сказал он, – умеет чтить мужество в противниках и будет хва-

литься, приобретя преданность героя, оставившего успехи его оружия.

Предложив Курбскому остаться в Вольмарском замке, торжествующий Радзивилл спешил отправить гонца к королю с неожиданной вестью и угадал удовольствие Сигизмунда Августа. Король, находившийся в Вильне, приглашал к себе Курбского занять первостепенное место между его вельможами.

Свершились ожидания Курбского. Самолюбие его было удовлетворено, и все мысли его обратились к возможности ужаснуть Иоанна. Этот порыв возмущенных чувств заглушил голос упрека в душе его, и сама скорбь об оставленном семействе уступила место голосу мести, болезни гордой души его. Готовясь к свиданию с королем, Курбский обдумывал предприятия мести, к собственному своему позору бесславя имя свое изменой.

В то же время он с нетерпением ожидал вести о прибытии своего семейства в Нарву, но, к удивлению его, Шибанов, успевший пробраться из Нарвы окольными дорогами в Вольмар, известил его, что, остановленный в пути, потерял из виду княгиню – и напрасно

несколько дней ожидал ее в Нарве. Князь успокаивал себя мыслью, что Тонненберг, известный ему хитростью и осторожностью, где-нибудь укрывает ее в надежном месте до первой возможности прибыть безопаснее в Нарву, тогда как, по слухам из Дерпта, русские воеводы, не находя городских ключей, вынуждены были разломать городские ворота и послали погоню.

Желал ли князь оправдать пред Иоанном или пред самим собою свое преступление, но, не показывая робости беглеца, решил вызвать самого Иоанна к ответу пред Россиею и пред Польшею, пред современниками и потомством. Он начал писать к нему грамоту, объясняя причину своего бегства. Перо быстро бежало в дрожащей руке его по длинному свитку, но в смятении души Курбский не находил ни мыслей, ни слов к выражению всего, что желал сказать; подробности снижали силу письма, а негодование стремилось выразиться в каждом слове. Курбский разорвал свиток, отбросил его и начертал на другой строки, которыми был довольнее; чувствовал слезы, вырывающиеся из глаз на эту грамоту,

не хотел стереть их и оставил свидетелями скорби своей.

«Царю от Бога прославленному, – писал он, – еще более воссиявшему благочестием, ныне же омраченному за грехи наши. Да вразумится прокаженный совестью, какой нет примера и среди безбожных народов! Не буду исчислять всех дел твоих, но от скорби сердца, гонимый тобой, скажу в кратких словах. О царь! За что погубил ты сильных в Израиле? Воевод, тебе Богом данных, предал смертям? Проливал святую, победоносную кровь их в самих храмах Господних, обагрят кровью мучеников порог церковный, воздвиг гонение на преданных тебе, полагающих за тебя душу свою? Неправедно обвинял ты в изменах и чародействе, усиливаясь свет прелагать во тьму и называть сладкое горьким. Чем прогневали тебя христианские представители? Храбростью их покорены тебе царства, где праотцы наши были рабами. Счастьем и разумом вождей твоих даны тебе сильные города германские; за это ли нас губишь? Ужели ты думаешь быть бессмертным или, прельщенный в небывалую ересь, не думаешь

предстать нелицемерному Судье на Страшном суде Его? Он Спаситель мой, сидящий на престоле херувимском, судья между мною и тобою. Какого зла не претерпел я? Не могу исчислить всех бед и напастей! Еще душа моя объята горем и рука трепещет от скорби. Всего лишен я и из земли Божией изгнан тобою. Не упросил тебя покорностью, не умолил слезами, не преклонил к милости прошением святителей церкви; ты воздал мне злом за добро, за любовь непримиримую ненавистью. Кровь моя, как вода пролитая на брани, вопиет на тебя к Богу. Да будет Бог-сердцеведец обличитель мой; я рассмотрел себя в делах, мыслях и совести и не вижу себя ни в чем пред тобою виновным».

Исчислив заслуги свои, Курбский писал:

«Хотел говорить я пространнее о делах моих, совершенных на славу твою, силою Христа моего, но уже не хочу; пусть лучше знает Бог, нежели человек; Господь всем воздатель. Знай же, о царь, что уже не узришь в мире лица моего до дня преславного пришествия Христа моего, но до конца моего буду вопиять на тебя со слезами Богу и Матери Владыки хе-

рувимского, надежде моей и защитнице и всем святым, избранникам Божиим и государю праотцу моему, князю Феодору Ростиславичу. Тело его нетленное благоухает, источая от гроба струи исцеления; ты знаешь об этом! Не думай о нас как о погибших, избивенных тобою, невинно заточенных и изгнанных. Не радуйся, хвалясь бедствием их, как победою. Избивенные тобою, предстоя у престола Господня, просят отмщения; заточенные и изгнанные тобою непрерывно вопиют к Богу день и ночь. А ты хвалишься в гордости, при этой временной и скоротекущей жизни, вымышляя мучения на христиан, твоих подданных, предавая поруганию образ ангельский с ласкателями, товарищами пиров твоих, губителями души твоей и тела. Это письмо мое, до сих строк слезами моими смоченное, велю и в гроб с собой положить, ожидая идти с тобою на суд моего Бога Спасителя. Аминь.

Писано в Вольмаре, граде государя моего Августа Сигизмунда короля, с надеждой утешения в моей скорби его государевой, а более Божией милостью».

Оставив у себя список с этой грамоты,

Курбский запечатал свиток перстнем. Но кому вверить грамоту для доставления Иоанну? Курбский позвал Шибанова.

– Здесь мое оправдание, – сказал он ему. – Не успокоюсь, если не прочтет царь этой грамоты, но кто осмелится передать ее Грозному? Могут утаить или истребить, а я хочу, чтобы она достигла в Москву, прямо в руки Иоанна.

– Есть боярин, на кого надежно положиться тебе, – отвечал Шибанов.

– Если ты знаешь, скажи, кто возьмет на себя труд и страх подать царю мою грамоту?

– Я, – отвечал Шибанов.

– Ты, Василий? – спросил с удивлением Курбский.

– Я, твой верный слуга, – повторил Шибанов решительно.

– И ты не страшишься?

– Готов умереть за тебя, боярин, – отвечал Шибанов, – да истосковался по Москве; хоть бы раз еще взглянуть на святые соборы! Все постыло в чужой, неправославной земле.

– И здесь земля христианская, православных не гонят, худо тебе не будет.

– Ах, князь-господин, остался у меня в Москве отец дряхлый, а пред выездом из Юрьева слышал я, что старик мой ослеп, а все от слез по Данииле Федоровиче Адашеве, с которым он был в Крымских походах. Некому будет закрыть глаза его, некого будет и благословить ему; на душе моей ляжет тяжкий грех, когда я останусь здесь. Ты, боярин, в безопасности, слуг у тебя будет много, отпусти Шибанова на Святую Русь; поживя в Москве, я возвращусь к тебе.

– Жаль твоего старика. Я готов отпустить тебя, – сказал Курбский, – но ты слуга мой: тебя погубят!

– Погубят, не моя вина, – отвечал Шибанов, – смерти не боюсь; двух не будет, одной не миновать, а грешно мне покинуть слепого отца на старости; боюсь гнева Божьего!

– Жаль мне расставаться с тобой, но, когда ты решился ехать в Москву, отвези мою грамоту. Если тебя остановят в пути, скажи, что ты послан к самому царю, а когда приедешь в Москву, подай грамоту в руки Иоанну. Может быть, совесть пробудится в нем, правда устыдит его, да и бесславно царю мстить слуге за

господина. И сам же он говорил, что послов не секут, не рубят.

– Поверь мне грамоту, – сказал Шибанов, – я подам ее самому государю.

– А если тебя не помилуют?

– Грозен царь, да милостив Бог, на земле смерть, а в небе спасенье. За правду бояться нечего, а потерпеть – честно!

– Не удерживаю тебя, мой верный Шибанов, – сказал Курбский, обняв его, – снаряжайся в дорогу.

– Благодарю тебя князь, мой отец. Что же мне прикажешь на путь?

Курбский поручил проведать о жене своей и сыне, достигли ли они до Нарвы, и переслать весть из Новгорода чрез купца иноземного.

В тот же день верный слуга приготовился к отъезду, пришел взять грамоту и проститься с боярином. Приняв от Курбского грамоту, Шибанов перекрестился, поцеловал руку его и поклонился в ноги.

Курбский, как бы предчувствуя, что не увидит его более, прижал его к сердцу и, плачущий, опустил голову на плечо его. Исчезло

расстояние между воеводой и слугой. Каза-лось, два друга прощались.

– Василий, ты едешь на вольную смерть?

– Богу живем, Богу и умираем; позволь со-служить мне последнюю службу! – отвечал Шибанов и, поклонясь еще раз своему госпо-дину, отер слезы и сел на коня.

Глава VI. Верность

В раздумье ехал Шибанов по берегу реки Аа; В мысли одна другою сменялись; на сердце его было тяжело, а пред глазами далеко раски-дывались поля и цепью тянулись холмы. Заря окинула розовою завесою небо, и рощи, оги-бая извороты реки, вдали покрывались туманом, но еще сверкала в излучинах светлая Аа, и все было тихо, все дышало весной.

Переодетый в одежду купца, Шибанов дое-хал до окрестности Нарвы, осторожно разве-дывая о Тонненберге, и узнал от встретив-шихся эстонцев, что Тонненберг погиб во вре-мя наводнения; о княгине с сыном говорили то же самое. Не зная ничего наверное, по обыкновению, молва прибавлялась к молве, увеличивая ужасы тем, чего не было. В Нарве

О княгине, жившей тогда в эстонской хижине, не было никаких вестей, и Шибанов, поверив слухам, с убитым горестью сердцем повернул на дорогу к Москве.

Из Новгорода верный слуга через иноземного купца послал Курбскому весть о судьбе семейства его.

По большой московской дороге, на берегу Тверцы, собралось множество торжковских горожан. Ярко пылали разложенные костры, около них кружились хороводы; голосистые песни разливались из конца в конец улицы; блеск огня рассыпался искрами на газетных повязках сельских девушек, одетых в богатые цветные сарафаны. С хохотом смотрели они на перескакивающих чрез костры смельчаков.

У ворот одного дома сидели на завалинке два торжковских купца, разговаривая о торговых делах.

– Ну что, друг, – спросил один, – купили ли у тебя коня?

– Положили на слове, – отвечал скороговоркою другой, поглаживая усы и побряхтывая, – завтра дело сладим. Не приложив тав-

ро, коня продавать нельзя.

– Правда твоя! Мичура накликать было беду, коня купил, а к пятнальщику не привел; недельщик привязался; Мичура кошельком поплатился; недельщик отпустил душу на покаяние; а послышим – и сам попал в беду; проведаль дьяк и взыскал с недельщика самосуд.

– Что дело, то дело; за самосуд поплатишься; а зачастую дьяки нороят и напраслину, благо выгода за тяжбу с рубля никак по алтыну.

– А будто худо? Зато меньше тяжб; не всякий захочет судиться.

– И поневоле захочешь, когда обижают; вот меня ни за что ни про что обидел боярский сын Щетина – по шерсти ему, собаке, имя дано – как не судиться! Хорошо бывало прежде, как вызывали на бой; дед мой говаривал: «Меня обидеть не смей, клевету не взведи, спрошу присяги и суда Божия, поля и единоборства! Хоть бы игумен то был – сам на поле нейдешь, так бойца выставляй». А дядя-то был такой удалец, что приступа к нему не было.

– Где на Щетину управу взять? Слышь ты,

он со всеми дьяками в ладу, сколько на него крестьян плачутся; житье хуже холопов! То и дело, что ждут Юрьева дня, как бы перебежать поскорей к другому, и то нелегко, дело бедное, плати пожилое за двор, за повоз, по алтыну с двора, да чтобы хлеб снять с поля, еще два алтына.

– Угодил Богу, кто не давал Щетине на себя кабалу, а то за полтретья рубля[21] сгубить всю жизнь.

– Закабалить бы ему моего Петра, – сказал с усмешкою Гур. – Отдают же отцы детей в кабалу, а от Петра мне не ждать добра; глаза-ет по улицам, поет с молодыми парнями да пляшет в хоровах; вот и теперь шатуном бродит, благо Иванов вечер.

– Дело молодое, теперь-то и погулять. Наживет деньгу, с умом да с трудом, соорудит себе и хоромы.

– К слову о хоромах: как летось был я в Москве, видел, что бояре стали строить каменные хоромы, слышь ты, как царские терема; все нороят по-новому, а каково-то будет в каменных палатах жить?

– Ну, оно так, в деревянных теплее, да ны-

не много и на свят Руси чужеземной мудрости! Все фрязины, немцы! От них несдобровать; навезли всякого снадобья, людей портить. До того дошло, что батюшка Грозный царь, как буря, все ломит; всех чародеев без милости губит!

– Туда и дорога! Говорят – все адашевцы; и Курбский-то был за них, да видя, что худо, бежал в Литву.

– Полно, так ли, соседушка? Спознается ли он с нечистою силою? Ведь без него бы Казани не взять.

– А разве он даром храбровал? Нет, брат, сила в нем не человечья. В проезд свой из Москвы он у меня останавливался. Я и слугу его, Василья Шибанова, знаю.

– Ахти, – сказал Гур, – вот идет покушцик мой.

– Что же, отвел ли покушного коня заклеить? – спросил, подойдя к Гуру, человек небольшого роста с окладистой бородою, в длиннополом синем суконном кафтане, опоясанный зеленым шелковым кушаком и в остроконечной красной шапке, опушенной черной овчиной. – Деньги готовы, а мне надо

ехать.

– Раньше утра нельзя, свет мой; день-то нынче праздничный, пятнальщик загулял.

– Не стал бы я ждать, если бы добрый мой конь ноги не повредил.

– Жаль такого коня, – сказал Гур.

– Как не жаль! Бывало от Москвы до Тулы сто восемьдесят верст без перемены проскачет. Отгулял свои ноженьки! Нечего делать; поглазеть хоть на хоровод.

Сказав это, он отошел от них.

– Послушай, сосед, – сказал Варлам, который стоял в стороне и всматривался в боярского служителя, – остерегись!

– А что такое? – спросил тихо Гур.

– Да это слуга Курбского; надо дьяку заявить.

– Не ошибся ли ты?

– Уж я тебе говорю, это Шибанов; смотри, не упускай; худо будет, велено слуг Курбского ловить; я тебе говорю, что узнал его, хоть он и отрастил себе волосы.

– Что же нам делать? – спросил Гур.

– Да крикнуть нашим молодцам, чтоб схватили его.

– Дело, а то узнают, что купил здесь коня, так и нам несдобровать.

– Держи, держи! – закричал Варлам, и встревоженный народ хлынул толпой к ним.

– Кого, за что? – спрашивали Гура и Варлама.

– Слугу Курбского, – сказал Варлам, указывая на Шибанова. – Схватите его, ведите его к недельщику.

– Что вы, православные? – сказал Шибанов. – Вы видите, что я не бегу, а к недельщику и сам пойду; я человек проезжий, боярский слуга, и еду не к Курбскому, а в Москву.

– Что его слушать, ведите его к дьяку! – закричал Варлам, и Шибанова окружили и повели в дом недельщика.

Недельщик стал расспрашивать, и Шибанов сказал ему, что едет из Новгорода в Москву с грамотою к царю, а кто послал его, о том царь знает.

– Держите его до утра, – сказал недельщик, – и представьте завтра в суд к дьяку.

На другой день утром Шибанов стоял в приказной избе. На скамье, за дубовым столом, под иконою, сидел дьяк и возле него

недельщик; пред ними стояли горожане, пришедшие в суд по делам.

Дьяк велел принять от одного половину бирки и приискать другую в ящичке. Биркой называлась палочка в палец толщиной с зарубленными на ней метками; расколов ее вдоль, оставляли одну половину у приемщика, а другую – у отдатчика. Оказалось, что на палочке Рахманьки Сурвоцкого, когда приложили другую половинку бирки, намечены были крест, три косые черты и две прямые. Это означало, что принято от него в суд одно сто, три десятка и две пары беличьих шкур вместо денег, а Рахманько приговорен был к заплате в казну по суду.

После него подошел боярский сын Щетина, человек угрюмого вида, и высыпал из мешка деньги.

– Что это? – спросил дьяк, нахмурясь.

– Грех надо мной, – отвечал Щетина, – зашиб своего холопа, а тот и не встал. Вот, – продолжал он, высыпав из мешка деньги, – пеня за убитого.

– Еще, – сказал недельщик, – с него же велено взыскать купцу Дуброве тридцать белок.

– Принимай, – сказал Щетина, взяв от слуги узел с беличьими шкурками и подавая недельщику. – Теперь я отплатился; не дадите на меня бессудную грамоту.

– Хорошо, – сказал дьяк, – перед судом ты оправдан, да перед Богом-то виноват.

Щетина махнул рукою и вышел.

За ним позвали Шибанова. На все вопросы он отвечал только, что везет грамоту к царю и никому не может отдать ее, как в государевы руки.

Его не смели задерживать, но дьяк счел за нужное отправить с ним двух стрельцов для надзора до самой Москвы.

Уже пробило пятнадцать часов дня на Фроловской башне, когда Шибанов приблизился к Москве. Между пространными садами и огородами шумели мельницы ветряными крыльями, далее дымились кузницы, а там белели московские стены, и тысячи церквей пестрели разноцветными главами и блистали святыми крестами.

– Привел Бог увидеть! – сказал Шибанов, перекрестясь на златоглавые соборы, и прослезился.

Скоро стемнело; закинули рогатки по улицам; стража останавливала идущих, считая шестнадцатый час от восхождения солнца.

Недолго стучались стрельцы в тесовые ворота большого дома думного дьяка, Василья Щелкалова. Хозяин велел впустить их. Неутомимый в трудах, он и еще один из московских сановников сидели за свитками, читая грамоты и скрепляя повеления Боярской думы.

Стрельцы подали ему донесение торжковского дьяка, и Щелкалов с удивлением посмотрел на Шибанова, покачал головой и сказал ему:

– Зачем пришел ты в Москву? Знаешь ли, что ждет тебя здесь? В Москве нет дома Курбских, не признаешь и места, где был он; а ты осмелился идти с грамотой беглеца к государю?

– Он господин мой, – отвечал Шибанов, – и велел мне вручить государю свое писание; я повинуюсь, как Бог велел; хочу быть верным рабом.

– Раба неверного, – перебил его Щелкалов. – Боярин твой бежал к врагам Русской

земли, а ты пришел от него в Святую Русь!

– Не мне судить его, а Богу, – отвечал Шибанов. – Если бы я отступился от него в бедствии, Бог бы от меня отступился.

– Дело кончено, – сказал Щелкалов, – с чем пришел, то и подай, примет ли царь от тебя грамоту или нет – не мое дело; завтра, пред государевым выходом в собор, будь у Красного крыльца. Я доложу о тебе государю.

– Дозволь мне, боярин, повидаться со стариком, отцом моим.

– Не худо, – сказал Щелкалов, – да и прости с ним! Ступай. – С этими словами он отпустил Шибанова.

На другой день, едва рассвело, Шибанов встал и, открыв ставни, заграждавшие окна, славословил Бога псалмами; потом поклонился в ноги спящему отцу своему и поцеловал его. Слепой старец проснулся.

– Ты уже встал, Василий? – спросил старик. – Мало отдохнул ты с дороги!

– Благослови меня, батюшка, снова на путь, – сказал Шибанов.

– Куда же? – спросил старик. – И петухи еще не пели.

– Нет, светло, батюшка; иду поклониться Успенскому собору.

– Еще не скоро заблаговестят, – сказал отец. – Скоро ль воротишься ты?

–хлопот много, – сказал Шибанов, – но Бог приведет, скоро будем вместе.

– Управи Господи путь твой, родной мой, – сказал старик, – не могу я на тебя наглядеться!

Выйдя из ворот, Шибанов пошел по улице. Он услышал, что кто-то назвал его по имени, оглянулся и увидел на скамье ремесленника, работающего под навесом, на котором висела на крючках разноцветная сафьянная обувь. Шибанов узнал своего знакомого Илью и сказал:

– Бог в помощь!

– Спасибо, – отвечал Илья. – Не знал я, что ты в Москве, забреди хлеба-соли отведать: для старого приятеля найдется и каравай, и меду ковш. Добро пожаловать!

– Не время, – сказал Шибанов, – прости, до свидания.

С горестию видел добрый слуга пустое место, обнесенное забором; между разметанными

ми бревнами прорастала трава; здесь стоял прежде дом князя Курбского, а теперь ничего не видно было, кроме разрушения. Скоро Шибанов дошел до кремлевской стены и повернул на Красную площадь. Сердце звало его к молитве, и он вошел в Успенский собор.

Через некоторое время, держа в руке грамоту, Шибанов встал перед Красным крыльцом; народ уже показывался на площади.

День был воскресный. Приближался час государева выхода. Скоро заметили Шибанова черкесские стражи и хотели отогнать от крыльца. На шум подошел боярин Алексей Басманов.

– Отойди, старик, от крыльца, – закричал он, – царь скоро выйдет.

– Великий боярин, я должен подать государю грамоту, – отвечал Шибанов.

– Бойся утруждать царя, подай в приказ.

– Мне велено подать в царские руки его.

– О чем писано в грамоте?

– Богу знаемо.

– От кого эта грамота?

– Государю ведомо.

Боярин гневно посмотрел на Шибанова, но

оставил его в покое.

Между тем раздался уже благовест; стольники и стряпчие показались на Красном крыльце. Один из них нес басмановский дар – жезл с острым наконечником, другой – государеву Псалтырь рукописную; в народе слышался почтительный шепот: «Царь шествует!» И скоро показался на Красном крыльце Иоанн, сопровождаемый своими любимцами, рындами и черкесами. Думный дьяк уже известил его о челобитчике. Иоанн искал глазами Шибанова, который, приближаясь, поклонился ему до земли.

– С чем ты? – спросил его царь.

– С грамотою господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича Курбского, – отвечал Шибанов.

Окружающие царя изумились. Иоанн с гневным видом вырвал жезл из рук стольника и, ударив острым наконечником в ногу Шибанова, пригвоздил ее к земле. Дав знак взять от него грамоту, он повелел Щелкалову читать ее, а сам, опершись на жезл, слушал в грозном молчании.

– Вот как беглец и изменник наш дерзает

писать к нам, своему законному государю! – воскликнул царь после того, как прочитали грамоту Курбского.

Лицо Иоанна почернело от гнева, и глаза его помутились свирепством.

– Скажи, – кричал он Шибанову, – кто соумышленники моего изменника, твоего господина, и где скрыл он свою жену и сына?

– Ничего не могу сказать об этом тебе, государь, но что повелено мне, то я исполнил.

– Отвечай или умрешь с муками, – сказал Иоанн.

– Твоя надо мною царская воля явить гнев или милосердие, – отвечал неустрашимый Шибанов; между тем кровь текла струею из ноги его.

– Исторгните у него признание! – воскликнул Иоанн, отдернув жезл.

Шибанова повели в застенок, куда принесли орудия пытки. Василий перекрестился и с твердостью праведника отдался во власть мучителей. Тело его терзали, но душа его, обращенная к Богу, скрепилась силой веры. Под ударами он благословлял имя Божие. Не исторгли никаких жалоб из уст, не слышали ни-

какого ропота. Тщетно думали узнать от него тайные намерения и связи Курбского.

– Господь знает сердце его, – отвечал Шибанов.

– Кляни изменника, своего господина, – кричали ему.

– Помилуй Боже моего отца боярина, – говорил страдалец. – Помяни в изгнании моего благодетеля!

Тщетно силою угроз и мучений принуждали верного слугу объявить убежище княгини Курбской и сына ее. Шибанов упал, обогранный кровью, но молчал и молился. Не ослабевали удары, не ослабевала и молитва его; простертый на земле, он уже чувствовал приближение смерти.

– Прими, Господи, душу мою! – сказал он, сясь еще раз возложить на себя крестное знамение. – Помилуй рабов твоих, князя Андрея и царя Иоанна, – тихо промолвил он и упал в руки мучителей.

Глава VII. Брак из честолюбия

С беспокойством ждал Курбский вести о семействе своем. Между тем польский король, из вражды к Иоанну, почтил русского вождя самым благосклонным приемом в Вильне. Курбский вдруг увидел себя на блистательной среде, и чем более ласковый король, пламенный чтитель геройства и страстный любитель просвещения, беседовал с князем и узнавал его, тем очевиднее было благоволение его к Курбскому; многие из польских магнатов не завидовали, а радовались возвышению славного пришельца, в котором ожидали видеть защитника Польши.

Но далеко было утешение от сердца Курбского. От Головина не было слуха о прибытии княгини в Нарву, а пришла ужасная весть, что она укрывалась в Тонненберговом замке и погибла с сыном во время наводнения, убегая от преследования грабителей. Обманутый мнимым известием, несчастный отец семейства уверился в бедственной потере, узнав, что сам Тонненберг не избег гибели. По рассказам других, княгиня исчезла с сыном в ле-

су, где найден убитым сопровождавший ее русский слуга. Письмо от окольного Головина из Нарвы довершило горесть Курбского. Он знал, что о Гликерии и Юрии не было слуха в Нарве, и в то время, когда княгиня после потери сына страдала в эстонской хижине, Курбский не сомневался, что у него уже нет семейства, что он один на земле.

Король, желая развлечь уныние князя, приглашал его в Варшаву, куда сам отправлялся на несколько недель. Курбский не мог отказать королю и, отягченный ударами судьбы, хотел бы забыться.

Шумны и блистательны были варшавские праздники, особенно в доме Радзивилла. Польские красавицы там искали побед; Курбский был предметом общего внимания, удивления и разговоров. Это замечала сестра Радзивилла, княгиня Елена Дубровицкая, вдова еще в цвете лет, пылкая, мечтательная, славолюбивая. В чертах ее красота соединялась с гордостью; высокий рост придавал ей особенную величавость, глаза ее блистали огнем души, белизна высокого чела оттенялась темно-коричневыми волосами, в алых устах вы-

ражалась гордая самоуверенность, но в лице ее не было приятности; она была подобна тем изображениям, которые, нравясь правильною рисунка и живостью кисти, не оставляют впечатления на сердце.

Сам король представил Курбского княгине Дубровицкой. Ей были известны подвиги героя по рассказам польских вождей и русских пленников. Она нашла, что Курбский не был так страшен, как представлялся в ее воображении; важный, мужественный, выразительный вид его нравился ей более, нежели ловкость и уклончивость польских магнатов, окружавших короля. Княгиня приветствовала Курбского, не скрывая своего удивления к его доблестям и участия в горестной судьбе его. Курбский отвечал ей с прямодушием воина и незаметно увлекся беседой; Сигизмунд с торжествующим видом дал заметить княгине произведенное ею впечатление.

Курбский понимал намерения короля сблизить его с Польшей, но утрата семейства удаляла от него всякую мысль об утешении; впрочем, сам король с свойственною ему любезностью взял на себя заботу успокоить его.

Курбский видел, что сама судьба расторгла навек прежний союз его; чувствовал, что мысль о невозвратимой потере будет только изнушать его силы. Быв почти одиноким в шумной Варшаве, он не отклонялся от дружбы Радзивилла и привык беседовать с княгиней Дубровицкой. Испытав ненадежность счастья, князь мог видеть, что ему легко утвердиться при дворе Сигизмунда Августа союзом с знаменитым родом и показать Иоанну, что в Польше не считают Курбского беглецом. Слепо предавшись будущему, он успел на время заглушить в памяти минувшие бедствия; ему казалось, что он начал жить новой жизнью, так все вокруг него и сам он в себе изменился.

В красивой зале, обитой зеленым штофом, сидела, облокотясь на мраморный столик, поддерживаемый четырьмя позолоченными грифами, княгиня Елена Дубровицкая. Перед нею, в богатой фарфоровой вазе, благоухали прелестнейшие цветы лета, роскошный дар природы, взлелеянный искусством. Возле княгини на стуле, обитом зеленым бархатом, сидел с лютнею Иосиф Воллович, двоюродный

брат княгини. Голубой венгерский полукафтан, украшенный золотыми шнурами и кистями, стягивал стройный стан его; из-под шелкового кушака блестела серебряная рукоять сабли; края одежды его опущены были собоным мехом; волосы, остриженные в кружок, закрывали до половины его большой лоб; нежная томность выражалась в его больших, голубых, открытых глазах, и в милой улыбке видно было что-то лукавое, что, однако ж, нравилось женщинам. Цветя юностью и красотой, он еще казался робким и застенчивым, тем не менее он был опасен для молодых красавиц, не принимавших предосторожности в разговоре с Иосифом. Удовольствие слушать его было так заманчиво, что они не замечали, как заронялась в их душу искра пламенной страсти, особенно когда он, высказывая откровенно свои мысли и чувства, поднимал к небу свои голубые глаза или когда легкая рука его резво перебегала по струнам лютни, а сладостные звуки вырывались из уст, и улыбка образовала на розовых щеках его ямку, как будто под пальцем Эрота. Тогда польские красавицы не могли равно-

душно смотреть на Иосифа, и женская гордость смирялась пред могуществом красоты и любезности. Иосиф, казалось, сам не знал или не хотел примечать, сколь он нравился, но ни от кого так не были приятны приветствия польским красавицам двора Сигизмунда Августа, как от Иосифа. Княгиня Елена Дубровицкая часто называла его молодым пажом своим, обращаясь с ним как с милым двоюродным братцем; скоро присутствие его сделалось для нее необходимо.

Не сводя глаз с княгини и по временам опуская застенчиво темные ресницы, Иосиф пел романс, который Елена слушала с восхищением. К удивлению ее, последние слова романса были обращены к ней:

*Елена красотою славна,
Но за нее погибла Троя;
Елена новая страшна,
Пленив московского героя;
Легко прекрасной побеждать,
Но бойся сей опасной славы;
Чтоб от раздоров нам Варшавы
За красоту не потерять.*

– И ты этого боишься, любезный Иосиф? –

спросила княгиня. – Разве ты думаешь, что моему выбору позавидуют варшавские красавицы! Я им оставляю Париса опаснее.

– Не зависть женщин, княгиня, а негодование мужчин вам угрожает опасностью. Неужели мы будем спокойно смотреть, как дерзкий москвитянин похитит от нас царицу прелестных Варшавы? – Иосиф с лукавой улыбкой смотрел на княгиню, пощипывая свои черные усики.

– Похитить? Ты ошибся, милый братец, лучше скажи, что мой пленник будет столько же полезен Польше, сколько прежде был страшен. Ты слышал о его подвигах?..

– О, если верить рассказам, то это новый Ахилл, и мы должны вас поздравить с победой.

– Да, Курбский в мужестве не уступает героям древности; не от одного короля я знаю о делах его; наши храбрейшие маршалы свидетели его славы. Так, я с восхищением слушала, как одно появление его решало участь битвы, как он останавливал тысячи татар...

– Ему и драться с татарами, – сказал с насмешкой Воллович, – один вид его испугает.

– Люблю, мой изнеженный братец, люблю этот дикий мужественный вид, по которому с одного взгляда отличаешь героя; не рыцаря вежливости, не милого трубадура, но отважного предводителя воинов, меч которого может служить к славе Польши, к торжеству Сигизмунда Августа над его врагами...

– Словом сказать, княгиня, ваш выбор есть жертва отечеству?

– Почему бы и не так? Княгиня Дубровицкая, сестра князя Радзивилла, не имеет нужды в титуле княгини Курбской...

– Но союз этот будет порукою за верность московского героя. Ах, княгиня, вы несправедливы ко многим или не знаете сами могущества вашей красоты. Что нам в Курбском и его подвигах? Его привели сюда страх и мщение; они ручаются за его верность, и он не вздумает возвратиться к царю Иоанну Васильевичу. Но здесь ваш взгляд мог бы вдохнуть геройство...

– Даже и в Иосифа Волловича, – перебила его, засмеявшись, княгиня.

Воллович покраснел и, встав со стула, сказал:

– Вы, кажется, во мне видите, княгиня, не более как молодого пажу, приходящего забавлять вас звуками лютни...

– И в самой досаде своей похожего на Эрта, который мне так надоел в прекрасных стихах Андрея Треческого и которым Иосиф так любуется в мраморной статуе моего сада в Дубровицах.

– Благодарю за лестное приветствие, но верьте, что если бы вы захотели, то Иосиф не приносил бы вам цветы, не приходил бы к вам с лютней, умел владеть мечом в пылу битвы и повергнуть венки победы к ногам Елены. Любовь и слава...

– Тише, тише, – сказала Елена, взяв из вазы розу и закрывая ею уста Волловича. – Ты так часто и так неосторожно говоришь мне о своих чувствах, что я боюсь ревности московского Ахилла. Он может подслушать нас. Мой Иосиф с некоторого времени также принимает на себя вид героя, а я, право, не хочу быть виновницей чего-нибудь, похожего на Троянский раздор...

В это время послышался шум; слуги княгини с поспешностью отворяли двери, и один

из пажей ее вбежал известить о прибытии короля Сигизмунда Августа.

Такое неожиданное посещение приятно удивило гордую княгиню. Король никогда не приезжал к ней утром, но иногда удостаивал посещением своим ее праздничные вечера, на которых собиралось лучшее варшавское общество, а лучшие музыканты доставляли удовольствие гостям концертами.

Воллович почтительно отошел в сторону; княгиня поспешила встретить короля в дверях. Сигизмунд Август вошел, ведя под руку Николая Радзивилла.

– Вините брата вашего, княгиня, – сказал он, – за нечаянное беспокойство, в которое вас приводит мое посещение; он сообщил мне приятное известие. – Садясь в кресла, король продолжал: – Я спешу поблагодарить вас за ваше намерение наложить оковы на знаменитого Курбского. Он нужен мне и Польше, и ничто более не может обеспечить меня в его преданности, как узы, налагаемые на него рукою красоты.

– Слава великодушия вашего, государь, и покровительство ваше мужеству привели к

вам князя Курбского; вы почтили его, ваше величество, и этого довольно, чтобы я признавала его достойным союза с домом Радзивиллов.

– Я боюсь только того, – сказал король, – чтобы не переманить всех московских бояр; пример Курбского соблазнителен. Приятель мой, Иван Васильевич, будет грозить муками и казнями, а красавицы Варшавы будут сплетать для них цепи из роз и лавров. Не одни русские могут позавидовать участи Курбского, – добавил он, обращая мельком взгляд на Иосифа.

– Ваше величество, – сказал Радзивилл, – нельзя завидовать жребию изгнанника. Он оставил отечество, а отечество священо для благородного сердца.

– Так, мой любезный Радзивилл, но тем более должно жалеть о Курбском. Вся жизнь его была посвящена отечеству; не один он изгнан неблагодарностью. Это человек пылкий, стремительный во всех своих действиях, что опасно при дворе московском. Здесь другое дело; он мог бы бояться стрел красоты, но, к счастью, княгиня Дубровицкая отвратила это

опасение. А вы, молодой певец, – продолжал Сигизмунд, обратясь к Волловичу, – не прославляете ли новую победу прелестной княгини? Я вижу здесь лютню. Это инструмент, приличный для звуков любви... так сказать, для прославления ее могущества, которому повинуется все на свете.

– В этом убеждает пример любезнейшего из государей, – сказала княгиня Дубровицкая. – Вы правы, ваше величество; лютня посвящена красоте, так же как лавр геройству.

– Я должен признаться, княгиня, что имею теперь хорошее мнение о выборе русских в красоте. Прежде всего убедил меня в том царь Иван Васильевич, вздумав посвататься за сестру мою Екатерину. Он, как известно, большой любитель красоты, так же как и я, жаль только, что нравы наши несходны. Но я не о нем хотел говорить. Скажите, княгиня, скоро ли вы надеетесь увидеть Курбского?

– Я ожидаю его, государь, завтра на вечер...

– Очень хорошо; я дам вам совет, за который вы, верно, меня поблагодарите. У вас, вероятно, будет Венцеслав Шаматульский, любезный мой капельмейстер. Но вы можете

приятнее удивить Курбского, пригласив к себе собравшихся в Варшаву наших ученых и стихотворцев. Московский герой – любитель красноречия и так же усердный слуга Минерве, как и Марсу; признаюсь, что я удивлен образованностью Курбского. Мы уже говорили с ним по-гречески, и я уверен, что он будет вам читать стихи Анакреона по-гречески.

Княгиня благодарила короля за новое свидетельство его благоволения.

– Скажу откровенно, княгиня, – продолжал король, – что я принимаю искреннее участие в судьбе Курбского. Я уважаю храбрость. Он потомок смоленских и ярославских князей, но этот титул исчезает в глазах литовцев и поляков, почему я и решился наделить его другим княжеством. Пусть узнает царь Иоанн, что Сигизмунд Август умеет чтить героев.

Сказав еще несколько приятных приветствий княгине Дубровицкой, как будто мимоходом хваля итальянских поэтов, король удалился с Радзивиллом. Княгиня с веселым и гордым видом, посмотрев на Волловича, сказала ему, что надеется видеть его завтра в

числе своих гостей.

– Мне всегда приятно быть свидетелем вашего торжества, княгиня, но я не принадлежу к знаменитым ученым, которых вы завтра к себе ожидаете, благодаря заботливости Сигизмунда Августа Ягеллона, принимающего столь великое участие в избираемом вами супруге... – ответил Воллович.

– Это что-то похожее на ревность, милый Иосиф, но я хочу, требую, чтобы ты был свидетелем моего праздника. Я желаю, чтобы ты сблизился с князем Курбским; он будет тебе полезен. Я предсказываю тебе, – продолжала, улыбаясь, княгиня, – что ты займешь почетное место при дворе Сигизмунда Августа и не отстанешь от твоего брата Евстафия.

– Я желал бы, чтоб оставалось для меня место в вашем сердце. Повинуюсь, княгиня, и завтра надеюсь видеть московского героя у ваших ног.

Иосиф сдержал свое слово. На следующий день, в пять часов вечера, он уже спешил в дом княгини Дубровицкой. Толпа народа теснилась пред домом на улице, смотря с любопытством на богатство одежд гостей, собирав-

шихся в дом княгини. Обширный двор был заполнен лошадьми, около них суетились шляхтичи и служители; время от времени в широкие ворота въезжали тяжелые, богато украшенные резьбою кареты, обитые кожей с позолотой. Между разукрашенными столбиками опущена была кожаная занавесь, которая отдергивалась при подъезде к крыльцу, и по опущенной деревянной лесенке, волочившейся сбоку кареты, сбегали варшавские красавицы, за которыми важно и чинно спускались по ступенькам гордые паны и степенные супруги их.

В обширной зале, обитой малиновым сукном, висели портреты разных знаменитых лиц, близких княгине. Уже множество гостей собрались здесь, ожидая Курбского. Некоторые окружили Елену, другие заняты были игрой в шахматы или прогуливались в примыкавшей галерее. Великий коронный гетман Иоанн Тарно, знаменитейший из гостей, разговаривал с Вячеславом Ореховским, славным польским оратором, возле них сидел епископ Мартын Кромер, беседуя с братом Иосифа Волловича, красноречивым Евстафи-

ем; поодаль почтительно сидели, принимая время от времени участие в разговоре, Квятковский и Стриковский – польские историки, между тем все поклонники красоты восхищались игрой на арфе прелестной Иозефины, племянницы графини Дубровицкой.

Вдруг всеобщее внимание обратилось на двери залы, которые широко растворились, и вошел Курбский в польской одежде, приличествующей его званию, но не блестящей великолепием; Курбский чуждался пышности. Татарская сабля висела у его пояса, та самая, которая сверкала на ливонских полях. Если не по одежде, то по виду можно было узнать в нем между литовцами и поляками чужеземца. В лице его было величие без гордости, важность без суровости, он окинул быстрым взглядом многочисленное собрание и, приветствовав княгиню, непринужденно вступил в разговор.

– Как приятно мне, – сказал он княгине, – встретить у вас моего старого знакомца, с которым мы сходились на ратном поле. – Курбский указал на портрет Гетмана Хоткевича. – Теперь, надеюсь, мы будем дружнее.

Княгиня хвалила сходство портретов.

– Сходство поразительное! – сказал Кохановский. – Особенно в портрете Варвары Радзивилл. Отчего, – продолжал он, вздохнув, – здесь нельзя более видеть ту, которая представляется в этом портрете?

– Изображение ее, – сказал Курбский, – напоминает мне драгоценные для меня черты моего друга, Алексея Адашева.

– Ах! – сказала княгиня Дубровицкая. – Я не могу без глубокой горести смотреть на портрет несчастной моей родственницы. Жизнь ее угасла в цвете лет, при блеске счастья.

– Такова же была судьба и моего друга, – сказал Курбский с чувством и продолжал говорить о свойствах души, заслугах и жребии Алексея Адашева.

С большим участием слушали его все присутствующие. Елена восхищалась силою красноречия Курбского, а из глаз Иозефины выкатилось несколько слез.

Королевский любимец, Евстафий Воллович, был одним из самых внимательных слушателей Курбского. Искусный в делах поли-

тики, Евстафий уже пролагал себе путь к высокому званию канцлера и, умея ценить достоинства ума, искал дружбы Курбского. Он беседовал с князем, когда вдруг с галереи раздался громкий звук музыки; все гости встали – вошел король.

Присутствие Сигизмунда оживило общество. Пение и танцы попеременно привлекали внимание короля; но, рассыпая приветствия искусству и красоте, он с удовольствием заметил, что Курбский казался неравнодушным к хозяйке праздника.

– Это лев, – говорил он, шутя, Радзивиллу, – лев, опутанный розами!

– Прекрасная эмблема, государь, – сказал Радзивилл.

– И мы дадим ее в герб князю Курбскому. Да, венок из роз, окружающий льва, изображение мужества, будет знаком могущества красоты, покоряющей силу, и предвестием того счастья, какое найдет здесь Курбский после минувших бедствий.

Раздались снова сладкозвучные голоса итальянских певцов; наконец, начался веселый маскарад танцующих, ослепляя взоры

блеском одежды. Древние рыцари мешались с восточными одалисками, турки, арабы – с пастушками Карпатских гор, испанцы – с амазонками; между ними была Иозефина, за которою следовал льстец и очарователь прелестных, младший Воллович, прикрывавший приветствиями княгине свою любовь к милой ее племяннице. Впрочем, сам Сигизмунд Август был в этот вечер его соперником.

Курбский казался здесь богатырем Владимира века, переодетым Добрыней, но, не любя маскарадов и утомленный непривычным для него зрелищем, он с удовольствием возвратился с шумного праздника Дубровицкой в свой дом.

Через несколько дней Радзивилл прислал ему большой свиток, доставленный гонцом из Москвы. Князь с изумлением развертывал длинный столбец; казалось, конца ему не было. Это был ответ Иоанна на вольмарскую грамоту, ответ, которым царь желал постыдить, устрашить, повергнуть изменника в прах.

Много было в чертогах Иоанна толков, забот и труда при составлении этого ответного

послания. Здесь придуманы были все укоризны и обличения, какие только казались Иоанну и царедворцам его наиболее выразительными. В самом начале Иоанн славил верность Шибанова в укор изменнику. «Как не устыдишься раба своего, Шибанова, – писал державный. – Он соблюл свое благочестие и пред царем и пред народом; стоя при смертных вратах, не только же отвергся тебя, но хвалил и желал за тебя умереть. Ты не поревновал его благочестию! Для тела погубил душу; не на человека, но на Бога восстал. Бог велит повиноваться властям. Для чего же побоялся от меня, строптивного владыки, пострадать, устрашась невинной смерти? Такая смерть не есть смерть, а приобретение. Ты же продал душу за тело и клеветешь на нас. Кровию порога церквей мы не обагрим, мучеников за веру у нас нет; казнят чародеев, предателей, но таких собак везде казнят. Изменникам везде казнь и опала. И апостол повелевает страхом спасать! Ты пишешь, что убиенные предстоят у престола владычня, но суемудрствуешь. Бога никто же виде! Судьею приводишь Христа, не отказываюсь и я от су-

да Его. Он, Господь Бог наш, судья праведный, испытует сердца; все помышления наши во мгновение ока пред Ним наги и явны. От ока Его никто не укроется. Ты приводишь судью Христа, а отказываешься от дел Его. Забвенны тобой слова: солнце да не зайдет во гневе! Молитесь за творящих напасть! И не Божия земля изгнала тебя, ты сам себя от ней отлучил. Пишешь, что до дня Страшного суда не явишь нам лица своего, кто же и видеть захочет такое лицо эфиопское?..»

Пространно было послание, но еще мало казалось Иоанну: он дополнил его выписками из поучений Святых Отцов, указаниями на Священное Писание, древнюю историю и даже на баснословие, превращая письмо в целую книгу; наконец, заключил, что по слову: «с Безумным не множи словес», – не хочет более тратить речей с ним.

Прискорбнее всего было Курбскому услышать о том, чего он должен был ожидать: о неизменной верности и мученическом терпении Шибанова.

– Добрый слуга мой! – сказал он с тяжким вздохом. – Тебе подивится потомство! Мне

должно преклонить чело пред тобою. Желал бы я слезами омыть язвы твои! Но как мог я усумниться в Иоанне? По какой слепоте не видел я участи, ожидавшей тебя? Не обвинит ли меня потомство? Совесть моя вопиет сильнее укоров Грозного.

Впрочем, Курбский с жестоким удовольствием видел, что гневный Иоанн, желая высказать все, что хотел, ослабил силу своего ответа, до того увлекаясь многоречием, что сам обличал себя в поступках и чувствах, потемняющих славу венценосца.

– Да не порадуется Иоанн моим унижением! – воскликнул князь. – Пусть он услышит мое торжество, увидит брачный союз Курбского с знаменитейшим домом Литвы и Польши! Судьба разорвала союз мой с родиной. Погибло семейство мое! Пусть же буря бросит мой челн в новую пристань. Отныне я принадлежу Сигизмунду Августу.

Не прошло трех месяцев, как король Сигизмунд Август присутствовал в Вильне при бракосочетании княгини Дубровицкой; герб с изображением льва, окруженного цветочным венком, возвышался над воротами дома Курб-

ского. В православном храме, видя возле себя Елену, князь вспомнил Гликерию и непонятное предсказание Салоса; в то самое время оно исполнялось. В тихой Тихвинской обители княгиня Курбская произносила обет иночества; она более не жила для мира, а только для молитв, тогда как ожесточенный и виновный супруг ее готов был с войсками Сигизмунда Августа вторгнуться в пределы отечества.

Глава VIII. Встреча и разлука

Новгородец, которому сын Курбского был обязан спасением жизни, с радостью видел успех своих попечений. Юрий начал оправляться, хотя болезненная томность, следствие испуга и печали о разлуке с матерью, осталась надолго в лице его. Всю дорогу до Великих Лук, он пробыл почти в беспамятстве; в этом городе он стал припоминать постигшую его опасность, но не помнил того, как долго лежал под снегом. Мысль о матери исторгала его рыдания. Он не знал окрестностей эстонской хижины, да и новгородцу не представлялось возможности снова ехать в ту

сторону. Юрий не мог указать к ней дороги, и лес был так обширен, что нельзя было надеяться найти путь к бедной хижине; притом, помня завет матери и боясь нескромностью навлечь на нее опасность, Юрий решился не открывать о своем роде и сказал новгородцу, что он сын бедной вдовы, нашедшей пристанище у эстонцев, а отец его, отправясь в какой-то город, пропал без вести. Новгородец утешал его. Желая угодить Богу добрым делом, он оставил при себе Юрия, заботился о нем, как о родном, и, переезжая из одного города в другой, брал его с собой.

При всей юности своей Юрий не забывал слов матери, что от одного Бога можно ожидать верной защиты. Добрый сын усердно молился о ней; где бы ни был он, мысль его всегда обращалась к ней, везде недоставало для него матери, печаль о ней сделалась его болезнью. Новгородец старался рассеивать тоску его простодушными рассказами и приводил ему в пример себя, уверяя, что никто в свете не может быть совершенно счастливым.

– Во многих случаях, – говорил он, – мы

сами бываем виною скорби своей; мне также привелось расстаться с добрым братом, уже нет надежды увидеть его, но не случай разлучил нас, а мое неразумие.

– Как ты расстался с ним? – спросил Юрий.

– Я расскажу тебе, – отвечал новгородец, – выслушай и не ропщи на твой жребий. Один Бог знает, к чему ведет нас. Отец мой был новгородский купец и торговал с ганзейскими городами; честностью заслужил уважение, разумом добыл богатство. По Волхову ходили суда его, нагруженные чужеземными товарами. Дом его был как полная чаша; сундуки набиты цветными парчами, а ларцы золотыми корабленниками; праздничный стол ломился от серебряных чаш и блюд. У отца нашего было много детей, но осталось двое братьев: я, старший, да Никола, меньшей. Отец любил нас равно обоих, и мы любили друг друга. Все, что было у нас, делили мы поровну; каждый сладкий кусок пополам. Провинился ли я перед отцом, брат мой принимал вину на себя; ему ли дадут дело, я помогал в труде его. Отец хвалил нас; посторонние люди любовались нами и ставили своим детям в пример нашу

любовь и согласие. Бог наконец прекратил дни отца моего. Не успел он оставить по себе завещания, но мы уже были на возрасте; богатство шло в раздел. Все думали, что мы разделимся поровну, но враг душ человеческих, лукавый, позавидовал нам, ослепил глаза мои жадностью; жаль мне было делиться серебром и золотом, и тем более что брат по торговле скоро должен был жить розно со мною. Я охладел к нему, и он с удивлением заметил во мне перемену. Скоро начались между нами несогласия; дошло до ссоры, а там до вражды; я не хотел выделить брату ровную часть и ссылался на свое старшинство. Добрый брат обижался не тем, что я отнимал у него часть имения, но жаловался, что я переменялся в любви к нему; упрашивал меня со слезами не льститься на богатство к обиде, не менять дружбу на золото. Жестокое сердце мое окаменело корыстолюбием; я не трогался его просьбами, а упреки раздражали меня. Наконец брат, видя, что старание его безуспешно, пришел ко мне и сказал: «Когда тебе нужно богатство, а не брат, то владей всем; оставляю тебе имение; не возь-

му ничего; Бог с тобою, только не сердись на меня и прости, в чем я виноват пред тобой!» Сказав сие, брат мой заплакал и поклонился мне в ноги. Жалко мне стало его, но лукавый скрепил мое сердце. Промолчал я, а брат вышел и не приходил больше; я его не видел в тот день. На другой день он тоже не приходил ко мне. Сказали, что вчера еще вышел из дома. И вечером он не возвратился домой; я стал тосковать о нем, начал спрашивать, отыскивать, но брат пропал без вести. Нет о нем слуха! С тех пор богатство опостылело мне, совесть как змея на сердце. Много было потерь и убытков, а все еще много с меня осталось. Вспомнил я любовь брата моего, вспомнил наше прежнее счастье и слова отца, утешавшегося нашим согласиём. Не знаю, жив ли брат и где он теперь; если он жив, то, верно, в нужде и бедствии, а я живу в избытке, но страшусь суда Божия и охотно бы поменялся богатством моим на рубище моего брата, лишь только бы увидеть его и прижать к сердцу, родного!

Так рассказывал Никанор-новгородец Юрию.

Между тем польское войско, предводительствуемое Курбским, подвигалось к Великим Лукам и роптало на нерешимость вождя. Медленность в движении полков не оправдывалась в глазах поляков молвы о быстроте и отважности князя. Курбский чувствовал, что идет по русской земле: одно мщение сроднило его с Польшей. Увлекаемый стремлением ненависти, Курбский желал ужаснуть Грозного, окружить его смутами и опасностями, но страшно было пробуждение совести несчастного вождя! Ступив на русскую землю, он узнал, что сердце его не могло отторгнуться от отечества, которому некогда посвящена была жизнь его, труды, победы и раны. Таковы плоды измены! Человек, понимая свое бедствие, на пути мрака не имеет силы возвратиться к свету, падает, и темная глубина бездны охватывает жертву; взор его стремится к высоте, но дорога светлого пути для него уже недоступна. Курбский мог со славою умереть невинно, но измена свершилась: одно преступление ведет к другим. Приняв почести от Сигизмунда, в укор Иоанну, он не мог отказаться от начальства над войсками; пред-

водительствуя врагами России, стал врагом родной своей страны. Но рука, привыкшая к победам, не осмелилась разразиться грозой над отечеством; каждый шаг вперед укорял его в измене; он обессилел этим чувством и старался уже отвращать бедствия, навлекаемые им на Россию, желая устрашать Иоанна только призраками опасности.

Войско роптало и ослушалось повелений вождя. Поляки хотели потешиться разорением русских сел и городов.

Русские полки встретились с неприятелями близ Великих Лук. Поляки стремились пробраться в богатый Великолуцкий монастырь; давно они желали добычи. Сошлись противники, завязалось сражение, и Курбский не мог остановить убийственной сечи. Поляки порывались к монастырским стенам, но град камней со стен, туча стрел из луков и дождь пуль из ручниц и пищалей отразили всадников; они скоро опомнились и с неистовою яростью понеслись на русские отряды, защищавшие монастырь; счастье послужило им: русские смешались и отступили в беспорядке; к большому ужасу их, Курбский пока-

зался на холме мрачный, грозный, подобно вестнику смерти, духу мщения. Увы, не знали они, что сердце его тогда дрожало за русских.

– Не устоять против этого зверя! – кричали русские воины, рассыпаясь в бегстве; между тем несколько человек кричали ему: – Предатель! Изменник! Судит Бог тебе за кровь русскую!

Уже разрушались монастырские стены, и сквозь проломы побежали отчаянные иноки, падая под мечами врагов.

– Прекратите, прекратите убийство! – кричал Курбский.

Но поляки не слушали слов его; в страшном смятении смешались вопли жертв и крик поражающих; уже две церкви пылали; пламя охватило монастырскую кровлю; с треском раздробились стропила высокой колокольни, и звон падающих колоколов раздался среди дыма, пожара и звона мечей. Курбский видел, как святые иконы падали из рук трепещущих старцев, как русская кровь брызгала на золотые венцы и оклады. Душа его содрогнулась; он не вытерпел и бросился наказать непокорных, не внемлющих его по-

велениям. Поляки с изумлением остановились. Вдруг он замечает в толпе русских знакомое лицо. Курбский узнает своего сына, бледного, испуганного, покрытого пылью, обгаренного кровью... Юрий узнает отца, простирает к нему руки, но в эту минуту внезапно подоспевший полк башкирских стрельцов разделяет отца с сыном, пронесшись между русскими и поляками.

– Спасите, спасите этого отрока! – кричит Курбский воинам и спешит добраться до Юрия; множество ратников падает около Курбского, уже бегут от него с трепетом свирепые башкиры и татары, кидая луки и сабли; уже в оцепенении повергаются пред ним его пленники, но он более не видит сына. Тщетно Курбский, озираясь вокруг, зовет его: радостные крики поляков заглушают голос вождя. К нему теснятся с поздравлениями, но князь не слышит приветствий; он ищет сына. Но Юрий уже далеко. Новгородец Никанор увез его.

Битва закончилась. Поляки грабили окрестности и искали монастырские драгоценности, дымящиеся развалины церквей

свидетельствовали о жестокости врагов и упорной защите обители.

Глава IX. Братья

— И так, князь Курбский — отец твой? — спросил новгородец Юрия. — Отчего прежде ты не сказал о том?

— Ах! — отвечал Юрий. — Мать запретила мне говорить об отце моем, иначе мы можем погибнуть.

— Правда, — сказал Никанор, — если узнают, что ты сын Курбского...

— Зачем не допустил ты меня к отцу моему? — спрашивал Юрий.

— Бедный Юрий! — отвечал новгородец. — Ты мог бы погибнуть и от русских и от поляков на пути к отцу; я должен был увести тебя от мечей, отовсюду грозивших нам. Не знаю, что будет с тобою; может быть, Бог приведет тебя к родителям, но нужно молчать о твоём роде. Жизнь моя по торговле заботлива, езжу из места в место; не знаю, кому доверить тебя. Теперь мне нужно отправиться в Псков, пробуду там две недели; есть у меня добрый знакомец, купец Заболоцкий; мы у него при-

станем.

Скоро прибыли они в Псков, и ласковый Заболоцкий принял старого знаконца с радушием. Новгородец, не открывая ему, каким случаем он нашел Юрия, сказал:

– Это сирота, сын русского боярина, не имеет пристанища, ни ближних, ни знаемых; я желал бы поместить его в монастырь, где бы он мог быть послушником; он же грамотен.

– Видно, что боярский сын, – сказал Заболоцкий, – в монастырях грамотным рады, оставь его у меня, я отвезу его в Печорскую обитель. Благословенное место, город, а не монастырь; поглядел бы ты, как она украсилась.

– Давно не бывал я там, – отвечал Никанор.

– Поезжай в Госпожинки; ведь Успенье-то – храмовый праздник.

– Знаю, я там слушал заутреню в подземном соборе, молился в Святой горе, и Богозданную пещеру осматривал, бродил по ископаным улицам, а полдничал в дубовом лесу на Святой горе.

– Теперь там садят плодовые деревья, – сказал Заболоцкий, – а стену то мы вывели кругом всей обители. Есть чем похвалиться, послужили игумену Корнилию!..

– Да и ты приложил немало, – сказал Никанор.

– Зато на каменной-то стене десять башен построили, в ограде трое ворот, а над святыми воротами церковь.

– Слухом земля полнится. Печорская обитель тверже крепости.

– Да, нескоро возьмут немцы или Литва. Пусть попытаются подступить, так их кольями со стен закидают. Сам государь пожаловал в обитель серебра и золота; недавно прислал свою цепь золотую, два ковша серебряных, да оставил на память свою вилку, а Иван-царевич пожаловал серебряный ковш.

– Помнится, – сказал Никанор, – был в ризнице перстень царицы Анастасии Романовны?

– Как же, сама сняла с руки и отдала отцу ризничему, а перстень-то с надписью ее имени и с лазоревым яхонтом, и к чудотворной-то иконе привесила шитую золотом пеле-

ну своего рукоделия, а князь Курбский из ливонского похода прислал позолоченный бокал.

Юрий тяжело вздохнул; Заболоцкий оглянулся, спросил его, о чем он вздыхает.

– Как бы хотел я там помолиться, где бывал отец мой.

– Бог – отец сиротам, – сказал Заболоцкий, – не оставит и тебя. Чудны судьбы Господни! Прославилась Печорская обитель. А знаешь ли, как она основалась? Был отшельник; неизвестно, откуда пришел он в то место; неизвестно, сколько лет прожил там и когда отошел к Богу, известно только, что он жил в горной пещере и назвал ее Богозданною. Прошло много времени, когда двое ловчих, гонясь в лесу, пришли на то место, где стоит ныне церковь Владычицы; вдруг послышалось им сладкое пение, как будто ангельские голоса, и вокруг разливалось благоухание. Удивленные ловчие рассказывали о том окружающим жителям, но ничего там не видели, кроме горы и дремучего леса, а случилось, по многих годах, владельцу того места поселиться в надгорье у речки, и рубил он лес на горе,

подсек превысокий дуб, покатился тот дуб на другие деревья, на край горы с такою силою, что с корнями их выворотил; тогда вдруг увидели отверстие глубокой пещеры и над нею надпись на камне: пещера Богозданная.

– А кто же соорудил церковь подземную? – спросил Юрий.

– Священник из Юрьева. Терпя обиды от немцев, он переселился во Псков, а оттуда перешел в пещеру; полюбив пустынное место, он первый начал копать церковь в горе, поставил на столбах две кельи; тут Бог привел ему и постричься. Лет девяносто прошло, осветили пещерную церковь; старца-священника давно в живых не было, но видно, что был богатырской силы; на теле его найдена под рясой кольчуга. А всего более послужил обители дьяк Мисюрь; его волостными и казною прокопана гора в самую глубину, и обитель-то основал он, провел ручей-каменец сквозь нее, подняв воду на гору, и с той поры славна стала обитель Печорская. Сказать правду, последний раз слушая там благовест большого колокола, я прослезился...

– Отчего же, друг? – спросил Никанор.

– Два года, как тот колокол прислан от воевод по взятии Вельяна, а с той поры из воевод немного осталось: Адашевых поминай, Петра Шуйского тоже, Курбский в Литве, людская жизнь переменчивей звука, а колокол все по-прежнему благовестит!

Вдруг послышался звон колокольчика под окнами Заболоцкого.

– Что это? – спросил с удивлением Никанор.

– Это наш Никола-юродивый; разве ты не знал о нем?

– Слышал много и желал бы увидеть его. Не привелось с ним встречаться, когда бывал он во Пскове.

– Он святой человек, – сказал Заболоцкий, – кто что ни говори, а его слово даром не пропадет. Теперь он ходит, собирает подаяние на разоренных пожаром и многим помог, но вот он идет ко мне на крыльцо; ты увидишь его. Это он стучится.

И Заболоцкий пошел встретить Салоса.

– Рад доброму гостю! – сказал он, вводя его.

– Хорошо, у кого для добра всегда время есть, – сказал Салос.

Никанор рассматривал юродивого и, казалось, был поражен его видом; в волнении души он закрыл рукою глаза, как будто бы видел в нем своего обличителя, но это было минутное движение, он задрожал и, снова устремив на него глаза, сказал:

– Какое сходство, таков был мой брат Николай.

– Все люди – братья, – сказал Салос, простерши к нему объятия, – а братья живут в несогласии, но Бог всех примирит! – Салос обнял Никанора; слезы покатались из его глаз.

– Ты плачешь, старец? – спросил Никанор.

– Оба мы старцы, – отвечал Салос, – а за двадцать лет еще цвела наша жизнь; не от радости побелели наши волосы, а на радость мы свиделись.

– Возможно ли? – сказал Никанор. – Неужели ты мой брат, Николай?

– Я был Николай бедный, а ты Никанор богатый; теперь я Николай богатый, а ты Никанор бедный.

– Так, бедный, – воскликнул Никанор, орошая слезами руки его. – упреки совести – истинная бедность! Брат мой, прости меня!.. – И

он хотел упасть к ногам Салоса, но Никола не допустил и, благословляя брата, сказал:

– Тот богат, кто примирится с совестью; ты раскаялся, я благословляю тебя именем Небесного нашего Отца!

– Брат мой! – продолжал Никанор. – В каком виде я встречаю тебя? Это рубище! Эта веревка...

– Одежда братии Христовой, – сказал Салос, – рубище на теле – одежда для души, покров от суеты мира, а веревкой я связал тело, чтобы грехи не связали душу.

– Приди, возьми твое достояние, – сказал Никанор, – приди в дом брата; возьми все, что желаешь! Ты молчишь, брат мой, разве ты навсегда от меня отрекся?

– Никанор, – сказал Салос, – ты найдешь меня в каждом, кому прострешь руку помощи, а я не забуду тебя там, где сокровища ни тлеют, ни ржавеют.

– Для чего ты ведешь жизнь скитальца и осудил себя на бедность и нужду?

– Боюсь ржавчины, Никанор, она ко всему пристаёт. В довольстве да в роскоши тело светлеет, да душа ржавеет; а ведь Бог смот-

рится в душу человеческую! В темной душе не видать образа Божия.

– Жаль мне тебя, брат Николай!

– Брат Никанор, веселись обо мне! Я летаю, как птица под небом, во свете Божия солнца. Не тяжелы мои крылья, крепок мой посох!

– Оставя брата, ты искал Бога, – сказал Заболоцкий.

– И Бог возвратил мне брата, – сказал Салос, – и дает еще сына. Кто этот отрок? – спросил он, указывая на Юрия.

– Несчастный сирота, найденный мною в лесу.

– Он твой сын! Благодетель отец сироты; но он и теперь еще в диком, дремучем лесу, на каждом шагу опасность, звери грозят растерзать его.

– Как же спасти его?

– Отдай его мне; я буду бродить с ним по полю; под деревом опаснее гроза. Поди ко мне, отрок, Бог тебя посылает ко мне!

Юрий взглянул на Салоса, подошел к нему и почтительно поцеловал его руку.

– Но какой будет жребий его? – спросил Никанор.

– Именем Божиим говорю тебе, отдай его мне и не спрашивай отчета от Провидения Божия.

Эти слова превозмогли нерешимость Никанора. Он взглянул на Заболоцкого, желая узнать его мнение...

– Пусть будет, что угодно Богу! – сказал Заболоцкий.

– Юрий! – воскликнул Никанор. – Вверяю тебя моему брату, повинуйся ему с сыновней любовью.

– И я буду отцом тебе, – сказал Салос Юрию, – и укажу тебе путь к Отцу твоему.

Радость блеснула в глазах Юрия.

– Время придет еще, – сказал Салос, – но и не возвращается время. Должно спешить на добро, чтобы поспеть в дом родительский, пока не заграждены врата. Брат Никанор, друг Павел, юный Юрий... Нас всех ждет Отец наш. Он призывает нас; смотри, сколько светильников зажжено Им во время ночи, чтобы мы не сбились с дороги, а мы идем ли к Нему? О, если бы все мы свиделись в доме Его! Пойдем туда, Юрий; держись, отрок, за руку старца!

Салос повел Юрия, безмолвно за ним сле-

довавшего. Никанор и Заболоцкий не смели его удерживать, но слезы катились из глаз их; они чувствовали присутствие чего-то таинственного, святого и в юродстве Салоса примечали стремление души, отделившей себя от сует, разорвавшей цепи страстей. Они провожали Салоса за ворота. Тут, осеня их знаменем креста, он удалился с Юрием.

В семи верстах от Печорской обители стояло несколько крестьянских дворов, окруженных цветущими лугами и желтеющими нивами. Быстрый ручей отделял нивы от сенокоса, а вдалеке между холмистых возвышений виднелось озерко, как голубое зеркало, отражая в чистых водах своих лазурь небес; золото жатвы, покрывающей прибрежные пригорки, казалось блестящим его украшением. На одном из пригорков спал юный отрок; возле него стоял почтенный старец, опершись на посох.

– Пора вставать, Юрий, проснись, мой сын, – сказал он. – Божие солнце давно уже для тебя светит, а ты еще спишь.

– О, как приятно уснуть на заре! – сказал

отрок, открыв глаза. – Прости меня, отец мой; вчера я устал от ходьбы...

– Бойся не усталости, но отдыха; есть всему час; солнце вчера обошло все небо и устало в пути, а сегодня опять вошло в свою пору.

– Прекрасное утро, отец мой! Как ярко сияет солнце! Посмотри, поле так и блещет; птички весело кружатся по светлому небу, а на горе-то как будто алмазная полоса на царской одежде.

– А если бы солнце захотело отдыхать так же, как ты, то еще все было бы темно. Ни одна бы птичка не вылетела из гнездышка; озеро покрывалось бы черной пеленой. Стыдно, Юрий, человеку спать, когда уже Бог выслал для него свое солнце. Зачерпни воды из источника; омой лицо, чтобы оно было чисто, а душу освяти молитвой, чтобы провести день непорочно. Вчера подсадовал ты на грубых крестьянских детей: доходило до ссоры; а всякая ссора темное дело! Берегись, Юрий, чтобы солнце не увидело темных дел; стыдно будет взглянуть на него.

– Как теперь, отец мой, хороши цветы в поле. Вчера вечером они, казалось, поблекли.

– Они дремали, – сказал Салос, – а теперь всякий цветок пробудился; все они стоят и смотрят на Божие солнышко; каждый из них бережет мед для пчелы и сладкий сок для мотылька. Сорви этот цветок.

– Нельзя приступиться к нему, у него иглы колючие, а вокруг крапива.

– Хорошо. Не прикасайся же ко всему, что может уколоть твою совесть; собирай для души цветы, не примешивая терновника, а если злые люди обидят, не плати злом людям злым, чтобы не быть похожим на них. Они жалки, сын мой, они люди слепые!

– Однако же видят, – сказал Юрий.

– Смотрят, а не видят, сын мой. Все вокруг их говорит им, что лучше быть добрыми, но они слепы и глухи. Ты вчера возмутил воду ручья; в ней стало не видно солнца; теперь же смотри, как тихие воды реки светло сияют. Тихая душа радуется; в мирной душе свет Божий, а злой человек – возмущенная вода, в которой не видно ни солнца, ни неба. Помни и то, что бегущая вода светла, а стоячую закрывает тина. Берегись праздности!

– Какой вчера был тихий вечер, отец мой.

– Да, и человек должен быть подобен вечерней тишине или утреннему спокойствию в час рассвета. Шумен и зноен полдень. Жалки люди, бегущие под вихрь! Вихрь ослепляет пылью, лучше оставаться под мирным кровом. Теперь мы недалеко от селения.

– Вот бедные дома, – указал Юрий.

– Ты не знаешь, кто беден, кто богат, – сказал Салос. – Здесь трудятся в смирении. Хлеб в трудах сладок, а смиренный пред Богом высок! Смотри, дети играют на травке; нарви цветов и сплети два венка; я хочу подарить детям. Мне больше нечего дать им.

Юрий бросился срывать васильки, во множестве растущие по сторонам дороги, проложенной между двумя полями.

– Ты сорвал васильки; хорошо, Юрий! Какие цветы собираешь, таков и венок твой будет; каковы дела, такова и награда.

Скоро Юрий сплел два венка и подал их Салосу. Старец и Юрий приблизились к играющим детям. В это время один из них начал бранить другого, но скромный мальчик отошел, промолчав. Салос подозвал его к себе и наложил васильковый венок на его белоку-

рые волосы.

– Прими венок кротости! – сказал он.

Мальчик улыбнулся и весело побежал к товарищам.

– Ах, какой красивый венок! – закричали дети.

– Кто тебе дал его? – спросил старший брат.

– Вот этот добрый старик, – отвечал мальчик, указывая на Салоса.

– Отдай мне венок.

– Ах нет, он так хорош, мне жалко расстаться с ним.

– Уступи мне, я твой старший брат!

Мальчик снял с себя венок и отдал брату.

– Вот венок послушания, – сказал Салос, подойдя к нему и подавая ему другой прекрасный венок. – Бог подаст тебе третий венок за добродушие и любовь братскую! И ты люби каждого из братьев твоих, – добавил он, обратясь к Юрию.

– У меня братьев нет! – сказал Юрий, вздыхая.

– Каждый человек брат твой. Для доброго сердца никто не чужой. Слышал ли ты о старце Феодорите?

– Слышал и помню, что он навещал нас, когда мы жили в Москве.

– А видал ли ты лопарей?

– Нет, не видывал.

– Эти люди живут у Белого моря, в сторонах бесплодных, холодных, где солнышко – редкий гость; но Феодориту и они не чужие. Старец каждый год навещает их, как братьев, и любят они его, как дети отца.

Справедливо говорил Салос, и дивны были странствия Феодорита. В то время уже на берегу Белого моря, близ устья реки Колы, виднелось на холме несколько изб, огороженных частоколом. Над одною из них надстроена была деревянная башенка с остроконечной кровлей, над которою в железном яблоке утвержден был крест. Такова была обитель, устроенная благочестивым Феодоритом, куда стекались крещенные им бедные и добродушные лопари не столько для молитвы, сколько для получения подаяния. Видя служение и обряды церковные, они с младенческим смирением слушали наставления старцев и мало-помалу отвыкали от своих суеверий. Каждый год они с нетерпением ожидали приезда

Феодорита, как появления летнего солнца, зная, что к празднику Благовещения Феодорит приезжал в любимую обитель к своим диким питомцам. Ни трудность пути от Вологды чрез дебри и тундры, ни зимний холод северных пустынь не удерживали его; старец приезжал к своим детям духовным в известное время.

В год бегства Курбского лопари по-прежнему ожидали прибытия Феодорита и, оставляя свои юрты, отовсюду собирались толпами в Кольскую обитель. Одни в дар усердия тащили инокам мешки с мерзлой рыбой, другие, приютившись в шалашах, сложенных из хвороста и занесенных снегом, поглядывали в ту сторону, откуда обыкновенно приезжал добрый наставник их.

В ясный полдень услышали они издалека бег оленей по хрупкому снегу и, едва заметили старца, сидящего в санях, как с радостными криками бросились навстречу к нему, махая остроконечными шапками и кланяясь ему в пояс. Беловласый, еще бодрый старец, отряхав снег с теплой одежды своей, приветствовал их. Он благословлял их и раздавал им

в дар разные необходимые для них мелочи. Лопари выражали шумными восклицаниями радость и благодарность. Отпрягши оленей, они последовали за Феодоритом в обитель.

Старец спросил, не разучились ли они читать по изобретенным для них письменам Святое Евангелие?

– Нет, отец, – отвечали они, – мы твердо помним каждый знак твой. Как жаждущий пьет струю из реки, так мы читаем слово святое.

Несколько дней провел Феодорит в обители, беседуя с добрыми дикими людьми и наставляя их в истинах веры. Но по возвращении в Вологду спокойствие старца было возмущено дошедшим известием, что князь Курбский, духовный сын его, бежал в Литву от Иоаннова гнева.

Феодорит любил Курбского и, еще незадолго перед тем, просил Иоанна снять с доблестного вождя опалу. С глубоким прискорбием старец послал Курбскому строгий завет, чтобы он вспомнил свой долг пред отечеством и, бежав от временной кары, не стремился бы в вечную гибель.

Курбский оправдывался пред Феодоритом, но письмо его уже не застало старца в пúстыни. Феодорит уехал. В то время Малюта напомнил Иоанну о преданности Курбского Феодориту и о заступничестве старца за князя. Более не видали Феодорита ни в Коле, ни в Вологде.

Глава X. Обманутые ожидания

Курбский оставил воинский стан. Мало-помалу силы князя восстановились, но спокойствие не возвратилось к нему. В довершение прискорбия он скоро получил письмо из Нарвы от преданного ему окольного Головина и узнал, что Гликерия еще жива и постриглась в Тихвинской женской обители. Курбский с мукой читал эти строки. Он уже супруг другой жены, а Гликерия жива! Жива, для укора его совести! Одна мысль осталась ему в утешение, что княгиня нашла приют под кровом веры. Жребий сына остался для него в неизвестности. Окружающие Курбского замечали в князе необыкновенную перемену. Скрывая скорбь в душе, он стал угрюм, молчалив; сердце его отвратилось от удоволь-

ствий; он искал уединения. Там только он мог отдохнуть от тоски, его удручающей.

Гордая Елена обманулась в честолюбивых своих ожиданиях. Долго она не могла объяснить себе тайной скорби князя и полагала, что уныние его было следствием страданий от ран и разлуки с сыном, нечаянно встреченным и, вероятно, погибшим в битве. Однажды, застав князя, перечитывающего письмо Головина, она увидела слезы в его глазах. Изумленная нечаянным открытием, что Гликерия Курбская жива, Елена не могла скрыть чувство негодования. До нее дошли уже слухи, что Гликерия была дочь бедного стрельца; воспоминание Курбского о прежней жене его оскорбляло ее; в глазах самолюбивой Елены не было извинения Курбскому. Ей казалось, что избранный ею должен был пожертвовать всем и что, способствуя его возвышению, она вправе быть единственным предметом его любви. В гордой душе Елены не было сострадания.

– Я не хочу мешать счастью князя Курбского, – сказала она насмешливо. – Если он желает, то властен возвратиться в Московию,

ехать к воскресшей супруге своей.

Курбский не отвечал, но взор его блеснул негодованием; сердце его отвратилось от Елены.

Тяжко было ей отказаться от обольстительных надежд; тяжело было и Курбскому видеть в супруге своей совершенную противоположность кроткой, добродушной, покорной Гликерии. Холодность заступила место угождений, семя раздора развивалось.

Елена надеялась еще торжествовать над ним и, призвав на помощь женское очарование и светское искусство, старалась возбудить в Курбском ревность, но чем более принимала вид рассеянности, чем более показывалась при роскошном дворе Сигизмунда Августа, тем более Курбский чувствовал незамеченность своей потери. Не отвыкнув еще от обычаев отечества, он почитал непременно долгим жены смирение и преданность супругу, заботливость о семействе и о доме, святость верности и, видя различие нравов в Ливонии и Польше, не столько привык извинять, как презирать легкомыслие в женщине.

Иосиф Воллович был почти ежедневным

гостем в доме Курбского и спутником княгини и прекрасной ее племянницы на блестящих варшавских вечерах. К удивлению Елены, Курбский как будто не замечал заботливости ее об Иосифе, и то, что по расчетам ее должно было возбудить в князе ревность, возбуждало в нем только равнодушие к ней. Он перенес уже столько несчастий, что не считал злополучием непостоянства Елены и предоставил ей тщеславиться преданностью молодого Волловича.

Курбский охладел к воинской славе, но был деятельным участником в совещаниях короля. Иногда любовь к отечеству готова была погасить в нем чувство мести, но часто оно воспалялось сильнее при вести о новых кровавых событиях в Москве. Курбский услышал, что знаменитый друг его, боярин, потомок суздальских князей и некогда путеводитель Иоанна к победам, князь Александр Горбятый, по наветам Басмановых, осужден был на казнь вместе с сыном. Сердце Курбского трепетало при рассказе, как сын спешил опередить отца, склонив голову под меч, но старец отстранил юношу, чтобы не быть свидетелем

его казни и, благословя сына с любовью, пал, предав себя Божией воле. Юноша, наклонясь к отсеченной главе отца, принял ее в объятия, поцеловал и, полный веры и упования, славил Бога Спасителя за то, что суждено ему окончить земную жизнь неразлучно с отцом и невинно, как невинно потерпел Агнец Божий. «Господи, прими души наши в живоносительные руки Твои!» – было последним словом его.

В то же время, узнав о кончине Сильвестра в его заточении, Курбский стремился навлечь бурю на Грозного, желал лишить Иоанна опоры в знаменитейших его вождях и боярах. Веря молве о ропоте Мстиславского, Воротынского и других на учреждение опричников, Курбский советовал Сигизмунду склонить их соединиться для избавления себя и отечества. Король, со своей стороны, готовый не щадить никаких пожертвований для привлечения их к себе, благодарил Курбского за совет, который скоро пал тяжким бременем на совесть изменника. Рассылая тайные письма знаменитейшим из московских бояр, испытывшим тягость Иоаннова гнева, король надеялся при-

влекь их примером Курбского, и пылкий князь верил по слухам и по своим чувствам, что гонимые Иоанном ждут только случая избавиться от его ига.

Ожидания Сигизмунда Августа и мысли Курбского не оправдались. Получив письма, Воротынский, Мстиславский и другие единодушно говорили: «Все, что имеем, имеем от Бога и государя; все ходим под Богом и под царским смотрением; благоденствуем, когда царь благоденствует; грозен во гневе он, но терпение наше заслужит нам Божию милость».

Говоря так, они решили не оставлять Сигизмунда без ответа, гордо исчисляя все свои титулы, подвластные им области и удельные свои города. Гонец с письмами их поспешил в Гродно, где находился король.

– Ты обманулся, князь, – сказал король Курбскому, краснея от негодования. – Бояре московские поругались над моим предложением. Дерзость их неимоверна. Они издеваются надо мною, величая себя наместниками и державцами, а меня братом своим, и чрез несколько строк прокуратором, фальшером,

лотром[22]. Я предлагал им избавить их от ига; они отвечают, что где нет твердой воли в царе, там нет прочности в царстве; я обещал Воротынскому и Мстиславскому целые области в дар, а они, насмехаясь, просят от меня городов по Днепру, всю Волынию и Подолию и приглашают идти под Иоаннову власть. И старик, о котором я так много от тебя слышал, боярин и воевода Полоцкий, выжил из ума; он пишет, что тешить меня скоморошеством не учен. Посмотри сам, как величает тебя Воротынский. – И король подал Курбскому письмо Воротынского.

Курбский горестно улыбнулся.

– Я обманулся в них, государь, – сказал он Сигизмунду Августу. – Они привыкли к своему бременю.

– Пусть же будут жертвами Иоанна! – воскликнул король.

– По крайней мере, государь, на жизни их не будет пятна, – сказал Курбский, тяжело вздыхая.

– Ты снова, князь, предался мрачным мыслям. Здесь нашел ты отечество, достойнейшее тебя; видишь благоволение наше и можешь

чувствовать, что для просвещенного мужа счастье там, где человечество счастливо.

– Государь! Бог не дает на земле двух жизней; не найдем и другого отечества. Ты усыновил меня Польше, а России усыновил меня Бог. Я люблю и чту тебя, государь, ты осыпал меня щедротами, но здесь для меня нет полного счастья; не найду его в почестях и в богатстве, не находя спокойствия в душе.

– Иоанн будет и оправданием твоим. Ты хочешь постыдить, укротить его. Другие терпят и гибнут с позором.

– Нет, государь, – возразил Курбский, – свято терпение их! Они чтут власть, от Бога поставленную. Достойный муж! – продолжал он, смотря на письмо Воротынского. – Завидую твоей любви к отечеству, смиряюсь пред благородным твоим негодованием!

Король с удивлением посмотрел на Курбского; он не ожидал такого после оскорбительных выражений в письме Воротынского, укорявшего беглеца и предателя.

– Государь, – сказал Курбский, – я дал обет служить тебе и сдержу свято; но мудрый король простит признанию сетующей души мо-

ей.

Сигизмунд Август почувствовал справедливость слов Курбского и с того времени более употреблял его в совещаниях, нежели в предводительстве польскими войсками. Напрасно зависть польских вельмож распространяла злоречивые толки и старалась поколебать в короле благосклонность к Курбскому. Сигизмунд Август узнал его достоинства, и князь сумел заслужить его доверие.

Но и Волловичи быстро возвышались. Евстафий открывал себе блистательный путь. Его деятельность, проницательность, искусство соглашать людей разных мнений, стремление к славе отечества приближали его к высокой степени великого канцлера литовского. Молодой Иосиф при помощи своего брата, Елены и Радзивиллов также скоро стал любимцем Сигизмунда. Счастье дает новое направление уму; в сладкоречивом певце открылись достоинства человека государственного. Елена гордилась возвышением Иосифа и, чтобы заставить молчать злословие, согласилась уступить своего любимца племяннице.

Между тем Курбский предлагал Сигизмунду Августу средство держать в тревоге Иоанна, и сам Грозный начал искать мира. Король, дав во владение Курбскому богатый округ с городом Ковелем и, в досаду Иоанну, почтив пришельца достоинством князя Ковельского, показал недоброжелателям князя неверность их замыслов. Наговоры друзей Елены возбуждали только временно неудовольствие короля при слухе о семейных несогласиях Курбского. Отклоняясь от них, Курбский большую часть года проводил в замке, подаренном ему королем.

Сигизмунд Август, утомленный заботами о войне, не отклонялся от переговоров о мире с Иоанном и спешил в Гродно, ожидая московских послов.

Когда послы вошли в гродненский дворец, Курбский, сидевший на правой стороне близ королевского трона, обратил на них взгляд, и в ту же минуту упрек совести уязвил сердце его. Он почувствовал пред ними свое унижение.

Послы Иоанна с твердостью и важностью приблизились к трону короля, почтили Си-

Сигизмунда Августа приветствием и поклонились вельможам, сидевшим влево от трона, не обратив внимания на сидящих с другой стороны знатнейших панов рады. Послы знали, что на этой стороне сидел Курбский, и не хотели смотреть на изменника.

Оскорбленный пренебрежением, князь Ковельский побледнел. Пред ним были бояре, некогда преданные ему и любившие его, а теперь они почитали преступлением взглянуть на Курбского. Насмешливый шепот и переговоры сидевших возле Курбского польских вельмож не столько тревожили его самолюбие, как невнимание соотечественников. Минувшие дни его славы представились его воображению; он ужаснулся, подумав, что погубил изменой плоды всех своих подвигов, и позавидовал неукоризненной твердости добрых бояр, хотя в отечестве и над их головами висел меч Иоанна.

И в присутствии Курбского русские послы, пред лицом Сигизмунда, смело требовали именем Иоанна выдачи московского изменника как свидетельства согласия на мир, которого желал Сигизмунд. Курбский не сму-

тился и, обратив взгляд на короля, спокойно ожидал его ответа. При малейшем сомнении в праводушии Сигизмунда Августа он первый готов был предать себя Иоанновой мести.

– Если брат мой, царь московский, желает мира, – отвечал Сигизмунд Август, – пусть предложит он другие условия. Мы дали прибежище пришельцу и не знаем изменника. Чтя доблести князя Курбского, мы приблизили его к нашему трону и хвалимся его заслугами. Здесь нет московского боярина, вы видите князя Ковельского.

Послы, не возражая королю, подали ему грамоту Иоанна, а приверженцы Курбского с торжеством посмотрели друг на друга.

Наконец московский посол на совещании с литовским канцлером должен был увидеть Курбского, но смотрел на него, как на незнакомца.

– Колычов не узнает меня? – спросил Курбский, приблизясь к нему.

– Я знал Курбского под Казанью, – отвечал Колычов, – и не знаю его в Литве. Я чтил защитника России, но не хотел бы видеть врага отечества.

– Иоанн отлучил меня от отечества. Господь судья ему.

– Измена твоя, – возразил Колычов, – не вредит ни славе, ни счастью великого государя. Бог дает ему победы; тебя казнит стыдом и отчаянием.

– А вы благоденствуете ли с опричниками? – спросил Курбский.

– Не знаем опричников. Кому велит государь жить близ себя, тот и близок к нему, а кому велит жить далеко, тот и далек. Все люди Божьи да государевы.

Так говорил Колычов по наказу Иоанна; но могло ли быть тайною, что Иоанн, в слободе Александровской со своими опричниками отстраняясь от народа и царства, учредил себе обитель, в которой избранные из любимцев его составляли братию, а сам Иоанн был за игумена. Опричники стали ужасом царства; не было пределов и меры их дерзости и самовластию.

Курбский думал, что Иоанн, истощив всю силу укоров в письме к нему, желал знать, как подействовали они; в таком случае, казалось, московские послы могли бы передать

царю ответ его отступника. Ответ Курбского был уже готов и начинался словами: «Широковещательное и многошумящее писание твое принял; послание безмерно пространное и нескладное, не только ученым мужам, но и простым, даже детям на удивление и смех; особенно в чужой земле, где есть люди искусные и в грамматических, и в риторских, и в философских учениях». Краткий ответ Курбского заключался тем, что он хотел и мог бы отвечать на каждое слово Иоанна, но удержал руку, возлагая все на Божий суд, зная, что неприлично рыцарю спорить подобно рабу.

Никто из послов не дерзнул взять на себя доставление ответа Курбского. Князь должен был ожидать благоприятного случая.

Вскоре Курбский узнал о новых жертвах подозрений Иоанна и искал свидания с королем. Сигизмунд Август занемог сильным припадком подагры; но чрез несколько дней князь был приглашен к нему в гродненский дворец. Королевские пажи сказали ему, что Сигизмунд Август в саду.

Летний день освежался легким ветерком; озеро, обсаженное густыми тополями, струи-

лось зыбью; цветы пестрели на дорожках и окружали столбы павильонов. На уступах террасы невдалеке слышался тихий звук лютни; Курбский приблизился; голубые шелковые завесы между столбами павильона были отдернуты, и в углублении князь увидел короля в испанском платье, отдыхающего на бархатной софе. Облокотясь на атласную подушку, Сигизмунд Август дремал; две розы выпали из руки его; на пестром агатовом столике лежала виноградная кисть возле большого хрустального бокала, в котором отсвечивалось золотом несколько оставшихся капель венгерского вина. Больная нога Сигизмунда, страдавшего подагрой, опустилась на табурет; у изголовья сидела прелестная певица, тихо перебирая нежные струны лютни и напевая итальянскую баркаролу; птички резвым щебетанием на ветвях, казалось, хотели вторить пению; утомленный король дремал.

Услышав шум шагов, он открыл глаза и, увидев Курбского, ласково сказал:

– Добрый день, князь. Что наши противники?

– Число их возрастает, государь; дерзость

умножается.

– Что делать? Мое правило, любезный князь, терпимость мнений. Ох... подагра в сильном разладе со мной; но не отказаться же мне от ноги. Терпи, любезный князь, и не спорь с ними, чтобы они против тебя меньше шумели на сейме! Но чем закончить нам переговоры с московским царем?

– Время действовать решительно, – отвечал Курбский. – Гибелен плод замедления, теперь или никогда! Собери свои силы, помощь готова отовсюду. Храбрые венгерцы, отважные валахи, немцы соберутся к тебе; не жалея казны. Есть и на Иоанна управа: разбуди опять крымского змея золотым дождем; хан проснется, и со всех сторон поколеблется престол Иоанна.

Сигизмунд Август обнял Курбского; надежда торжествовать над Иоанном блеснула в глазах короля. Князь возвратился в свой дом довольный королем, но смущенный в душе. Тем не менее, увлекаясь местью, Курбский обратил мысли свои к цели преступных желаний. «Иоанн почувствует силу моих советов», – думал он, и сердце его, обманув со-

весть, затрепетало от радости.

Глава XI. Сказка слепца

Александровская слобода представляла Иоанну удобство для уединения, в котором он хотел соединить и богомольство, и свободу разгула. Там-то в особенности Иоанн окружил себя избранными им оберегателями, под именем опричников, отстраняя от себя всех, для него сомнительных, под именем земских. Бояре, недовольные учреждением опричников, изумлены были неслыханным событием. Татарскому царю Симеону Касаевичу, оставленному в Москве, дан был Иоанном титул царя всей России.

– Незачем бы так величать татарина, когда Господь нас избавил от ханского ига, – говорил на вечере князя Ростовского знаменитый земский боярин-конюший, начальник приказа Большой казны.

– Оно только для намека, Иван Петрович, что земские не в милости царя и не заслужили себе другого повелителя.

– Для шутки ли, для намека ли, а непригоже Симеона Касаевича честить титулом царя

всей России, – сказал старец-боярин. – В Адашево время того бы не было.

– Далось тебе Адашево время! – сказал случившийся тут же князь Горицкий.

– Однако близ сумерек; пора и домой! – сказал боярин-конюший.

– Не пущу, Иван Петрович, не пущу!

– Не отнимай воли, князь!

– Воля твоя, а палаты мои.

– Широка твоя палата, да выходы тесны. В другой раз не приду к тебе. Сули хоть сто золотых кораблеников.

– Аль спешишь к нашему орлу, царю Симеону Касаевичу?

– Перед ним бы и я в орлы угодил! – сказал старец-боярин.

Иначе были пересказаны слова его Грозному, и шутка перетолкована Басмановым в оскорбление Иоанну. В шумном разгуле пира с опричниками он призвал знаменитого сановника и в присутствии царедворцев велел возложить на него царскую одежду, венец, посадить боярина на престол и приветствовать как царя. Потом Иоанн приказал казнить старца. И родня и друзья его, князя Ро-

стовские, Щенятевы, Ряполовский, погибли как его единомышленники, а в боярском списке отмечено: выбыли из разрядов.

Еще далек был предел Иоанновой жизни; рок ждал его бесчисленных жертв. Опричники терзали Россию. Дома опальных бояр подвергались расхищению; слуги, оберегатели господ своих, гибли под мечами опричников, налетавших саранчою на селения земских, где все, чего не могли захватить, истребляли.

С каждым днем становилось страшнее имя опричников. Появление их приводило в ужас народ. Кромешники, как они сами себя называли, предаваясь самовольству, казались воинством тьмы кромешной. Тогда восстал против них новый первосвященник Москвы, предстательствуя за народ; но заступничество добродетельного Филиппа ожесточило Иоанна. Опричники расхищали богатства граждан, увлекали жен от мужей, и на них не было суда и управы. Митрополит еще раз с твердостью возвысил голос против опричников и перед алтарем, в Успенском соборе, обличил самого Грозного. Иоанн, ударив жезлом о помост, вышел из храма. Курбский услышал,

что через некоторое время Филипп был лишен сана; с него сорвали святительскую одежду; на колени его бросили голову казненного племянника его, Колычова. Наконец, гонимый святитель был сослан в монастырь Отрочь, где ожидал его венец страдальческий. Между тем опричники пировали в слободе Александровской; там веселился и Иоанн.

Он еще не забыл о прекрасной сестре Сигизмунда Августа; Екатерина была уже супругой Иоанна, герцога финляндского. Подозрительный король, брат герцога, заключил его в темницу. Тогда Грозный вздумал просить шведского короля выдать герцогиню русским послам, назначая это условием мира со Швецией. Жестокий Эрик обещал выполнить его желание и передать ему Екатерину. Грозный готовился быть властителем жребия той, которая страшилась мысли быть супругой его; но скоро Эрик лишился королевства и жизни; герцог, освобожденный из темницы, был возведен на престол, и Екатерина вместо пленницы Грозного стала шведской королевой.

Гонец с этой вестью спешил в Алексан-

дровскую слободу, где тогда находился Иоанн. За три версты до царских палат остановили его вооруженные опричники на конях, с привязанными к седлам собачьими головами и метлами. Они допрашивали всех идущих или едущих земских, к кому, от кого и кто послан? Проехав длинную улицу, гонец увидел дивный соборный храм и большие палаты, обведенные рвом и валом, как неприступная крепость. В то самое время ударили в колокол; параклисиарх Малюта Скуратов благовестил, и скоро при оглушающем звоне с высокого крыльца средней палаты появились братья дивной обители. Они спускались по мосту к воротам, ведущим через вал, и шли на соборную площадь; головы их прикрыты были тафьями; но под черными рясами заметны были кафтаны, блестящие золотом и опушенные дорогими мехами. За ними, опираясь на жезл, шел в черной мантии царь-игумен. Шествие направлялось к великолепному соборному храму, увенчанному разноцветными главами. Несколько тысяч опричников, в блестящих доспехах, собрались на площади перед собором. На них не было черной одежды,

отличия избранных, но это не мешало им хвалиться, что они принадлежали к опричнине, и с пренебрежением смотреть на земских бояр, вызываемых из Москвы в Александровскую слободу; помахивая метлами и секирами, они ждали слова на буйный разгул.

– Зачем земские зашли в слободу? – спросил один из них, указав на двух бояр, пробирающихся за гонцом через толпу. – Пусть живут себе в Москве! Мы одни здесь служим царю, грызем врагов его и метем себе Русь!

Узнав от гонца, что шведские послы готовились ехать в Россию, Иоанн велел впустить их в слободу и вдруг повелел отнять все их имущество, оставляя из милости жизнь. Эта месть казалась ему утешением в досаде, когда он узнал, что Екатерина стала королевой.

Внезапно, в самый Новый год (1 сентября), скончалась царица Мария Темрюковна. Носилась страшная молва о виновнике ее смерти. Много и других событий взволновало Москву. Опять появились утешители, царские любимцы быстро сменялись одни другими, и между ними взял первенство врач-иноземец Елисей Бомелий. Левкий уже не появлялся у царя. Он

изнемогал: царский врач не спас его. Страшен был врач в Бомелии! В черных глазах его, углубленных под красноватыми веками, заметны были лукавство и жестокость; он был еще опаснее, чем казался. Хвалясь знанием сокровенных таинств и тревожась за жизнь Иоанна, Бомелий овладел его доверенностью и указывал мнимых злоумышленников. Князь Владимир Андреевич и его приверженцы презирали Бомелия, но опасно было наступить на змея.

Врач-гадатель обвинял в смерти царицы тайных врагов ее и смело указал на Владимира Андреевича, который, готовясь в поход против хана, проезжая через Кострому, был встречен народом с любовью и почестью. Иоанн желал избавить себя от опасений, и через несколько месяцев князь Владимир и супруга его, княгиня Евдокия Романовна, по велению Иоанна испили чашу с отравою. Мать князя Владимира и с нею вдова князя Юрия, Иоаннова брата, обе уже инокини, брошены были в волны Шексны.

Дни и ночи Иоанна часто шумели весельем, но сон его был возмущаем грозными

видениями. Долго иногда он не мог сомкнуть глаз; ночью три слепца рассказывали ему сказки, а утром он отправлялся на охоту с опричниками; тогда целый день раздавались в лесу стук топоров и перекличка охотников, гонявших диких зверей на поляну, загражденную срубленными деревьями. Отважные ловцы боялись не лютости зверей, а несчастья – прогневить Иоанна. Некоторые из них были предостерегаемы собственными своими прозваниями, данными им взамен родовых имен. Призадумались Неустрой, Замятня; зато смело ожидали, случая показать себя Гуляй и Будила и шутили с товарищами, толкуя, кому какое достанется прозвище. Отставшему от других быть Одинцом, не попавшему рогатиной в зверя слыть Неудачей! Но еще счастлив был тот, для кого неудача оканчивалась прозвищем; иной платил жизнью за пса, измятого медведем. Лай гончих, рев медведей, терзаемых копьями, крики охотников доставляли развлечение Иоанну, по крайней мере заглушали на время внутренние муки его.

В один вечер, утомясь охотой, он отъехал

в сторону от ловчих и увидел обширный опустелый дом князя Владимира Андреевича. Ветер нагонял тучи. Иоанн, желая отдохнуть и укрыться от ненастья, взошел на крыльцо, поросшее мхом; рынды следовали за ним.

– Прочь от меня! – крикнул он сопровождающим его. – Прочь, я хочу один отдохнуть здесь.

Царедворцы отступили. Он пошел вперед и остался в опустелом жилище. Бросаясь на ветхий ковер, еще покрывающий широкую лавку, он задремал, но вдруг, пробужденный стуком, очнулся... Не видя никого и слыша только собственный голос, он вдруг показался себе существом посторонним; быстро озираясь вокруг, он переходил из покоя в покой, никого не встречая; двери скрипели на петлях, и ставни створчатых окон колыхались и стучали от ветра. Иоанн смутился, ощущая присутствие чего-то невидимого; ему стало страшно; он затрубил в рог, висевший на золотой цепи поверх его терлика. Рынды и ловчие прибежали на зов. Скоро он возвратился в слободской дворец, но не скоро мог успокоиться. Страшный мир призраков смущал

мысли его. Он начал молиться. Но ему казалось, что Божия сила отринула молитву его. Слова его превращались в глухие, невнятные звуки. Беспокойно бросаясь на одр и прикрыв рукой глаза, он забылся, но какой-то свет проникал сквозь руку его. Он отдернул руку, и ему представились отроки в белых одеждах, стоящие у одра его; всматриваясь, он увидел, что свет луны падал на свитки; успокоив мысли, он снова приник к изголовью. Вдруг почудились ему стоны. Тут он снова встал, но все было тихо. Тогда закричал он:

– Слепой Парфений, иди ко мне! Меня тревожит бессонница.

Парфений поспешил на призыв, прихрамывая и покашливая. Это был один из трех слепых, которые по ночам рассказывали царю сказки в Александровской слободе. Парфений был псковитянин. Давно носились слухи, что Иоанн гневен на Псков и Новгород, веря наговорам на преданность их Сигизмунду. Парфений, пользуясь правом рассказчика, желал склонить Грозного на милость, сказать ему несколько слов правды.

Бережно опираясь на костыль, слепец стал

поодаль царского одра и спросил:

– Какую, великий государь, повелите рассказывать сказку?

– Какую придумаешь, – сказал Иоанн, – я хочу сна и спокойствия.

– С царского позволения, – сказал Парфений, – начинается сказка о Дракуле. Жил-был Дракула, – начал Парфений, – мутьянский князь, гневом страшил, а правду любил. Приехал в ту землю купец богатый, из угорской земли Басарга тороватый; на возу были кипы товара да с золотом мешок. Приустал Басарга с дороги, неблизкий был путь, захотелось вздремнуть. Купец богатый оставил воз на площади перед палатой, понадеясь на честных людей, и пошел отдохнуть. На ту пору человек незванный, нежданный подошел к возу, приметя мешок, взял без спросу. Проснулся купец на заре, спохватился, к мешку торопился, ни золота, ни мешка не нашел; Дракуле челом бить пошел, рассказал все, как было. Рассердился Дракула и рвет и мечет, не что твой кречет, а сам приговаривает: «Ступай, откуда пришел, твое золото найдется в эту же ночь». Забили по городу в набат, скачут, шу-

мят; велел Дракула вора найти, до сумерек привести, а вор догадлив был, и след простыл. Дракуле донесли, что нигде не нашли. Рассердился Дракула и рвет и мечет, не что твой кречет, а сам приговаривает: «Срою весь город, если не сыщется золото»; позадумался, принадумался, велел из казны принести золотых монет, ночью в мешок уложить, в воз положить, столько златниц, сколько было в мешке, да еще лишнюю. Купец Басарга до зари недоспал, взглянуть на воз пошел, мешок с золотом там нашел; купец удивился, считать торопился, лишнюю златницу начел. Купец был честный, не то что иные бояре, пошел Дракуле сказать: «Нашел я свое золото при товаре, да одну златницу лишнюю, и та не моя; прикажи ее взять от меня». Дракула купца похвалил, а и вор пойман был; суд ему короток: с золотом на шею мешок, и вздернули на крюк перед палатами. Дракула сказал купцу: «Ступай, Басарга! Не миновать бы и тебе крюка; скажи спасибо себе, что цел; лишнего взять не посмел!» Тут купец всполошился, перекрестился, слезно Бога благодарил: «Слава Тебе, Боже, что я честен был!» А Драку-

ла-князь похвалялся; научить честности всех обещался. В том городе, государь, было поле, и через поле то, под горою, колодезь с ключевою водою. Дракула взял чашу золотую, поставил у колодца на колоду; всякой, кто хотел, из колодца пил воду, а до чаши никто не касался, грозного князя боялся. У владыки смотрят сто глаз, а Дракула горазд: хотел, чтобы всякое дело с перелома кипело; было бы все в порядке; не было бы ни калек, ни бедных, ни тунеядцев вредных; всякой чтобы труд свой справлял, а другим помогал. Нелегко тому быть, а у Дракулы наука: казнить да казнить. Нагнал он переполоха на всех валахов; никому спуска не было. Мужу ль жена согрешила, провинилась; в доме небережно водилось, дети в красне, в хороше не ходили, жену такую казнили. Муж ли поглядывал на чужую жену, мужа казнить за вину. И князь Дракула перевел столько людей, что на площади его и на палатных дворах, вместо шаров на ограде, торчали головы на железных колах. Вот пришли к нему два черноризца из угорской земли. Дракула угостил их трапезой и, развеселясь, спросил: «Что об нем думают,

смышляют, правдимым ли его почитают?» Старший черноризец сказал: «Ты правду утвердить пожелал, но у тебя все вины виноваты; за все казнишь, не разбираешь, с плевелинами и пшеницу вырываешь. Судит вину закон, а иную Бог; человек не без греха, Бог не безмилости. Будешь за все казнить, не исправшишь, на суд Божий ничего не оставишь». А младший черноризец, челом ударя, сказал: «Слава суду государя, правосуден ты и премудр исправитель, Божия суда совершитель». Полюбилось такое слово Дракуле. Старца-черноризца велел казнить, младшего казной наделить, а сам встречному-поперечному продолжал судить по-прежнему; еще на думе осталось: дряхлых, увечных всех перевести, а глядь, прибавляется старым веку, там видит хилого, там калеку; ходят, трясутся, худо служат, на бедность да на увечье тужат; придумал разом исправить, чем бы помочь людям таким, что в тягость себе и другим. Велел Дракула клич кликнуть: бирючи скликают, всех увечных и дряхлых сзывают. Со всех концов города собрались, ждали помощи, дождались: их обложили дровами и сожгли у палат пред

воротами; от костров вихрь пламя метал, загорелись палаты, и Дракула тут же сгорел; не спознался с дряхлостью, не скучал хилостью. Хороша строгость с разумом, хорошо правосудие с милостью...

Слепой старик досказал тихим, дрожащим голосом свою сказку. На его счастье Иоанн застнул, и слепой, перекрестясь, вышел из государственной почивальни.

Глава XII. Заступник Пскова

Клевета готовила страшное бедствие Новгороду и Пскову. Ложная грамота, будто бы от имени новгородского владыки к Сигизмунду Августу, подброшенная злоумышленниками, подвигла Иоанна, кипевшего гневом и подозрениями, разрушить до основания гнездо мнимого мятежа. Грозный двинулся с воинством, но поход его должен был оставаться тайною, пока не появится царь перед вратами виновных. Идущие и ехавшие навстречу его ополчению обречены были смерти; селения и города были опустошены в пути его. Тогда-то любимец его, Малюта Скуратов, явился в Отрочь монастырь принять благословение

страдальца Филиппа и, выбежав из кельи, сказал инокам, что Филипп задохся от жара.

Страшное полчище, оставляя за собою гибель и опустошение, как туча, остановилось у Волхова. Разгром новгородский продолжался шесть недель. Каждый день казался днем Страшного суда; воины Иоанна захватывали всех, кого могли; влекли старцев, жен и детей без разбора пред лицо судьи, столь же немилостивого к невинным, как и к виновным. Он стоял, окруженный опричниками, среди моста над Волховом; на его глазах пробивали застывающий лед реки и, связывая матерей с младенцами и отцов с сыновьями, бросали с высокого моста в холодную глубину. Страшные стоны слышал Иоанн; алою кровью обрызган был снег на окраинах прорубей; несчастные жертвы бились и, отражаемые баграми, исчезали под ледяною корою реки.

Наконец прекратилась кара над Новгородом. Иоанн, проезжая по улицам, не встречал жителей, которые и не смели показываться на пути его.

Жребий Новгорода готовился и Пскову; граждане бродили, как тени, по улицам; все

ожидали смертного приговора.

Иоанн остановился в Никольском монастыре на Любатове, в пяти верстах от города. Опричники уже острили свои мечи; не время было медлить тем, которые желали спасения; все граждане собирались перед домом псковского наместника, доброго боярина Токмакова, прося заступления. Но кто мог быть заступником перед грозным Иоанном? С сокрушенным сердцем слушал наместник мольбы их, но ничего более не сказал им, лишь только чтобы они сами себе были заступниками, встретили бы царя с хлебом и солью, чтоб каждый бил ему челом перед своими воротами, чтоб везде по улицам накрыты были столы для его воинов и чтоб смотрели они на несущих им казнь, как на желанных гостей, благодетелей жданных.

В сенях наместникова дома граждане увидели сидящего Николу Салоса, бросились к нему, окружили его со всех сторон; одни орошали слезами его руки, другие целовали его рубище, прижимая к сердцу вериги его.

– Худо, – сказал им Никола, – боялись вы не Бога, а посадника, не совести, а наместни-

ка!

– Спаси, спаси нас! – взывали старцы. Матери полагали пред ним детей своих. – Помолись, заступи для невинных младенцев, – кричали они, простирая к нему руки.

Слезы блеснули в очах Николы, он взял одного из младенцев, благословил его, поцеловал и, подняв высоко, громко сказал:

– Есть Бог Спаситель, есть Господь заступник! Его молитесь, он Него ждите покрова.

И граждане, ободренные одним словом юродивого, кланялись ему в землю, лобызали ноги его, и трудно было старцу пройти с крыльца сквозь толпу их.

На другой день, с рассветом, Псков огласился колокольным звоном из края в край города, как будто в радостнейший день. Никого не осталось в домах; все выбежали к воротам, окружая длинные столы, накрытые чистыми скатертями, уставленные праздничными яствами, украшенные, чем кто мог и как кто придумал. Все ожидали одного; сердца всех трепетали прежде, нежели появился он. Иоанн ехал на аргамаке, черном как ночь, блестящий царским великолепием, но сурово

опустив голову и только по временам взглядывая на обе стороны; взоры его казались молниями для предстоящих, но он видел не то, чего ожидал – никто не бежал от лица его; все преклонились перед ним, все называли его милосердным отцом-государем, как бы радуясь его пришествию; даже младенцы, сложив ручонки свои, кланялись в землю и, наученные матерями, лепетали с детской невинностью: «Отец-государь, будь над нами воля твоя!»

Грозный смягчился. Одним словом он мог изречь смертный приговор всем сим живым существам, прославляющим его милосердие; но, казалось, остановился в намерении и обдумывал жребий Пскова.

Он не пошел в палаты наместника, ожидавшего его пришествия, но вздумал оказать эту честь Николе Салосу, которого желал видеть, наслышавшись о его странной жизни и уважая в нем святость добродетелей, прославивших его имя. Он ожидал его встретить в толпе народа, но, не замечая его, повелел проводить себя в жилище Салоса.

– Государь! – отвечал ему наместник. – Ни-

кола юродивый не имеет постоянного жилища; прежде проводил он целые дни под открытым небом на куче соломы или хвороста, а теперь проживает в пустой келье Знаменского монастыря, где избрал для себя пристанище, прислуживая юному отроку, приведенному им в монастырь.

– Хочу видеть Салоса, – сказал Иоанн и в сопровождении наместника и знатнейших сановников отправился посетить убогую келью юродивого старца. Сойдя с аргамака перед воротами обители, Иоанн взял у юного рынды хрустальный посох и, опираясь на него, вошел в святые ворота, но здесь уже ожидал его Никола, держа в руках кусок окровавленного мяса, и поднес Иоанну с низким поклоном. Грозный царь изменился в лице.

– Я сырого мяса не ем, – сказал он юродивому.

Салос, бросив свой дар, взял хлеб у юного отрока, стоящего возле него, и, подавая Иоанну, сказал:

– Иванушка, Иванушка, покушай хлеба и соли, а не христианской крови!

Если бы в эту минуту лицо Салоса не выра-

жало святого чувства, если бы в голосе его не было твердости праведника, ничто, казалось, не спасло бы его от Иоаннова гнева, но царь видел в нем необыкновенного человека, во взгляде его – прозорливость, в словах его – предвещание. Он скрепил порыв гнева и, милостиво подав Салосу руку, сказал:

– Веди меня в келью свою, не отказываюсь от твоего хлеба и соли, не хочу проливать крови христианской.

Войдя в тесную келью, Иоанн увидел набросанную в углу солому, служившую постелью Салосу. На стенах ничего не было видно, кроме старинной иконы Спасителя. Она украшена была вербами, а с другой стороны кельи виден был деревянный примост, занавешенный пологом; возле него стоял простой дубовый стол, на котором два глиняных сосуда служили для трапезы; а рукописная, обветшавшая Псалтырь – для вседневных молитв.

Иоанн, сев на скамью, спросил Салоса, для чего он держит при себе отрока?

– Хочу наглядеться на него! – отвечал Никола. – Детство его мирно, он тих, как младенец, а кто не будет подобен младенцам, не

войдет в Царствие Божие. Не припомнишь ли, государь, кто сказал это? У меня слабая память.

Между тем Иоанн внимательно смотрел на отрока; черты лица его казались ему знакомы, и чем более царь глядел на него, тем грознее становилось лицо Иоанна.

– Скажи свое имя! – спросил он отрока.

Юрий хотел отвечать, но юродивый предупредил его.

– Сын земли, – сказал Никола, – пред твоим величеством, которое некогда будет перстью земной.

– Малюта, – спросил царь, обратясь к любимцу своему Скуратову, – на кого походит сей отрок?

– Если верить глазам, государь, он совершенно походит на твоего изменника Курбского.

– Я давно ищу сына Курбского, – сказал Иоанн. – Малюта, что, если зверь на ловца бежит?

– Не давать ему бегу, – отвечал Малюта.

– Недалек и твой бег! – сказал Салос – Превозносишься ты, Малюта, и падешь, как Ива-

нушкин конь. И вы, – продолжал Салос, обращаясь к другим царедворцам, – веселитесь за трапезой царской, а не знаете, что для многих из вас и дерево на гроб уже срублено.

– Кто отец твой? – спросил Иоанн Юрия.

– Бог милосердый! – сказал Салос.

– Ты отвечай мне, – продолжал гневный Иоанн, схватив Юрия за руку, и заметил висящий на груди его позолоченный крест. Рассматривая крест, Иоанн воскликнул: – Так это сын предателя, изменника Курбского! – и яростно взглянул на Салоса.

Никола стоял спокойно перед окном, не обращая внимания ни на кого: он посмотрел на небо и тихо сказал:

– Разразит!

– Я вижу по кресту, в котором хранится часть мощей Феодора Ростиславича; узнаю этот крест, не обманываюсь, сей отрок – сын Курбского.

– Разразит! – сказал Салос. – Конь твой падет, и всаднику горе.

– Не пугай, безумный! Грозы в феврале не слышать, а будет моя гроза над всем Псковом, и прежде всего да погибнет отродие Курбско-

го! – Сказав это, Иоанн поднял жезл свой, чтобы поразить несчастного Юрия, упавшего пред ним на колени и молившего небо о помиловании.

– Разразит! – воскликнул громко Салос. – Не посягай на Псков; что у Бога возьмешь, то от себя отнимешь.

Иоанн остановился, услышав отдаленный гром.

– Отец мой! – сказал Юрий, обратясь к Салосу. – Помолись обо мне!

– Отец твой Андрей Курбский, – вскричал Иоанн с порывом яростного мщенья, – умри за отца твоего!

В это мгновение сверкнула пламенной стрелой молния и, казалось, пролетела над жезлом. Юрий упал без чувств. Иоанн содрогнулся и отскочил от него, уронив жезл.

– Еще ль не помилуешь Пскова? – спросил Салос у Иоанна. – Еще ль не пощадишь невинного отрока? Разразит!

И снова блеснула молния, и второй удар грома, сильнее прежнего, последовал за словами юродивого.

В это время прибежал юный рында ска-

зять государю, что любимый аргамак его пред
вратами обители пал.

Иоанн побледнел и, видя вокруг себя тре
пет на лицах бояр и воинов, поспешил уда
литься из кельи с такою поспешностью, что
даже забыл свой посох.

– С Богом нет при человеку, – сказал тор
жественно Салос ему вслед.

С того времени Юрий неотлучно находил
ся при Николе юродивом. С ним вместе стран
ствовал он в окрестностях Пскова, был участ
ником его молитв и посредником благотвори
тельных дел. Салос, собирая дары богатых, отдавал их
убогим рукою Юрия. Юноша рос в смирении
и благочестии и дивился мудрости того, ко
го все другие почитали безумным. Научась
плести кошницы из гибких древесных вет
вей, он работал, сидя на камне среди поля, с
таким же удовольствием, как на мягком ков
ре, слушая рассказы старца, говорившего ему
о чудесах неба и земли. Иногда, прерывая ра
боту, Юрий возводил на небо глаза, орошен
ные слезами любви и усердия к Богу.

– Благодарю тебя, отец мой, – говорил он
Салосу, – ты научил меня познавать во всем

благость Божию и любить Создателя; утешительны слова твои, жаждет сердце слушать тебя, моя душа просвещается.

– Свет Божий просвещает всякого, чье сердце смиренно! Но отвечай мне, счастлив ли ты? – Юрий несколько смутился. Салос продолжал: – Еще есть в душе твоей семя скорби: память о матери и злополучном отце. Молись о нем, ищи в Боге всего, что утратил, и Бог тебе возвратит.

– Он возвратил мне в тебе, – сказал с чувством Юрий.

– Время переходит, сын мой; были дни, настанут другие. Старец дряхлеет, и Господь велит праху возвратиться в землю; довольно мы шли с тобою рука об руку; будь для других добрым и надежным спутником.

– Ужели ты хочешь оставить меня? – спросил Юрий, пораженный горестным предчувствием.

– Не оставить, но найти тебя под кровом Божией Матери. Когда увидишь на хворосте ветхое мое рубище, возрадуйся обо мне и иди на восток, на восток и север; среди бурного моря узришь тихий остров, корабль златогла-

вый в пристани спасительной; над ним лучи благодати небесной. «Здесь!» – скажет тебе Ангел пустыни, и ты пребудь там, услышав сей голос.

Так говорил старец, и Юрий с благоговением слушал непонятные слова его.

Против обыкновения своего, Салос, возвратясь с ним в хижину, сам приготовил вечернюю трапезу; покрыл старый дубовый стол благоуханными липовыми цветами и зелеными листьями, поставил в деревянной чаше сотовый мед и, вынув из холстинной сумы хлеб и овощи, положил их на стол, благословил и предложил Юрию вкусить яства; после этого, помолясь, поцеловал юношу и, тихо сказав: «Теперь пойду на покой!» – простился с ним.

На другой день Юрий, проснувшись, увидел, что старец уже вышел из хижины. Принявшись за обыкновенную работу, он ожидал его возвращения к полудню, но старец не приходил. Юрий вышел из хижины с беспокойством, спрашивая встречавшихся поселян, не видали ли Салоса; ему отвечали, что Никола утром пошел на гору к ветхой церкви,

стоящей на вершине горы. Юрий, думая, что старец, отслушав утреннюю службу и устав на молитве, прилег где-нибудь отдохнуть, возвратился в хижину, где дожидался его прихода, не вкушая пищи, до появления вечерней звезды, но уже наступил и вечер, и небо померкло, а Салос не возвращался. Тогда Юрий, сев на лавку к окну, уныло смотрел на появляющиеся звезды, и в тишине вечера долго слышалось у окна его тихое пение божественных псалмов, пока не набежали ненастные облака и не закрыли сияние звезд; полился дождь. Юрий затворил окно, но в то же время потекли горячие слезы из глаз его.

С рассветом он уже снова был на горе, снова спрашивал о Салосе, но никто ничего не мог сказать ему. Обходя несколько раз около церкви, он увидел между ветвистых берез, против алтаря, кучу хвороста; с трепещущим сердцем Юрий приблизился... Рубище Салоса виднелось в хворосте; Юрий раскидал хворост и увидел своего наставника, уже бездыханного...

В тот же день стеклось несчетное множество народа из Пскова и всех окрестных мест

к телу юродивого старца. Псковские граждане с женами, воины и сановники, все шли, все стремились к гробу Николы Салоса; даже дети бежали из города поклониться ему; сняли вериги, отягчавшие мудрого безумца, и целовали следы их, врезавшиеся в теле его. Тих и светел лежал он пред ними; с мрачною горестию окружали его; но кто в это время скорби страдал более всех? Тот, кто, забытый толпою, в отдалении смиренно молился.

Недолго оставался Юрий в сих местах. Отдав последнее прощание Салосу и помня завет его, он решил немедленно отправиться в путь, и, взяв котомку и страннический посох старца, единственное наследство своего наставника, юноша пошел на север, склоняя путь и к востоку, по указанию старца. Много прошел он полей и дубрав, городов и селений, но нигде не чувствовал желанья остаться; ничто его не удерживало.

Много дней прошло уже со времени его странствия, и вот однажды летним утром, приблизясь к берегу одной реки, он увидел обширный монастырь, златоглавый, кресты которого, сияя, сверкали лучами солнца из-за

деревьев, растущих в ограде. Юрий остановился, любуясь зрелищем: быстро неслись серебристые облачка по лазоревому небу; синяя дымчатая туча разостлалась позади монастыря, на которой ярко выставилась обитель, а над ней радуга развилась огнецветною лентою. Белые монастырские голуби вились около кровли, блестя белизною крыльев, а сизые ласточки перепархивали над рекой, скользя по струям косицами черных перьев. Юрий стоял объятый задумчивостью; вдруг он услышал голос: «Здесь», – и содрогнулся при неожиданном звуке. «Здесь, – повторил за оградой стоящий инок, указывая что-то своему послушнику, – над рекою». Но Юрий иначе понял слова эти; он принял их как исполнение пророчества Салоса, как голос небесный, повелевающий остановиться в сей мирной обители.

Глава XIII. Новая царица

Когда Иоанн, уstraшенный словами провидца, спешил в Москву, совесть восстала в нем на его угодников и льстецов; грозная кара началась с приближенных его, и тогда же один из самых лютых опричников, боярин Алексей Басманов, осужден был умереть от руки юного любимца Иоаннова. К ужасу потомства, это был Феодор, сын Басманова, но скоро погиб бесчеловечный исполнитель страшной воли, не предвидя, что гнев судьбы искоренит и последние отрасли преступного рода Басмановых. Гибли виновные, еще более – невинные.

На торговой площади, близ кремлевского рва, железные когти, разженные клещи лежали на сковородах под строем виселиц; площадь озарялась ярким пламенем костра. Над ним поднимался на железных цепях огромный чугунный чан с кипящею водою. Москва онемела безмолвием; осужденных влекли на пир смерти. Недоставало зрителей... Трещущие жители укрывались в домах; Иоанн велел опричникам гнать отовсюду народ на

площадь.

– Гойда! Гойда! – кричали опричники, потрясая копьями, выгоняя народ смотреть на суд изменникам.

Между тем крымский хан, отважный Девлет-Гирей, пользуясь смятением Москвы, вторгся в пределы России и быстро, как туча под вихрем, приближался к Серпухову. Ужас овладел Иоанном. Страшась и врагов и подданных, он с опричниками поспешил в Ярославль. Воеводы готовились к защите Москвы в предместьях, но в светлое утро праздника Вознесения хан зажег столицу Иоанна. Вихрь поднимал пламя на воздух; Москва со всех сторон занялась, и ад предстал там, где за несколько недель Иоанн тешился муками. Ураган волновал море огня. Сами татары спасались, бросая добычу, и хан бежал от пожара. Солнце надолго исчезло над Москвою в тучах дыма; один Кремль, со святыми соборами, оставался как остров среди необозримого пожарища. Исчезли даже следы любимого жилища Иоаннова. Арбатский дворец его поглощен был огнем; река замкнулась трупами; смерть неслась в вихрях дыма и пламени,

смерть ждала в тесноте улиц и подавляла толпы; треск разрушающихся зданий и стон народа слились в один адский гул с ревом огня. Восемьсот тысяч человек погибли!

Хан, довольный добычей, вышел из России, а Иоанн... заботился об избрании себе новой супруги и невесты царевичу, своему старшему сыну.

Две тысячи прекрасных девиц в богатейших нарядах, дочери бояр и купцов, явились по царскому повелению в Александровской слободе. Всех по очереди представляли Иоанну и сыну его. Каждая девица должна была без покрывала подойти к царю и царевичу и, став на колени, поднести ширинку, шитую золотом. Двадцать четыре были избраны из числа представленных и могли надеяться быть царицами. Из них Иоанн предпочел трех: Марфу, дочь новгородца Собакина, Анну, сироту дворянина Колтовского, и Евдокию, дочь Сабурова.

Как три звезды, сияли три несравненные между прекрасных, и долго колебался Иоанн, которую избрать из них. Жизнь играла в юной, пламенной Евдокии; кротость и добро-

душие были пленительны в чертах Анны; робкие взоры ее призывали любовь, а улыбка дышала непорочностью сердца; Марфа казалась как пышный цвет, взлелеянный в неге. Иоанн повелел им стать вместе пред собою. Три девы снова преклонили пред ним колени; румянец стыдливости разгорелся в лице Евдокии; как младенец, тихий в неведении судьбы своей, стояла, сложив смиренно руки, Анна; с горестию, с трепетом преклонила боязливо чело Марфа, опустив черные ресницы пленительных глаз. Иоанн повелел ей взглянуть на него; этот взгляд решил судьбу Марфы. Иоанн нарек ее своею невестою. Слово его поразило ее. Она затрепетала, побледнела и, опомнясь, увидела пред собою царские дары. Жемчуг, драгоценные камни, парчи и соболя лежали пред нею в ларцах; юные боярышни окружали ее, приветствуя будущую царицу; отец ее, купец новгородский, уже в боярской одежде поздравлял со слезами ненаглядную дочь. Иоанн, еще равнодушный к Евдокии и Анне, снова призвал их к себе и спросил царевича, которую он предпочтет. Сын Иоанна избрал Евдокию Сабурову; она наречена была

невестой царевича.

Приготовлялись к торжеству двух браков. Но Марфа, как роза, надломленная ветром, внезапно стала увядать. Доктор Бомелий объявил, что невеста царя испорчена врагами его, и нашептывал Иоанну на князя Михаила Темрюковича, брата покойной царицы-черкешенки. Не пощадил Иоанн князя черкесского, не отложил ни казней, ни брака. Красавец, дружка царицы, Борис Годунов должен был веселить свадебных гостей умным приветом; однако ж умный дружка держался меры в шутках, видя, что новобрачный был встревожен, а лицо молодой обличало ее болезнь и тоску.

Совершился и брак царевича с Евдокией Сабуровой, но царь на пиршестве сидел угрюм и грозен, а царица в мертвенной бледности казалась белее своего жемчужного ожерелья. Через девять дней она перешла с брачного ложа в гроб и предана земле в девичьей Вознесенской обители.

Иоанн, по кончине Марфы, хотел отказаться от мира и, завидуя спокойствию отшельников, намеревался постричься в обители Ки-

рилла Белоозерского.

– С тех пор, как припал я к честным стопам вашего игумена, – говорил он кирилловским инокам, – с тех пор, как старец, отец ваш, возложил на меня руку с благословением, мнится мне, что я уже вполовину чернец, ношу на себе рукоположение ангельского образа.

Но намерения Иоанна так быстро сменялись, что не прошло и полугода, как четвертый брак его привел в смущение святителей церкви и удивил Россию неслыханным событием. Царицею была юная Анна Колтовская; та самая, которая некогда жила сиротой в доме княгини Курбской. По совершении брака Иоанн, склонясь на просьбы благочестивой супруги, созвал святителей церкви, прося смиренно простить вину его и благословить брак; приведенные в умиление смирением державного, святители утвердили брак его, с заветом примерного покаяния.

В это время открылось новое поле славолюбию Грозного. Король Сигизмунд Август скончался в Книшине. С ним пресекся род Ягеллонов. Тогда-то вся Польша представлялась, как взволнованное море: никогда не бы-

ло более шума на сеймах. Немецкий император, французский принц, седмиградский князь предлагаемы были в польские короли; папа и даже турецкий султан указывали по своим видам наследника Сигизмунду. Коронный канцлер, Фирлей, промышлял корону для себя, а враги Курбского предлагали призвать на трон царя Иоанна Васильевича.

– Не привлекайте грозы, чтобы она не разразилась над вами, – сказал Курбский.

– Покоритель Казани и Астрахани, – отвечал Евстафий Воллович, – может быть надежным щитом для нас.

– Он сам отрекся от славы своей, жалуясь, что его невольно влекли под Казань. Царства покорены грудью верных вождей его, а чем он воздал им? Гонением, казнями! Выдайте меня Иоанну, если страшитесь его, но не предавайте ему судьбы своей.

– На чье избрание голос твой? – спрашивали Курбского.

– Изберите того, кто умеет владеть своими страстями, не выводит рода от Августа Кесаря, а велик душою; воздержан в счастье, тверд в бедствиях, любит благо людей более

себя, чтит правду и закон выше власти своей. Изберите седмиградского князя, Стефана Батория.

Несколько голосов присоединилось к мнению Курбского, но споры о избрании французского принца Генриха или царя московского еще не умолкали; Курбский, видя волнение умов, уклонился от сеймов, уединяясь в Ковельский замок, но гордая княгиня не решилась отказаться от блеска. Она жила то в Варшаве, то в Вильне.

Наконец поляки призвали на трон французского принца. Генрих Валуа торжественно прибыл и короновался, но во время самого коронавания великий маршал Фирлей стал спорить с королем и угрожал уйти из церкви с короною, а через несколько дней, в присутствии короля, один из вельмож бросился с саблею на другого и смертельно поранил третьего, хотевшего отворотить удар. Генрих не мог обуздать своевольтва. Изнеженный Парижем, он думал только о празднествах, удовольствиях, любовался польскими красавицами, восхищал их своим щегольством; но мятежные сеймы поляков утомляли его тер-

пение. Генрих вздыхал о Франции.

Между тем Москва отдохнула с новою царицею; мрак бедствий прояснялся. Иоанн уничтожил опричнину. И небо даровало еще радость Иоанну: поражение крымского хана, который, снова вторгшись за добычей в Россию, приближался к Москве, но доблестный Воротынский был ее хранителем, разгромил и обратил в бегство татарские полчища. Светло было торжество Грозного. В это время из Франции пришла грамота царских послов о Варфоломеевской ночи, приводящей в трепет потомство. Годунов читал донесение, внимательно слушали царь и бояре весть о страшном избиении гугенотов.

– Кто из христианских государей, – сказал Иоанн, обращаясь к своим сановникам, – кто не будет скорбеть, слыша о таком бесчеловечном кровопролитии! И можно ли верить, чтоб столько тысяч людей было избито в одну ночь?

– Был твой гнев над изменниками, – отвечал Малюта, – но более пятисот в один день не избивали.

– Ты строг и милостив, – сказал Богдан

Бельский, – а король Каролус слабоумен, у него милосердия нет!

– Безумное дело так губить свой народ, – продолжал Иоанн, качая головою. – Знаю, что меня называют грозным, а вот как поступает французский король не за измену, не за злой умысел, а за то, кто как верует. Оборони Бог от такой лютости! – И лицо Иоанна прояснилось, совесть его успокоилась. При мысли о ужасах Варфоломеевской ночи ему показалось, что он еще может почитать себя правосудным.

Смерть свела с престола распорядителя Варфоломеевской ночи, и Генрих Валуа, забыв о Польше, торопился возложить на себя корону Франции. Поляки противились отъезду его, но король, дав великолепный пир, в ту же ночь тайно уехал в Париж навсегда. При вести, что король бежал из королевства и отрекся от Польши, снова начались сеймы и раздоры. Две из сильнейших враждующих сторон провозгласили каждая своего короля. Одни отправили от себя посольство к немецкому императору, другие к седмиградскому князю, Стефану Баторию, с тем, чтоб он же-

нился на старшей сестре покойного Сигизмунда Августа. Баторий опередил императора, пятидесятилетняя невеста, благодаря своим попечителям, вышла замуж, и Стефан получил корону.

Иоанн Грозный негодовал и предавался мрачным мыслям. Страсть, скоро возгораясь, так же быстро и охладевает в душах пылких. Он не находил уже развлечения в присутствии Анны; юная прелестная супруга не могла успокоить его тайных страданий, особенно когда внезапные укоры совести потрясали душу его. Безмолвная покорность Анны далека была от соответствия душе Иоанна; только в минуты его исступления, когда страшные призраки пробуждали его от сна, Анна стремилась успокоить его, но безуспешны были ее старания. Кроткая царица скоро увидела, что слова ее не проникали в сердце его, как луч солнца скользит от ледяного холма, иногда озаряя, но не согревая его.

Блеск палат, великолепие одежд не радовали Анну. Среди бесед и торжеств она являлась существом чуждого мира. Все ее окружающее казалось ей странными мечтами смут-

ного сна; душа ее желала пробуждения, не зная, скоро ль оно настанет. Величие сана и почести, воздаваемые Анне, не изменили ее смирения. Она хотела видеть счастливых вокруг себя; благотворить – казалось ей первым благополучием царской власти.

Она сопровождала Иоанна в Новгород, чтоб облегчить жребий несчастных семейств после разгрома новгородского. Едва узнали там о приближении царя с семейством его, архиепископ и все духовенство поспешили навстречу ему с иконами и крестами. Тогда, по сказанию, в Новгороде было больше церквей, чем дней в году; звон колокольный раздавался по всем окрестностям. Приветные крики у ворот Хутынского монастыря возвестили прибытие державного с царевичами. В ночь приехала царица и на другой день явилась в Новгороде, как ангел милосердия при Иоанне.

Новгородцы, успокоясь от ужасов, уже собирались толпами смотреть на величие и могущество царское. Тысячи стрельцов из разных русских городов стеклись в охранное царское войско. Иоанна окружали два сына

его и датский принц, Магнус, русские вожди и бояре, татарские мурзы и царевичи. Они сопровождали Иоанна при выездах; двое оруженничих везли шлемы; рынды, в белых глазированных кафтанах, один за другим несли за царем саадак, копье, сулицу, рогатину, сверкавшие золотом и дорогими каменьями; когда же царица шествовала в соборы, бедные окружали ее, как дети мать. Кроткою и приветливою являлась она приближенным. Добрые граждане не могли насмотреться и на двух царевичей, сыновей Иоанна, когда они шли за отцом. В лице старшего было что-то величавое и суровое; младший опускал глаза в землю, и народ говорил об нем: «Будет смиренник и постник!» Проходя мимо колокольни, младший царевич остановился, что-то сказал сопровождавшему его боярину и пошел на лестницу. Скоро раздался благовест, и проходящие останавливались, радостно говоря друг другу: «Это благоверный князь Феодор Иоаннович, это царевич благовестит!»

Облако мрачных подозрений еще всюду носилось перед Иоанном. Он не доверял ни Новгороду, ни Москве. Часто после веселых и

шумных пиров, тревожимый смутными мыслями, он готов был на новые ужасы, если бы не останавливала его супруга. Все трепетало и безмолвствовало пред ним; никто уж из бояр не смел быть заступником невинно гонимых. Свидетельница бедствий, юная царица решила стать между Иоанном и его жертвами. Превозмогая робость, кроткая Анна осмелилась противоречить неукротимому властителю.

– Знаю я мысли их, – говорил Иоанн о боярах.

– Один Бог знает тайные помышления, – отвечала она.

– И от меня не укроются! Зачем они угрюмы на пирах моих? У них злое на мысли.

– Не удручай себя опасениями!

– Изменники окружают меня. Разве Курбский не бежал в Литву? И другие хотят передаться врагам моим! Я и без опричников наведу страх на всех.

– Властвуй милосердием. Пусть ни ты, ни тебя не страшатся.

Иоанн гневно взглянул, и слова замерли в устах Анны; она вышла из чертога.

Тщетно думал Иоанн, дав свободу одной страсти, положить предел другой. Один порок увлекал его в другие; но чувствуя, что невольнику страстей нет надежды на блаженство небесное, он впадал в отчаяние, хотел забыться в веселии, и самое веселие его было страшно. Душа его волновалась противоборством добра и зла. Иногда еще напоминание веры и голос супруги обращали его к раскаянию и упование возрождалось в душе.

– Если грехи мои, – говорил он царице, – превзошли число песчинок моря, то не покроет ли их пучина милосердия Божия?

По чудному противоречию своих склонностей, то ревнитель благочестия, то нарушитель священных уставов, то невольник своих приближенных, то неумолимый каратель их, создатель царственного блеска и губитель славы своей, быстро предаваясь всякому влечению воли, он часто не узнавал себя. Еще труднее было другим узнавать в нем одного и того же венценосца в разных отрезках жизни.

Царица видела безнадежность своих стараний укротить Грозного; не могла и сама оставаться свидетельницей дел Иоанна без

тяжких страданий. В один из праздников церкви, когда еще в утренний час не раздавался соборный благовест, царица вошла в работную палату Иоанна.

Царь стоял пред широким налоем, облокотясь на бархатную наволоку, и рассматривал свитки с разрядами; удивленный нечаянным появлением Анны, он, нахмурясь, взглянул на нее.

– Прости, государь, если я тебя потревожила, – сказала царица. – Вчера я не дерзала нарушить твоего веселья и думала, что в утренний час тебе свободнее выслушать просьбу мою.

– О чем, Анна?

– О том, что давно лежит на душе моей, позволь мне, государь, исполнить священный долг: я дала обет помолиться о тебе в обители Тихвинской.

– Что заботишься ты о моем спасении, смиренная голубица? Молись о себе, чтоб не попасть в ястребиные когти лукавого.

– Мой жребий в Божией воле, – отвечала Анна. – Господь – защитник слабых, а о тебе, государь, я должна молиться – я супруга твоя;

мое счастье в твоём благоденствии. Но я вижу, увы, я вижу, государь, что ты не знаешь спокойствия.

– Кто сказал тебе?

– Ты сам, твои стенания в мраке ночи, смятение в часы молитвы. Содрогаясь, видела я, что тебе чудились призраки. Смутен твой сон!

– Не напоминай мне, – сказал торопливо Иоанн, – что тебе до призраков?

– О государь, я сама редко смыкаю глаза. Мне чудятся вопли и стоны... Ах, дозвожь мне, дозвожь молиться за тебя!

– Молись о себе, – сказал Иоанн супруге, упавшей к ногам его. Но она не слышала его; она рыдала у ног его.

Иоанн задумался.

– Хорошо, Анна, помолись обо мне, – сказал он, смягчаясь.

– О, если бы Бог услышал молитву мою! Если б обратил Он твое сердце на милосердие! Да осенит тебя Божия Матерь от злых наветников! Не погуби, государь, надежды моей, удали от себя Скуратовых, пощади народ твой!

– Дерзновенная! Кому говоришь ты? – гневно вскричал Иоанн.

– Я несчастна, государь! С младенчества я жила сиротою, но мирно было сиротство мое; ты возрел на меня, государь; тебе угодно было возложить на бедную сироту царский венец. Не скрою от тебя, что чертоги мне страшны, венец мне тяжел, я несчастнее здесь, чем в убогом доме отца моего.

– Ты безумствуешь, – перебил ее Иоанн.

– Не дивись моему безумию; я плачу не о себе, но о тебе, государь! Что бы ни постигло меня, скажу, что ты должен страшиться Божия гнева. Твои чертоги – вертеп убийств.

Анна произнесла слова эти почти с испугом. Иоанн, дрожа от ожесточения, схватил тяжелый жезл. Тогда Анна, став у иконы Богоматери и сложив крестообразно руки на груди, безмолвно ожидала удара.

– Прочь от иконы! – вскричал Иоанн.

– Рази! Невинным открыто небо!

Эти слова спасли Анну. Рука Грозного остановилась. Иоанн не верил себе, это ли смиренная сирота, это ли кроткая Анна, избранная им в супруги, взор его сверкал негодова-

нием.

Бледная, но уже спокойная, как ангел, вся в Боге, мыслию и душою, величественная и смиренная, она стояла под образом, осеивающим ее лучами, и грозным казался Иоанну лик Богоматери.

Отбросив жезл, Иоанн начал ходить по чертогу; тогда Анна перекрестилась и, став на колени, поклонилась три раза иконе небесной Заступницы.

– Удались, – сказал тихо Иоанн, – и готовься к отъезду в обитель Тихвинскую.

Царица вышла.

«Откуда дерзость в слабой жене?» – подумал Иоанн и вспомнил, что Анна в сиротстве ее была призрена Курбскими. «Это остатки плевел адашевских! – воскликнул он. – Пускай же обитель будет вечным ей заточением!»

Часть четвертая

Глава I. Царица в обители Тихвинской

Зимнее утро белело инеем на высоких горах Тихвинского женского монастыря; звон колоколов далеко разносился в округности; толпы народа теснились на пути к святой обители, ожидая прибытия царицы Анны. Еще задолго разнеслась весть, что государыня едет из Москвы в монастырь на богомолье, и все жители окрестных мест желали видеть ее и поклониться доброй царице.

Снег падал частыми хлопьями, но метель не разгоняла народа, всегда любопытного, всегда усердного к государям. Скоро показались вдалеке широкие сани, обитые пушистыми собольими мехами; в них сидела царица с боярынями; народ раздвинулся и с благоговением приветствовал ее радостным криком и желанием благоденствия. Царица кланялась приветливо; сопровождавшие ее бояре наделяли бедных страдальцев щедрою

милостынею, и вокруг шумел говор народа: «Вот наша матушка, наша царица благочестивая!»

Приятность вида кроткой Анны возбуждала общее удивление, но что-то горестное таилось в самой улыбке ее; игуменья и за нею сестры, шествуя по две в ряд, встретили ее пред самой оградой; здесь лик Богоматери, поднесенный инокинями, казалось, призывал царицу под кров свой. Смиренно преклонилась Анна пред чудотворной иконой, и весь народ с умилением последовал примеру царицы – все пали на колена: старцы и дети, бояре и служители их.

Игуменья приветствовала государыню с благополучным прибытием, и Анна вступила за нею в соборную церковь, где мольбы ее соединились с молитвами отшельниц и о благе царя и России.

Тихое священное пение раздавалось под сводами храма и проникало душу царицы утешением и спокойствием. Отсюда спешила она посетить кельи сестер: с каждою из них беседовала и, шествуя по переходу, спросила игуменью о числе живущих в обители.

– Тридцать сестер, государыня, – отвечала игуменья, – и только одна из них, страждущая болезнью, сестра Глафира, не удостоилась представиться твоему царскому величеству.

– Я хочу сама ее навестить, – сказала Анна и спешила войти в келью больной.

Она увидела ее на одре; страждущая, сложив руки, преклонила голову пред крестом, следы слез видны были на ресницах ее; тихая молитва вылетала из уст.

Но какое было изумление царицы, когда, подойдя к сестре Глафире, она узнала в ней свою благодетельницу, княгиню Гликерию Курбскую.

Прежде, нежели княгиня могла припомнить черты ее, Анна бросилась к ней, схватила ее руку и, прижав к сердцу, вскричала:

– Воспитательница моя, где нахожу я тебя?

Княгиня с изумлением слушала ее и не понимала этой благодарности, но, узнав, что пред нею сама царица, хотела упасть к ногам ее. Анна не допустила этого и заключила ее в объятия.

– Неисповедимы судьбы Господни! – вос-

кликнула княгиня, всплеснув руками. – Царица приходит ко мне, и я в ней вижу свою питомицу! Бог возвеличил твое смирение и утешил меня твоим присутствием.

– Велика ко мне милость Его! – воскликнула Анна. – Когда я еще увижу тебя. Здесь от-
радно душе моей; здесь в благоговейных мо-
литвах прославляется имя Господне!

Наступил час трапезы, и царица, отпустив игуменью и сестер, пожелала остаться в келье Глафиры.

– Я хочу, – сказала она, – разделить трапезу с той, которая некогда питала меня; желала бы, благочестивые сестры, поселиться у вас в сей мирной обители; надеюсь, что Бог совершит чистое желание сердца!

Царица осталась наедине с Глафирою и, предавшись чувствам своим, с любовью взяла ее руку.

– Мы здесь одни, – сказала она ей, – забудь, что ты видишь царицу; твоя Анна пришла к тебе; благодарю за твои попечения, за твою любовь ко мне; дозвожь мне называть тебя по-прежнему матерью. Матушка, я здесь счастливее, нежели в царских чертогах.

Глафира слушала ее с удивлением; давно уже лицо княгини Курбской не оживлялось столь сильными чувствами; слезы умиления катились по щекам ее. Хотя ей известно было о необыкновенной судьбе ее питомицы, перешедшей из боярского дома на трон, но она не ожидала встретиться с нею в Тихвинской обители и с такими чувствами смирения видеть супругу Иоаннову. Она страшилась за нее и не удивлялась желанию Анны, предпочитавшей тишину монастырского уединения великолепию Кремля.

– Какая перемена, – сказала она государыне. – Я жена изгнанника, ты супруга царя! Но верь мне, я не ропщу на виновника моих бедствий и молюсь за него.

– Ты молишься! – сказала Анна. – О душа ангельская! Да услышит Бог твои моления. Но нет, мольбы твои обличат его пред Богом. Увы, как изменилась ты! Такой ли я тебя видела?

– Чувствую, что близок предел страданий моих, – продолжала княгиня. – Не жалею о сем, добрая государыня; я жена осиротелая, мать злосчастливая; сын мой погиб, супруг мой

погубил себя; но я с терпением несу крест; Спаситель нес его; есть лучшая жизнь, есть лучший мир, там найду я моего Юрия; туда собираюсь я и, пока живу, молюсь за моего бедного супруга и за царя его.

На другой день инокини собрались в келию страждущей сестры Глафиры; она уже не могла вставать с болезненного одра; благочестивые сестры окружали ее с заботливостью; между ними была и царица.

Не одна одежда отличала ее от прочих сестер; ее можно было узнать по нежному участию, с каким она стояла у одра больной, подавая ей питье, отирая пот с чела ее, поправляя изголовье; казалось, что нежная дочь стояла пред страждущею матерью. Глафира заметила ее слезы и кротко сказала ей:

– Не тоскуй о нашей близкой разлуке; душа моя уже давно стремится к Создателю; в Его обители нет ни слез, ни скорби; там просветлеет счастье наше. Сегодня мне представился в сонном видении вертоград красоты неописанной: над ним, как море, разливалось сияние, радуга полукругом обнимала небо от одного конца до другого; над нею блистали

несчетные звезды и солнце; края радуги, касаясь земли, превращались в два светлых источника; от них веяло животворной прохладой; но я лежала среди тернов колючих, томясь жаждой и не имея сил подняться с земли. Мимо меня пролетали ангелы и призывали меня лететь за ними. «Нет крыльев и силы!» – говорила я. Тогда они сказали: «Три крыла возносят к небу: вера, любовь и надежда». Тут увидела я инока; он зачерпнул воды из источника и подал мне; я испила, встала с тернов, три светлых ангела подали мне венки, и я понеслась в море света.

– Сон твой внушил тебе благочестивые мысли; вчера ты говорила со мною о любви к Богу, о надежде и вере; вчера ты указывала нам радугу после дождя из окна твоей келии.

– Но душа моя жаждет испить от источника жизни вечной; хочу свершить священный долг христианский; призовите ко мне инока ближайшего монастыря принять жертву покаяния и утолить жажду души моей Святыми Дарами.

– Да подкрепят они жизнь твою! – сказала царица, отирая слезы.

– Уже я прошла мое поприще, – продолжала Глафира. – Не желай возвратиться мне к жизни земной; двенадцать лет уже, как я обрекла себя Богу; все принесла в жертву Ему, и скорбь о супруге, и память о сыне.

– В Боге живет душа твоя, и Его никто у тебя не отнимет, – сказала царица. – Поживи для друзей твоих!

– Разве я не буду жива для них, – спросила княгиня, прижав руки Анны к сердцу, – когда возвращусь к источнику жизни и света?

Скоро пришел почтенный старец, инок мужского Тихвинского монастыря, в сопровождении юного черноризца, его послушника, несшего священные книги, крест и посох старца.

Исполненная чистейшей веры и твердая в святой надежде, Глафира принесла покаяние со слезами любви к Богу. Все, что колебало ее мысли, все, что смущало ее на пути жизни, представлялось ей преступлением пред Тем, кто должен быть единственной целью человеческой любви и желаний бессмертной души.

– Прискорбно мне, – говорила она пред

всеми, проливая слезы покаяния, – что предавалась унынию и не всегда с терпением сносила жребий мой; все время земных бедствий не есть ли минута пред вечностью? Жалею, что давно не имела сил разорвать оковы земных склонностей, не допуская душу предаваться Богу, волею которого живем и умираем. Прости мне, святой отец, во имя Господне! Простите, сестры, мои вины пред вами, если чем заслужила от вас нареkanie.

Старец, царица и все присутствовавшие при этом признании чистой души проливали слезы умиления.

– Приди ко мне, Спаситель мой! Тебя ожидала я! – воскликнула Глафира, коснувшись устами священной чаши. – Освяти душу мою и спаси меня, помяни сына моего Юрия, – прибавила она тихо, – и спаси отца его!

При этих словах молодой инок, который давно уже не сводил глаз с княгини, вдруг изменился в лице, зарыдал и, упав к подножию одра, схватил руку ее, воскликнув:

– Благослови, благослови меня!

Княгиня взглянула на него; до того времени не обращала она внимания на окружаю-

щих ее, предавшись благоговейному чувству, приподнялась, качая головой; сердце ее казалось ей воскресшею надеждою; все черты ее сына представились ей в лице инока, и она простерла к нему дрожащие руки.

– Родная! – сказал инок, преклоняясь до земли.

– Ты сын мой! Юрий... Спаситель мне возвращает тебя.

Она с трудом дышала; лицо ее изменилось от сильного волнения, она опустилась на одре и несколько времени лежала безмолвно; но прежнее спокойствие скоро появилось в лице ее; чистая, небесная радость оживила черты.

– Благословляю Провидение! – сказала она, возведя взор к небу и сложив руки с благоговением. – Бог возвратил мне в тебе отраду жизни моей. Ты закроешь глаза матери!

Все присутствовавшие были поражены этим неожиданным случаем; их судьбой, разлучившей мать и сына и соединившей теперь в стенах Тихвинской обители.

– Прошу, да скроется в стенах этих тайна возвращения сына моего, – сказала княгиня,

обратясь к окружающим. – Умоляю вас священными тайнами божественных даров; от этого зависит спасение жизни его.

Все единодушно дали обет в молчании. Тогда Глафира пожелала узнать все случившееся с Юрием после разлуки их.

Рассказ его еще более воспламенил в душе Глафиры удивление и благодарность к неисповедимому промыслу Всевышнего.

Уже приближался вечер. Тихо катилось на запад блестящее светило. Инокини, считая шестнадцатый час дня, спешили к службе вечерней; одна царица оставалась в келье княгини, ожидая ее пробуждения.

Глафира открыла глаза и искала взглядом сына. Юрий приблизился.

– О, сколь утешена я! – сказала она тихо, едва внятно.

Юрий с прискорбием заметил, что последние силы ее исчезли и жизнь готова была угаснуть.

– Сын мой! – продолжала она, стараясь высказать ослабевающий голос. – При конце жизни моей, заклинаю тебя! Предав прах мой земле, вспомни, Юрий, об изгнаннике, отце

твоим! Я знаю, что он живет в Литве, пользуясь почестью при польском короле; знаю, – повторила она вздохнув, – что он уже супруг другой жены; но он несчастлив, сын мой; не может быть счастлив! Иди к нему, утешь его; ты еще не связан обетом инока... и принеси ему последнее прощание твоей матери.

– О родительница, благослови меня в путь, – сказал Юрий, и мать осенила его крестным знаменем и призывала на него благословение Божие. Сделав последнее усилие, она простерла руку к подошедшей царице, и слеза выкатилась из глаз ее.

Это была последняя слеза; взор ее обратился на небо; она вздохнула и тихо скончалась. Царица и Юрий упали к ногам ее. Заходящее солнце, освещая уединенную келью Глафиры, скрылось, и последний луч его исчез с ее отлетевшею душою.

Возвратившиеся от вечерних молитв инокини застали уже сумрак и безжизненное тело сестры их, счастливой страданием и кончиною. Судьба ее свершилась; не осталось и следа ее скорби; тогда-то поняли предстоящие ей все благо земных бедствий, все достоин-

ство великодушия, всю святость терпения.

Вскоре после этого горестного события царице донесли, что в обитель прибыл из Москвы боярин Шереметев с царским словом. Анна спешила услышать что-нибудь неожиданное. Шереметев почтительно поклонился ей. Царица, заметив его смущение, предупредила его ласковым словом.

– Прости, государыня, если опечалю тебя, – отвечал Шереметев. – Бог посылает тебе испытание.

– Какое? – спросила с твердостью Анна. – Я покорна воле Всевышнего.

– Супруг твой, великий государь, царь Иоанн Васильевич, присудил тебе, государыня, остаться в Тихвинской обители и посвятить себя Богу.

С радостью и недоверчивостью слушала Анна и заставила Шереметева повторить слова его.

– Услышала меня Пресвятая Владычица! – воскликнула она, повергшись на колени. – Ты приемлешь меня под свой благодатный покров.

С умилением смотрел на нее Шереметев.

Как чист был этот порыв непорочной души к Богу; в какой красоте представлялась царица, предпочитающая всему венец Небесного Царства. Тяжкое бремя спало с души ее. Земное уныние исчезло; душа ее, в смиренной молитве, свободно возносилась на крыльях любви к Богу.

В невыразимом благоговении стоял Шереметев, устремив на нее взгляд. С светлым лицом обратилась к нему Анна и, сняв с себя золотую цепь, подала ему ласково.

– Отвези от меня сей дар супруге твоей, а государю скажи о моей благодарности за его милость ко мне.

Шереметев подал царице роспись выдач, назначенных ей в обители из царской казны. Анна, видя новый знак покровительства Божия, тогда же определила сей дар в жертву благотворениям.

– Донеси государю, – сказала она, – что его дар благословится многими. Будь свидетелем моего обета Богу.

Призвав игуменью и сестер, Анна объявила им с радостью о неожиданной вести. Удивление, прискорбие и удовольствие благоче-

стивых сестер так слились в душе их, что они сами не могли постигнуть чувств своих.

Вскоре совершился священный обряд пострижения. С этого дня Анна приняла в инокинях имя Дарии и уже смотрела на обитель как на вечный приют свой.

– Государыня! – сказал Шереметев, прощаясь с нею. – В одежде ангельской вспомни и о нас в молитвах твоих.

– Прости, Шереметев! – сказала новоназванная Дария. – Поклонись царю и Москве. Теперь, – продолжала она, весело обратясь к окружающим ее инокиням, – теперь мы не расстанемся.

Шереметев, садясь на коня у ограды, слышал, как тихое пение раздавалось в стенах святого храма. Боярин еще долго прислушивался: оно казалось ему пением ангелов, радующихся спасению души человеческой; он не мог знать, что спустя полвека в Тихвинской обители еще будет молиться старица Дария; что шведы разрушат монастырь Тихвинский, и царица-отшельница будет скрываться в дремучем лесу, но когда русские изгонят пришельцев, Дария возобновит обитель вели-

колепнее и обширнее прежнего. Он не знал, что юный родоначальник нового державного поколения Романовых, Михаил, успокоив Россию, вспомнит о смиренной вдове Иоанна Грозного и, желая почтить в дни брачного своего торжества, пошлет ей богатые дары и примет ее благословение.

Юрий спешил исполнить завет матери, но судьба поставила преграды его стремлению. Он вышел из Тихвинской обители, но война помешала ему достигнуть литовских пределов. Три года провел он, странствуя по обителям Псковской области. Щедрая помощь царицы Анны обеспечила его в пути.

Проходя как-то лесом, Юрий внезапно был окружен отрядом ливонских наездников. Они ограбили его и хотели бросить в овраг, но жизнь его спасена была отрядом дружины псковского наместника. После долгого пути, терпя нужду и бедствия, Юрий изнемог и принужден был еще на год остаться в Пскове; укрепясь там в силах, он снова пустился в дорогу.

В Юрьеве остановился он в доме одного из зажиточных граждан, но не хотел долго оста-

ваться в городе, где многое напоминало ему жизнь при отце и горестное прощание с ним в ночь его бегства. Хозяин дома, человек радужный, хотя угрюмой и некрасивой наружности, сам пригласил под кров свой русского инока; молодая хозяйка ласково встретила пришельца, а дети, игравшие при входе незнакомца, с удивлением смотрели на его одежду и с робостью прижимались в угол. Заботливая мать, подозвав их, шутила над боязнию их, а отец внимательно смотрел на Юрия.

– Мне кажется, Минна, – шепнул Вирланд жене, – что лицо его напоминает того русского князя, который был грозою нашего края.

– Князя Курбского? – спросила Минна.

Юрий не без замешательства услышал это имя, опасаясь быть узнанным, но догадки хозяев далее не простирались, разговор перешел на другое.

– Я люблю русских, – продолжал Вирланд.

– Под властью их край наш спокойнее, но время еще опасно. Царь московский, короли польский и шведский грозят нам и спорят, деля Ливонию, а, на беду, еще напугал нас гра-

битель Аннибал Шенкенберг. Этот злодей подчас налетит неведомо откуда, пропадет неизвестно куда. В лесах видят и слышат его, но до сих пор не поймали.

Юрий рассказал о случившемся с ним, и по описанию его Вирланд в предводителе узнал Шенкенберга, некогда бывшего прислужником в Тонненберговом замке.

К радости юрьевских граждан, скоро открыли убежище разбойника. Шенкенберг был захвачен дружиной псковского наместника и приведен, скованный, в Юрьев. Толпы жителей окружали его с боязнию. Простолудины почитали его чародеем, а по злему его виду, курчавым волосам и оскаленным зубам принимали за лукавого духа. Немцы хотели было забросать его камнями, но он уцелел под воинскою стражею, пока не отослали его в Псков, где в страх грабителям он изрублен был мечами.

Еще несколько месяцев война преграждала пути к ливонской границе, но скоро заключили перемирие, и Юрий смог отправиться к цели своего путешествия.

Глава II. Ковельский замок

Польша изменилась с избранием в короли Стефана Батория. Война с Московией была на сейме главным условием королевской короны. Курбский желал представиться новому королю, уважая в Стефане мужа благодушного и просвещенного. Баторий, любя славу мужества и высокий ум, оставил Курбского в числе первостепенных вельмож и даже заочно почтил его своей приязнью. Счастье снова улыбнулось Курбскому.

Прошло около года. Новый король прибыл в Вильно, и Гетман Замоийский известил Курбского, что король надеется видеть его на торжественном акте виленской академии, открытой по повелению Стефана.

Множество посетителей собралось в обширной академической зале, но первый ряд широких, с позолоченною резьбою кресел еще не был занят. Ученики в коротких черных епанчах стояли строем, шепотом ободряя один другого и проверяя в памяти латинские речи, которые они должны были говорить знаменитым посетителям. Пред ними с забот-

ливным вниманием стояли иезуиты, наставники их, надеясь блеснуть их успехами перед королем, своим покровителем. Благодарность их поместила на стене залы изображение короля, как виновника их празднества. Курбский вместе с другими подошел к этому изображению. Польские воеводы, указывая на портрет мужественного короля, хвалились, что он в битве храбрее всех, старый сенатор прибавил к этому, что нет благоразумнее сенатора и учение законоведца, как Стефан Баторий. Одни хвалили его набожность и добродушие, другие – простоту и приятность беседы.

– Правда, правда, – сказал князь Радзивилл, – он во всем король; в нем и сила королевская; он на охоте и льва одолеет.

Так говорили о Стефане Батории. Вдруг грянула музыка и раздалась торжественная песнь; все собрание встало, почтительно приветствуя короля.

Стефан Баторий благосклонно окинул взглядом окружающих. Он был среднего роста; в широких плечах его угадывалась сила, лицо было смугло, но вид его не был суров;

в нем сияли сановитость и ум, а когда говорил он, веселая улыбка украшала речь его и можно было любоваться его зубами, белыми как жемчуг. Его сопровождали великий гетман Замойский и сандомирский староста Пенкославский. Замойский, увидев Курбского, поспешил представить его Баторию.

– Нам приятно, – сказал король, – встретиться в обители мирных наук.

– Здесь имя Стефана Батория так же славно, как и на полях войны, – отвечал Курбский.

– Война не должна мешать просвещению. Лавры – украшение меча, – сказал Баторий. – Посмотри, князь, на успехи моих питомцев.

Выслушав приветственную речь на латинском языке, король с удовольствием слушал перевод записок Юлия Цезаря. Стефан знал почти наизусть записки его и, помогая в объяснении ученику, сказал ему:

– Учись, учись, молодой человек, я тебя сделаю паном!

Оглянувшись на Курбского, внимательно слушавшего объяснение, король спросил:

– Я слышал, князь, что и ты любишь ла-

тинский язык?

– Государь, это язык великих людей и великих писателей.

– Хорошо учиться ему в академии, а для меня изучение было труднее, но я благодарен немцам, что понимаю Юлия Цезаря.

Баторий намекал на трехлетнее свое заключение, когда еще в звании Сигизмундова посланника он был задержан при венском дворе и не унывал в заключении, читал Тацита и выучил наизусть записки Юлия Цезаря.

– Цезарь много помог мне, – продолжал Стефан. – Это наставник-полководец. Учись, молодой человек, по-латыни, – повторил король питомцу, – я тебя сделаю паном.

На другой день Курбский по назначению короля был на совещании во дворце.

– Князь! – сказал ему Баторий. – Крымский хан просит меня, чтобы ты был вождем полков его. Зная твою храбрость, я не дивлюсь его просьбе и предлагаю тебе согласиться. Ты будешь полезен нам.

– Государь, – отвечал Курбский, – я страдаю от недугов прежних ран и скорее положу под меч мою голову, чем буду служить под

знаменем неверного против земли христианской. Пощади меня, не увеличивай вины моей пред отечеством.

Король понял его чувства и не возобновлял своих требований. Отпущенный благосклонно Баторием, Курбский возвратился в Ковель.

Был тихий вечер, солнце садилось за холмы, розовое сияние разливалось по струям реки и, как пурпуровая фольга, отражалось в окнах отдаленного здания, когда молодому путнику открылись при повороте за холмом белеющие башни Ковельского замка, они гордо поднимали верхи свои над рощею, и флаг с гербом владетеля замка, с изображением льва среди венка из цветов, высоко развевался в воздухе. Сквозь просеку тянулась песчаная дорога к железным воротам каменной ограды. Юрий с трепещущим сердцем приближался к ней и за несколько шагов от ограды повстречал привратника.

– Кому принадлежит этот замок? – спросил он, поклонясь привратнику.

Викентий с удивлением посмотрел на

него. Ему странно было видеть молодого человека в одежде русского инока, идущего в Ковельский замок, где собирались только ученые польские паны.

– Это замок ясновельможного князя Ковельского, Андрея Михайловича Курбского.

– Друг мой, – сказал Юрий. – Доложи вельможному князю, что русский черноризец просит пристанища в замке; я иду далеко, но ослабел в пути и боюсь захворать.

– Нам не до русских монахов, – сказал грубо Викентий, – мы ожидаем сюда короля, Стефана Батория.

– Мне немного надобно места в этом обширном замке, – возразил Юрий. – Какой-нибудь угол в одной из башен, прошу тебя, скажи обо мне твоему господину.

– Прежде надобно сказать дворецкому Флавиану; подожди меня у ворот, я тебе дам знать.

Привратник удалился, и сердце Юрия исполнилось невыразимым чувством. «Боже! – говорил он мысленно. – Здесь ли я увижу отца моего, под этим ли кровом обитает князь Курбский? Вот замок, принадлежащий ему.

Наконец, через пятнадцать лет разлуки, я увижу отца; но что свершилось со мною и с ним? Где встречу родителя? Узнает ли он сына, пришедшего к нему с последним прощанием злополучной матери? Уже другая носит имя княгини Курбской. Отец, не лиши меня любви твоей: я оставил святую обитель, исполняя волю родительницы, я пришел упасть в твои объятия и утешить твое болезненное сердце!»

Привратник возвратился и сказал ему, униженно кланяясь, что князь Ковельский приглашает его, радуясь, что может дать пристанище русскому. Юрий последовал за ним и, чувствуя слезы, скатывающиеся из глаз, отирал их украдкой.

По каменному крыльцу, огражденному мраморными перилами, Юрий вошел в сени; на четырехугольном столбе прикрепленный троеручный светильник озарял путь под темными, высокими сводами. Отворив дубовую дверь, Юрий очутился в обширной комнате, в которой прислужники чистили оружие, а богато одетый дворецкий важно расхаживал, поправляя усы, и внимательно оглядел с голо-

вы до ног пришельца.

– Ясновельможный князь ожидает вас, – сказал он Юрию. – Идите прямо через залу.

Юрий вошел в залу, стены которой убраны были разными украшениями из кедрового дерева и представляли взору его множество портретов польских королей и прежних владетелей Ковельского замка. Черные бархатные кресла, с позолоченною резьбою и шитые золотыми травами, стояли в углублении залы, а примост у высоких окон услан был богатыми цветными коврами; у одного из простенков на мраморном столе стояли часы в серебряной пещере, у которой медный геркулес, подняв палицу над девятиглавою гидрою, при каждом бое часов ударял ее в голову, по углам стен висели блестящие рыцарские вооружения.

Юрий быстро окинул взглядом залу, проходя в следующий покой. Там при свете лампы, горевшей пред иконой Спасителя, возле круглого стола из черного дерева он увидел сидящего в широких, обитых парчою креслах, величавого, угрюмого человека; смуглое лицо его изрезано было рубцами и морщинами, но

еще сохранило выражение возвышенного ума и благородной души; седые волосы его свидетельствовали не преклонность лет, но силу скорби, убелившей безвременно его голову. Юрий еще мог узнать в нем отца своего, пережившего бурю злосчастия, но в то же время подумал: «О боже, боже! Как меняется человек!»

Юрий скрепил все силы души своей, чтоб не вдруг открыться пред отцом, но испытать прежде чувства его и узнать, чем можно успокоить его преклонные дни. Он почтительно поклонился князю, который обратил на него быстрый, внимательный взгляд.

Неизъяснимое чувство исполнило душу Курбского, что-то влекло его к молодому иноку. Безмолвствуя в душевном волнении, поднялся он с кресел и, не сводя глаз с пришельца, подошел к нему, взял его за руку, и рука его задрожала, он сжал ее с нежным участием и сказал:

– Добро пожаловать, единоплеменник, пришелец с русской земли! Какие вести принес ты мне о моем любимом отечестве?

– Я странник, светлейший князь, и проби-

раюсь в Литву повидаться с родными, мы молимся о России и храбрых ее защитниках, а не знаем дел светских, но ослабел я в трудном и долгом пути: прошу дать мне пристанище под кровом твоим.

– Благодарю за посещение твое, радостно мне услышать здесь слово со Святой Руси, но разве, юноша, я известен тебе, что ты ко мне обратился?

– Имя твое помнится землею русскою, – отвечал Юрий. – Еще отцы твердят о твоей храбрости детям, престарелые воины еще вспоминают о любимом вожде их.

– Друг мой! – прервал с живостью Курбский. – Для чего вспоминают они? Память моя покрыта позором, я здесь беглец и изгнанник. Не упрекают ли меня русские?

– Они знают, – отвечал Юрий, – что ты любил Россию и проливал кровь за отечество, они оплакивают твое бегство и судьбу твою.

– Так, юный инок! Ты справедливо сказал: среди блеска, меня окружающего, судьба моя достойна слез! Забудь, что ты видишь князя Ковельского; обними меня, единоземец! Дай прижать Курбскому хоть одного русского к

осиротелому сердцу; помолись обо мне, инок, чтоб Бог простил мне вину пред отечеством. Не против России восстал я, – прибавил Курбский со вздохом. – Отдохни в замке моем, дворецкий мой отведет тебе светлый покой. Там найдешь ты и святые иконы и летописи, если есть охота знать события веков прошедших. Пользуйся моею трапезою и останься у меня, сколько пожелаешь; чем долее, для меня приятнее.

Юрий поклонился князю и быстро вышел, чтоб не зарыдать и не броситься в объятия родительские.

Прошло несколько дней, и все в замке говорили о необыкновенной ласковости князя Ковельского к юному иноку, иные подозревали в этом тайные сношения князя с Россией, другие были уверены, что Курбский так благосклонно принял его или по набожности из уважения к духовному сану, или по любви к отечественным летописям, над коими трудились иноки. Курбский почитал за драгоценность духовные книги, почему и подумали, что юный инок доставил ему какую-нибудь любопытную рукопись.

Между тем как ожидали в замке прибытия князя Константина Острожского и самого Стефана Батория, обозревавшего Волынию, внезапно удивил всех нечаянный приезд княгини Елены Курбской. Ее сопровождали Иосиф Воллович и множество пажей.

Князь встретил ее в зале с холодной учтивостью.

– Чего ожидать нам с прибытием вашим, княгиня? – спросил он. – Ковельский замок не представит вам тех приятностей, какие вы находите в Дубровицах: здесь уединение, там шумная веселость.

– Не для веселья прибыла я сюда, – отвечала гордо княгиня, – но чтоб положить предел огорчениям. Согласитесь, князь, что титул княгини Курбской мне в тягость; я намерена здесь ожидать прибытия короля и просить его быть между мною и вами посредником. Между тем любезный брат мой Иосиф, – продолжала она, указывая на младшего Волловича, – позаботится развлечь мою скуку чтением рыцарских повестей или игрою на лютне.

– Охотно желаю, княгиня, – отвечал Курбский, – чтоб игра молодого певца заставила

вас позабыть угрюмость старого воина.

– Нет, князь, – отвечала Елена, – не измененные звуки любила я, но песни победы и славы; не русского князя избрала я супругом, но храбрейшего воеводу, которого великие подвиги, справедливые или вымышленные, привлекли к нему мое сердце. Я желала приобрести в нем героя моему отечеству, обманулась я, князь, жестоко обманулась! Герой мой читает Библию и вздыхает о суете мира...

– Княгиня, было время, когда рука моя не утомлялась победами, бедствие привело меня в Польшу: здесь почтили заслуги воина; блеск ума и красоты в спутнице моей жизни дал мне надежду забыть горестную судьбу мою, и я обманулся, княгиня, жестоко обманулся! Я узнал, что не довольно одного блеска для счастья; есть время, когда душа стремится к другим чувствам, призраки света, еще уловляющие ваше внимание, рассеиваются перед моими глазами. Желая, чтоб вы долее верили им, долее обольщались приятными мечтами о счастье; мое счастье погибло, вот почему я уединился под ковельскими сводами, предоставя вам роскошь и пышность в Дубровицах.

– Простите, князь, за беспокойство, которое я нанесла вам своим присутствием, надеюсь, что беседа русского монаха рассеет ваше уныние.

Поклоняясь князю, Елена поспешно удалилась в отдельные покои замка, которые оставались пустыми в ее отсутствие и назначались для виленского пана Иеронимова, бывшего с князем в приязни.

Елена недолго оставалась в Ковеле. Несколько дней еще ее удерживала надежда встретиться с королем. Но, узнав, что Баторий, отзываемый важнейшими обязанностями, отменил намерение прибыть в Ковель, княгиня скоро отправилась, оставя Курбского с другом его, князем Константином Острожским.

Часто оба они, сев на коней, проезжали по холмам около берегов Горыни, а иногда на ладье неслись по извилинам Турии, обозревая окрестности Ковеля и беседуя о любимой теме Курбского – ограждении православия от новых учений.

Победы Иоанна Грозного обратили Курбского к другим мыслям. Иоанн вступил с вой-

ском в Ливонию. Молодой супруг царской племянницы, датский принц Магнус, был избран к покорению Ливонии, с титулом ливонского короля. Многие города сдались Магнусу, но, легкомысленный, он располагал быть полным властелином Ливонии, тогда как Иоанн считал ее своим приобретением. Скоро открылось, что Магнус, чтоб сохранить себе королевский титул, замышлял отдаться в покровительство Батория. Иоанн вызвал его к ответу, но в Вендене оставалось много приверженцев Магнуса. Они заперлись в замке и не сдавались. Страшась Иоанна более смерти, они взорвали на воздух древний замок и погребли себя под его развалинами.

Иоанн торжествовал победы свои в том самом Вольмаре, где некогда спасался Курбский от гнева его. Иоанн вспомнил Курбского и с пленным литовским сановником, князем Полубенским, послал к нему новую грамоту. После полного своего титула, смиренного сознания своих беззаконий и надежды на Божию милость Иоанн укорял Курбского и за ласки семейству Курлятева, и за мысль возвести на царство князя Владимира, и за многое, в чем

подозревал его. Представляя промысл Божий в победе своей над Ливониею, он писал: «Бог дает власть, кому хочет, и без тебя побеждаем! Где ты думал укрыться, мы тут. Бог нас принес на покой твой, и мы прошли далее твоих дальних городов, а ты еще далее бежал от нас! Рассмотря дела свои. Не гордясь пишу тебе, но к напоминанию исправления, чтобы помыслил ты о спасении души своей».

Среди блистательного собрания у князя Ковельского неожиданно разнеслась весть, что прибыл гонец от царя московского с грамотой к Курбскому. Гости его были удивлены, и общее любопытство обратилось к царскому посланнику. Это был высокий, смуглый казак, веселого и добродушного вида.

Курбский рассматривал грамоту с заметным смущением, но, желая скрыть свои чувства, стал расспрашивать казака о его походах.

Бурнаш, так назывался вручитель грамоты, перебывал во многих странах, был и в Мунгалии, и даже в Китае.

– Да, – говорил он, приосанясь и поглаживая бороду, – великий государь посылал меня

с товарищем, атаманом Петровым, проводить иных государств, где какие люди и обычаи, и ездил я от Бухары до моря.

– Что же видел ты в Мунгалии? – спрашивали окружающие.

– Видел города: строены на четыре угла, по углам башни, дворы и палаты кирпичные, а кровли разноцветные, храмы клином стоят, а наверху звери, неведомо какие, все каменные.

Курбский усмехнулся.

– Я и внутри был, – продолжал Бурнаш. – Против дверей высоко сидят болваны каменные, все золоченые, и пред ними свечи неугасимые. А моление мунгалов: поют в две трубы превеликие, как затрубят в трубы, да забьют в бубны, и припадут на колени, всплеснут руками, да расхватят руки и ударятся о землю, лежат с пол часа недвижимы, а запоют, страх человека возьмет!

Много еще рассказывал Бурнаш, но гости недоверчиво переглядывались, думая, что, по обыкновению путешественников, он мешает быль с небылицами.

Курбский, оставшись наедине с Иеронимо-

вым, одним из любимых своих гостей, с досадой перечитывал письмо торжествующего Иоанна.

– Ты решил отвечать? – спросил Иеронимов.

– Ответ готов в мыслях моих.

– Каким величанием ты почтишь Иоанна?

– Страннику не до величаний. Скажу, что лишнее убогому князю Ковельскому исчислять титула державного, что простой воин недостойн прислушать ухом исчисление грехов его, но дал бы Бог, чтобы покаяние его было истинное, а не хромало на оба колена, спотыкаясь на унижение и на гордость. Лукавый наущает каяться только устами.

– Думаю, что ответ твой будет пространен,

– сказал Иеронимов.

– Нет, сокращу мое письмо, скажу, что не должно воинам тратить слова, как рабам, да и сам он видит правду слов моих; пред ним голод, мор, меч, послы гнева Господня. Под Тулой, под Казанью мы платили дань саблями в главы бусурманов, а теперь Иоанн хоронится от татар по лесам с кромешниками. Он укоряет, что я восстал на Русь; но и Давид, гонимый

Саулом, принужден был с языческим царем воевать землю израильскую, а я предался королю христианскому. Давно готов мой ответ на письмо Иоанна; но затворил он русское царство, а теперь будет случай послать к нему и прежнюю грамоту с письмом королевским.

Курбский убеждал Иоанна не писать более к чужим подданным и заключил свой ответ словами: «Сокращаю письмо мое, чтоб не было подобно твоему; не хочу более спорить с твоею высокостию. Лютость гнева твоего устремляет в нас огненные стрелы свои изда- лека и вотще».

Отправляя ответ свой, Курбский с горестью вспомнил о Шибанове, который в Москве ненадолго пережил свои страдания.

Глава III. Курбский в Полоцке

Несогласия Курбского с княгиней побудили Стефана Батория призвать его в Варшаву, где родня и приверженцы Елены старались возбудить против него негодование короля. Но Баторий не изменил к нему благосклонности.

– Угадай, князь, – сказал король шутливо, – что принудило меня вызвать тебя из ковельского затворничества? К моим воинским заботам, по спору с Грозным, прибавилось еще междоусобие в моем королевстве. Да, князь, междоусобная война между мужем и женою. Тут надобно быть вторым Соломоном, чтоб разрешить, кто прав, кто виновен. Помоги советом рассудить это дело.

– Государь, сохраните справедливость, это ваш долг и надежда подданных.

– Закон и правду я чту выше власти моей. Тебя обвиняют, князь.

– Кто мои обвинители?

– Жена твоя, ее братья и родственники.

– Я не имею нужды в оправдании против них. Княгиня преступила долг доброй жены,

Волловичи, ее поклонники и любимцы, враждуют со мной. Пора положить предел нареканиям их.

– Послушаем и противную сторону! – сказал король, и по звону колокольчика отворились двери приемной залы. Курбский с удивлением увидел княгиню Елену и братьев ее.

– Ваше величество! – сказала княгиня. – Будьте защитником прав моих! Не хочу называть мужем моим человека, который хотел видеть во мне невольницу, отлучить от света и общества, чтоб заключить меня в замке, где он живет нелюдимом.

Иосиф и Евстафий с жаром защищали княгиню, упрекая Курбского в неблагодарности к супруге.

Княгиня продолжала обвинения, Курбский напоминал ей забвение ее обязанностей.

– Вижу, – сказал король, – что трудно согласить вас, но желаю знать, чем прекратить несогласия?

– Избавьте меня, государь, от титула княгини Курбской, – сказала Елена. – Моя холодность к нему перешла в ненависть. Пусть расторгнут союз, за который я вечно буду винить

себя.

– Он расторгнут виновницей, – возразил Курбский. – Я возвращу ей приданое. Пусть ей останутся Дубровицы, а мне спокойствие.

– Будет ли спокойна совесть того, – спросила Елена, – кто изменил отечеству? Чего и нам ожидать? Он почти отрекся от оружия, и на сеймах не слышать его голоса!

– Княгиня! – сказал король. – Советы князя Ковельского мне были полезнее оружия.

– Государь, дозвоьте ей говорить, я заслужил укоры. У меня была верная жена, я оставил ее, убегая позора, грозившего мне, и заслужил позор за новый мой брак, не вспомнив золотого слова о злых женах.

Король усмехнулся, но, не дав договорить ему, с важностью сказал:

– Берегись, чтоб я не перешел на сторону княгини. Ты многое дозволяешь себе; союз супружества свят.

– Церковь соединила нас, пусть она и разлучит! – сказала Елена. – Тогда спадет с меня бремя!

– Король свидетелем моего согласия, – сказал Курбский. – Расстанемся без укоризны.

– Расстанемся! – повторила Елена.

– Итак, мое посредничество закончено! – сказал король, отпустив княгиню.

Курбский благодарил Стефана за участие в нем и, устраняясь от светской молвы и пересудов, вопросов и сожалений, спешил в свой Ковель забыть свои огорчения. Но обстоятельства изменили его намерение; он услышал, что в числе новых Иоанновых жертв погиб и князь Воротынский. При вести о сем, Курбский, забыв неприязнь знаменитого мужа, почтил его горестными слезами и похвалою. «О муж силы и света, исполненный разума и доблестей! – восклицал он. – Славна память твоя, не говорю в твоём неблагодарном отечестве, но и в чужих странах, и здесь, и везде, среди христиан и неверных! Имя твоё славно и пред Царем ангелов, венец твой – венец мученика! Воротынский послужил победами светлыми, непоколебимою верностью, и, полусожженный, он умер на пути к темнице! Не скорби, Курбский, ты оправдан!» Так Курбский извинял себя в борьбе смутных чувств, но печально было это утешение. Жизнь и смерть Воротынского ещё более воз-

вышали достоинства верности отечеству и бросали мрачную тень на дела Курбского.

Иоанн хвалился могуществом в Ливонии. Стремление унижить гордость его побудило Курбского советовать королю идти прямо к Полоцку, где Грозный не ждал нападения. Курбский хотел исторгнуть древнее наследие Рогвольда из-под руки Иоанна, и еще раз облекся в воинский доспех.

Король велел полкам двинуться к Полоцку. Курбский недалеко от Десны, где среди широкой реки возвышается огромный камень, омываемый волнами, видел иссеченный в камне четверосторонний крест с древнею надписью: «Вспоможи, Господи, раба своего Бориса, сына Генвилова». Эта надпись напомнила о благочестии знаменитого полоцкого князя, отец которого первый из литовских князей принял христианство, а мать была дочерью великого князя тверского. Здесь-то некогда неслись суда с запасами для основания святых храмов и обителей полоцких. Путь между подводными камнями представлял опасности, и здесь-то князь Борис, с твердою верою в помощь Бога, вырезал на камне

знамение спасения христианского и оставил вечную молитву о помощи Божией. Столетия, не изгладя надписи, покрыли только мхом изображение креста, вид его обратил мысли Курбского к его собственной участи. Для чего среди волнений жизни потерял он из виду знамение терпения Победителя смерти? Тогда бы остался он чист душою и ничто не удручило бы его совесть! В виду креста безбедно проплыли ладьи сына Генвилова мимо порогов Двины, и давно уже воздвигся храм, в котором вспоминалось в молитвах имя благочестивого князя полоцкого. Размышляя о том, Курбский сетовал на себя.

Русские воеводы мужественно готовились в Полоцке к отражению неприятелей, но с негодованием узнали, что Курбский предводительствует полками литовскими. Баторий со всех сторон обложил город, заградив все дороги. Русские воеводы защищались отчаянно, но упорство и смелость Батория не уступали их храбрости. Полоцк был взят, и знамена Батория развевались над стенами, откуда за несколько лет перед тем московский орел бросал молнии на берега Двины и Полоты.

Русские воеводы заперлись в полоцкой соборной церкви и приготовились умереть. Король предложил им пощаду и почести, лишь бы они присоединились к нему; но истинно доблестные, они отвергли предложение и сказали, что готовы возвратиться к царю своему, что бы ни ждало их от Иоаннова гнева. Лучше смерть от законного государя, чем за измену почет от чужого! Курбский при этом ответе почувствовал свое унижение, но при взгляде на полоцкий замок тотчас вспомнил, что здесь был Иоанн с торжеством победы, и преступная радость заблестала в глазах Курбского. Не победе Батория радовался он, а унижению гордости Иоанна.

Курбский вошел в палату, где король-победитель принимал поздравления. Замойский, увидя его, указал на него польским полководцам.

– Вот путеводное светило Иоаннова счастья, оно померкло для него, но возшло для нас.

Курбский не благодарил за приветствие и краснел от негодования, слыша вокруг себя, как поляки в хвастливых рассказах старались

унизить русских воинов, называя их малодушными беглецами.

Сам король заступился за русских.

– Я знаю их храбрость, – сказал он, – и для нас не было бы славы сражаться с малодушными. Благодарение мужеству и Богу, подателю силы, – продолжал Баторий, подойдя к Курбскому и потрепав его по плечу. – Князь, мы вытеснили отсюда полки Иоанна. Продолжает ли он переписку с тобой?

– Он писал ко мне, государь, по завоевании Вольмара.

– Не пропусти случая отвечать ему с полоцких стен, я беру на себя переслать письмо твое.

Курбский воспользовался предложением и принялся с жаром за новое письмо к Иоанну.

Он писал:

«Если пророки плакали о Иерусалиме и о храме, с ним погибающем, то нам ли не плакать о разорении града Бога живого, твоей церкви телесной, омытой слезами покаяния? Чистая молитва, как благоуханное миро, восходила к престолу Господню, и царская душа, как голубица с крылами сребристыми, бли-

стала благодатью Духа Святого. Такова была душа твоя, церковь телесная! Тогда все добрые последовали твоим крестоносным хоругвям. Но всегубитель привел к тебе вместо сильных воителей гнусных ласкателей; вместо святых любителей правды мужей празднотлюбцев и чревоугодников; вместо храброго воинства кровожадных опричников; вместо книг благодатных скоморохов с гудками; вместо блаженного Сильвестра и советников души твоей собираешь ты, как мы слышим, волхвов и чародеев для гадания о счастливых днях, подобно Саулу. Знаешь, что постигло его. Не щадил ты ни дев, ни младенцев, но о других, ужасных делах твоих оставляю писать и, положив перст на уста, изумляюсь и плачу. Вспомни дни своей юности, когда блаженно ты царствовал. Любящий неправду ненавидит душу свою; плавающий в христианской крови – погибнет. Ты лежишь на одре злоболезненном, объятый летаргическим сном. Опомнись и восстань! Аминь».

В конце письма Курбский приписал:

«Мая 4. В Полоцке, городе короля нашего Стефана, после славной его победы под Соко-

ЛОМ».

Баторий прочел грамоту Курбского.

– Много тут правды, – сказал он, – но она не полюбится Иоанну.

– Горькое врачевство спасительней. Горечь услаждают одним младенцам.

– Ты и в письме говоришь о том. Я вспомнил, что Иоанн любит чтение. У меня нашлись для него любопытные книги! Это яркое изображение жизни его. Пусть увидит, как пишут о нем! – Король показал Курбскому записки итальянца Гваньини.

– Гваньини, – как современник, – продолжал Баторий, – мог еще писать по пристрастию, но Иоанн нашел бы свое изображение и в речи Цицерона против Антония. Жаль, что не знает он латинского языка!

Курбский вызвался перевести ему эту речь и присоединил ее к своему письму. Между тем Грозный просил перемирия, и король отправил к нему с гонцом письма Курбского и книгу Гваньини.

Иоанн на этот раз пренебрег оскорбление; угостил посланного в шатре своем и в грамоте к Стефану, прося отложить военные дей-

ствия, писал, что даст ответ на книгу, когда прочтет ее.

Между тем как польские воеводы, угощаемые королем, пировали в полоцком замке, Курбский отправился в знаменитый храм Спасский, близ города. За широким полем, орошаемым Полотою, воздвигнута была еще в двенадцатом веке обитель Святого Спаса преподобною Евфросиниею, дочерью Юрия, князя полоцкого; деревья, веками возвращенные, осеняли древний храм.

Курбский вошел в тенистую церковь, великолепию которой некогда удивлялись. Стены ее были украшены древнею греческой живописью, представлявшею лики святых угодников, окруженные сиянием. Курбский заметил несколько иезуитов, расположившихся в храме. Стефан Баторий, уважая ученых отцов, отдал им в дар и церковь и землю, к ней принадлежащую. Горестно было Курбскому видеть это. Храм представлял ему великие воспоминания; в алтаре хранился драгоценно украшенный золотой крест, дарованный Спасской обители преподобною Евфросиниею; в нем хранились часть от животворящего

древа Господня и другие дары святых, принесенные ею из Иерусалима.

Четыре века уже лежал этот крест в святом храме с надписью: «Честное древо бесценно есть», и под великим заветом: «Да не изнесется из монастыря никогда же», а на преслушников налагалось заклятие.

Узкий ход под сводом вел в алтарь; по обеим сторонам храма видны были вверху, возле хоров, два небольших круглых окна. Курбский знал по преданию, что в одной из келий, примыкавших к сим окнам, жила некогда праведная Евфросиния, а в другой – святая Параскева, внучка князя полоцкого. Он пожелал видеть убежище, которое предпочла благочестивая княжна чертогам. Удрученный скорбью земных бедствий, он желал помолиться там, откуда возносились к небу святые молитвы ее. Взойдя по узкой лестнице на верхние переходы, он увидел низкую дверь, которая вела в келью. Церковнослужитель отпер ее, но Курбский, остановясь в размышлении, долго не переступал порог, обозревая издали приют спасения святой жены. Пусто и безмолвно было ее убежище. Слабый свет, ка-

залось, сливался в нем с таинственным мраком.

Несколько веков прошло уже после основательницы храма, которая здесь жила, молилась и благодетельствовала. Курбский желал найти какой-нибудь памятник ее бытия; не видно было и признаков, чтоб эта келья была обитаема, но Курбский живо представил себе, что за несколько лет Иоанн, завоеватель Полоцка, стоял перед этою самою дверью; сюда же судьба привела его изгнанника. Нагнувшись до пояса, Курбский прошел в келью, где три шага от одной стены до другой ограничивали все пространство жилища полоцкой княжны. Подойдя к окну, Курбский увидел церковь во всем ее благолепии. В час богослужения он мог бы слышать священные молитвы, но на то время в храме никого не было, и только две неугасимые лампы теплились перед алтарем. Обратясь в другую сторону, Курбский подошел к углубленному в широкой стене круглому окну, из которого открывается вид на необозримое поле и небо. Он поражен был зрелищем нерукотворного храма Божия. Мысль, что у этого самого окна некогда стоя-

ла праведная княжна, обратила Курбского к молитве с глубоким чувством смирения. Никем не видимый, князь благоговейно преклонил колени в обители праведницы. Помолясь, он еще не скоро отошел от окна. Вечерняя звезда, как алмаз, сверкала на синеве сумрака; последние лучи солнца угасали на крутых берегах Полоты; необъятный воздушный свод застилался покрывалом ночи, широкое поле и деревья на нем стемнели, но свет мерцал на вершинах отдаленных зданий, на извилинах реки, и огнецветная полоса зари сияла влево из-за темной рощи; а на дороге чернел кирпичный столб с распятием, по преданию поставленный над преступною инокинею. Курбский взирал на небо; звезды одна за другою появлялись перед ним, как вестники жизни вечной. Небесные утешители, они сияли во мраке, лучи их радовали взор и проникали, как звуки, в душу злополучного вождя; светозарность их отгоняла всякую мысль о земных бедствиях.

– Радуйся в горнем Иерусалиме, земная странница! – говорил Курбский, в благочестивом умилении обращая мыслью к правед-

ной Евфросинии; но, подумав о высоком назначении человека, содрогнулся. Еще утром месть внушила Курбскому уязвить гордость Иоанна известием о взятии Полоцка Баторием, а в эту минуту Курбский скорбел о своем гонителе и плакал об Иоанне счастливых времен Адашева, об Иоанне, которому столько лет готов был жертвовать своим счастьем, своею жизнью, последнею каплею крови.

Выходя из Спасского храма, князь увидел знакомого ему инока, который некогда был при Феодорите.

С таинственным видом сказал ему инок, что Феодорит предвещал ему встречу с Курбским в Литве.

– Не велел ли он чего передать мне? – спросил Курбский.

– Он велел мне, когда увижу тебя, напомнить о гневе Господнем и завещал тебе остановиться на пути гибельном...

Курбский содрогнулся, как будто слыша загробный голос самого Феодорита, и дал завет себе не поднимать более меча на Россию.

Глава IV. Ковельские гости

Юрий жил в ковельском замке в то время, когда отец его был под стенами Полоцка. Князь помышлял уже о возвращении в Ковель. Баторий надеялся обратить Курбского к осаде Пскова и, замечая его нерешимость, негодовал на него. Курбский поспешил откровенно с ним объясниться.

– Верить ли, князь, что ты отрекся за мною следовать? – спросил король.

– Государь, ты видел меня на стенах Полоцка.

– Что же мешает видеть тебя и пред бойницами Пскова?

– Военские труды и прежние раны уже истощили силы мои... Еще более тягчит меня чувство души моей; скажу прямо: во Псков не дерзнет войти Курбский. Там Древняя Русь; каждый шаг укорит попирающего землю отечества!

– Разве ты не сражался против московских полков?

– Так, – сказал Курбский, изменяясь в лице, – но мне казалось тогда, что я шел за Рос-

сию, к низложению гордости Иоанна. Пожалей меня, государь! Ожесточение ослепило меня. Тяжки раны мои, но рана души неисцелима. Пожалей меня, государь, страшен ответ мой пред Богом и потомством; возьми от меня Ковель, не требуй идти на Псков!

Баторий с участием посмотрел на него и позволил возвратиться ему в ковельский замок. Там Курбский желал провести остаток жизни и отказаться от шума и блеска. Более прежнего находил он удовольствие в книгах духовных и в дружеской переписке о предметах веры. Курбский любил уединенные и мирные беседы, иногда перечитывая с Юрием описания жизни героев древности или подвигов христианских страдальцев. «Тяжкий жребий, постигавший людей мудрых, великих, святых, учит презрению бедствий, – говорил он Юрию. – Но счастлив тот, кто может похвалиться терпением». И глубокий вздох обличал душевное смущение Курбского. Случалось, что, беседуя с Юрием, он вдруг содрогался при случайном слове или мысли, близкой к его положению. Страшно было ему припоминать себе свое преступление пред отече-

ством; собственною кровию желал бы он смыть пятно позора, если б можно было изгладить минувшее.

Князь Острожский познакомил Курбского с англичанином Горсеем. Любитель наук и знаток в минералах, Горсей путешествовал и торговал драгоценными камнями. Его знания и обходительность привлекли к нему Курбского. Князь любил с ним беседовать, а в Горсее возбудилось любопытство видеть Иоанна и Москву.

Знойный июльский день сиял над ковельскими роцями; голубые воды Турии не колыхались при уснувшем ветерке, но чем ниже опускалось солнце, тем становилось прохладнее; приятность летнего вечера вызвала из домов ковельских жителей; одни рассыпались по роцце или сидели на лугу, другие гуляли по берегу реки, прислушиваясь к отдаленным песням.

Вдруг общее внимание обратилось на подходившего незнакомца. Одежда его показывала человека духовного звания, окладистая борода его была с проседью. Труды и заботливость провели морщины по челу его; ум и

прямодушие видны были в степенном лице. Он спросил одного из стоящих у берега: найдет ли он в замке князя Андрея Михайловича Курбского?

– Князь выехал прокатиться в ладье, – отвечал Флавиан, садовник ковельского замка.

– Слышишь ли голоса поющих? Это гости его гуляют с ним по реке.

– А кто гости его? – спросил незнакомец.

– Пан Иеронимов из Вильны, братья Мамо-ниччи оттуда же и много еще; всех не перече-тешь, а вот смотри, они подъезжают.

Незнакомец, нетерпеливо всматриваясь вперед, спешил увидеть старого друга.

– Что это, русские песни? – спросил он с удивлением.

– Да, князь любит русские песни.

– Откуда он набрал певцов?

– Все пленные, из-под Луцка. Князь собрал их в своем замке.

Незнакомец вздохнул и, пригладив длинные волосы, оправил запыленную и полиняв-шую рясу; ладья поравнялась с ним. Тут при-шелец с радостью простер руки князю:

– Князь Андрей Михайлович!

Пение умолкло, ладья причалила к берегу. Князь ковельский спешил обнять гостунского диакона.

Литовские паны обступили их. Особенно англичанин Горсей, также участвовавший в прогулке, с любопытством смотрел на пришельца.

– Что завело тебя в Ковель, отец Иоанн? Как очутился ты здесь? Много лет не видались мы!

– Занесло меня горе, а пуще воля Божия. Много лет уже странствую, князь Андрей Михайлович, когда не стало митрополита Макария, оклеветали дело святое! Я отпечатал Апостол, а писатели книг восстали на меня и Петра Мстиславца. Неведомо, какие люди подожгли ночью книгопечатню; возобновлять было некому. На меня же, прости господи, смотрели как на чародея; принужден спасаться, чтоб не бросить дело святое.

– Какое твое желание? – спросил Курбский.

– Напечатать Библию, – отвечал диакон. – Господь мне помог у пана Ходкевича, там я напечатал Евангелие. Пан поручил мне обучать его шляхтичей грамоте, подарил меня

домом; жил я в приволье, но слезами кропил изголовье; в раздумье чудилось мне: «Рабе ленивый! Рабе ленивый! Спрятал талант свой!» Тяжко лежало на душе бремя, что не впечатал Библии, решил оставить Ходкевича, искать другого пристанища, лишь бы свершить богоугодное дело.

– Не теряй надежды! Бог пошлет помощь. Недалеко отсюда лучший споспешник в святом деле.

– Князь, у тебя на мыслях, что у меня на душе! Путь мой к его светлости, князю Константину Острожскому. За молви за меня пред ним доброе слово. Он сам вызывал меня, но не себе прошу я покрова, а труду моему во славу Божию, на общее благо.

– Господь внушил тебе твердую волю, – сказал Курбский, – и даст надежный приют. Соверши твой подвиг! Радуюсь, что пришлось с тобою свидеться. С тобою легче мне стало, как будто бы я свиделся с родиною!

Многие из гостей Курбского хвалили усердие гостунского диакона. Князь предложил возвратиться по реке в Ковельский замок; ввел отца Иоанна в ладью и посадил возле се-

бля; гребцы взяли за весла, и ладья понеслась.

Князь возвратился с гостями в замок. Разговор их коснулся Грозного.

Горсей спрашивал: отчего изменился нрав Иоанна?

Курбский обещал скоро объяснить это чудное превращение. Многие говорили, что Курбский пишет историю Иоанновой жизни.

– Тут будет живописцем твое негодование? – спросил Иеронимов.

– Я представлю Иоанна, как он сам изобразил себя в письмах своих, – отвечал Курбский.

– И не давай места мщению, – сказал диакон гостунский. – История отмстит за тебя!

Англичанин сказал, что посмотрит на Грозного.

Курбский почитал шуткою решимость его, но Горсей не изменил своего намерения. Скоро узнали, что он уехал в Москву.

Курбский познакомил Иоанна Федорова с князем Острожским. По совету друзей, князь Константин завел в Остроге славянскую типографию и поручил ее наблюдению бывшего

гостунского диакона.

Видя быстрое распространение новых учений, Курбский возгорел ревностью к православию и желал положить преграду лютеранству. Может быть, этой ревностью он надеялся умалить преступление свое пред Богом и отечеством. Он прибегнул к оружию истины – писаниям Святых Отцов; не щадя жертвований, собрал он в книгохранилище своего творения великих учителей церкви; ежедневно читал и изучал эти писания в отражение нововведений; старался о переложении сих книг на славянский язык, общепонятный в Литве; собирал ученых людей, побуждая просьбами и письмами, и сам деятельно участвовал в трудах. Не надеясь на свои знания, он уже в старости принялся за усовершенствование себя в языке римлян и нередко проводил часы ночи над изучением латинских слов. Его пример, его убеждения воспламенили в юном князе Михаиле Оболенском такую ревность к наукам, что знаменитый юноша пожертвовал несколькими годами жизни обучению в краковском училище; тем не ограничилась жертва познаниям: Оболен-

ский впоследствии оставил свой дом, молодую супругу и детей, стремясь обогатить себя новыми сведениями, и провел два года в путешествии.

Укоры и насмешки сыпались на Курбского; его одного почитали виновником странной решимости Оболенского; но укоризны умолкли с его возвращением. Оболенский оправдал ожидания Курбского.

Прибытие его было торжеством для владельца Ковельского. Курбский, хвалясь успехами своего любимца, пригласил на пир многих вельможных панов и друзей своих.

«Что за пир у князя? Какой съезд в его замке?» – говорили с любопытством друг другу ковельские жители, указывая на множество ездových, колымаг и панских коней, стеснившихся пред воротами замка; в окнах блестели огни, давно уже не освещавшие уединенного жилища Курбского; известно было, что он чуждался веселий и казался угрюм на пирах. «Слышно, – говорили некоторые, – что возвратился из Волошской земли молодой князь Оболенский; года два был в отлучке; жена и дети оставались у княгини Чарторыжской,

а вчера прикатили сюда в замок. Наехало столько вельможных панов, сколько не собиралось и в прежние годы; прибыли и светлейший князь Константин Острожский, и воевода пан Троцкий, и Козьма Мамонич, и Ян Иеронимов; от Посполитой Речи приехал пан Бокей; а по этой сбруе и перьям на конях, по этим гербам на рыдване как не узнать, что в числе гостей и князь Николай Радзивилл.

Все они съехались в Ковель пировать у Курбского, обрадованного возвращением Оболенского.

Дружественно беседовали гости; развеселясь после роскошного стола, они собрались около молодого Оболенского и с любопытством слушали его рассказы; в глазах Курбского блистала радость, что юный князь возвратился из путешествия с богатыми плодами познаний, но с душою чистою, неколебимый в благочестии.

– Я боялся за корабль мой, – сказал Курбский с веселой улыбкой, – но он возвратился с драгоценностями. О, мой возлюбленный, – продолжал он, обняв князя, – в тебе искры огня божественного; меркнет шаткий ум, душа

твердая в благочестии сияет чистою верою.

– Я чтил тебя и помнил твои советы, – отвечал Оболенский.

– Что ни говори, князь, – сказал пан Троицкий, продолжая играть в шахматы с Радзивиллом, – ясновельможному князю Ковельскому много достанется за тебя от иезуитов, они и без того на него сердятся.

– Особенно с тех пор, – сказал, потрепав по плечу Курбского, князь Константин Острожский, – когда ты отговорил княгиню, чтоб она не поручала им воспитывать своего сына.

– Я всегда буду благодарить его милость, князя Ковельского, – сказала княгиня Чарторыжская, сидевшая подле супруги Оболенского.

– Берегись, князь, – сказал вполголоса, пожимая руку Курбского, Козьма Мамонич, – берегись лютеран; письмо твое к Чаплицу сильно их раздражило; они второй раз созывают на тебя собор, хотят тебе отвечать.

– Поговорят и разойдутся, – сказал с важностью, вмешавшись в речь, сановитый князь Острожский. – А мы с Курбским пора-

дуемся отпечатанной Библии. Трудно одолеть его! Он ополчается оружием Священных Писаний.

– Сим победиши! – сказал Курбский. – Не оставлю ратовать на отступников веры и златым словом моего наставника, многострадательного Максима. Светлые мужи! Вельможные паны! Перелагал я с римского языка на язык прародительский Златоустовы беседы на послания апостольские, а недавно написал повесть о соборе, отторгшем западную церковь от матери ее, церкви восточной.

При сих словах он подал им книгу, обложенную в пергамент с серебряными застежками. Гости рассматривали и хвалили труд князя; многие из них желали иметь список с его сочинения, особенно Мамоничи.

– Я предупредил ваше желание, – отвечал Курбский и распорядился, чтобы принесли свитки.

– Примите подарок духовный, – сказал Курбский, – утверждайтесь в благочестии, но прошу вас, – продолжал он, обращаясь к виленским панам, – не кидайте драгоценных камней на прах, не мечите бисера перед

невеждами. Они упрямы и сварливы; с такими людьми лучше не спорить.

Разговор склонился на необходимость распространения полезных книг, когда новое учение волновало умы, привлекая последователей.

– Это буря с моря неистового, – сказал Курбский, – дух тьмы подвиг гордых и суетливых, но мы не дадимся в руки, как птицы, соединимся в оплот против новых учений! Свершим труд с Богом, нам помогающим!

Курбский объяснял, как необходимо для отражения ложных толков перелагать на славянский язык писания вселенских учителей церкви.

– Для чего же не на польский? – спросил пан Бокей.

– На польскую барбарию? – прервал с пылкостью Курбский, не замечая, что многие из гостей нахмурились. – Но можно ли передать на скудном, нестройном языке все, что так выразительно на обильном и величественном языке славянском, на языке прародительском Руси и Польши? Спросите князя Острожского, скольких трудов стоило переве-

сти Библию и на литовское наречие.

Пан Бокей и княгиня Чарторыжская возражали Курбскому, что польский язык уже мог похвалиться многими искусными писателями, и что век Сигизмунда Августа почитался золотым веком писателей польских.

Еще долго беседовало избранное общество в замке князя Ковельского, и набожная княгиня с удовольствием вмешивалась в необыкновенный разговор, тем более что в тогдашних собраниях почти всегда говорили только о новостях и забавах, веселясь музыкою и маскарадными превращениями.

Наконец гости разъехались, кроме семейства Оболенского. Курбский не предался отдохновению; посматривая на большие стенные часы, он чего-то ожидал; вскоре отворилась дверь и, к удовольствию князя, вошел почтенный старик с длинною седой бородою; благообразное и умное лицо его показывало строгую жизнь и простодушную веселость. Это был Седларь, житель львовский, мещанин, которого Курбский принял с таким же радушием, как и вельможных панов.

— Желая с тобою беседовать, я писал к сыну

твоему, чтобы ты навел на меня; но для чего не приехал ты на обед ко мне?

– Ясновельможный князь, – отвечал старик, – у тебя было столько светлых панов, что едва ли оставалось место для львовского мещанина!

– Друг мой Седларь, тебя давно знают и дают место почтенному старцу; все мы сыны одной матери-церкви и стремимся к одной цели: служить к утверждению православия; когда сойдем с поприща жизни, сравняемся с Иром убогим и за все княжества получим только сажень земли. Толки и секты, как смутные источники, со всех сторон отлучают от нас братьев наших; мы должны охранять благочестивые сердца от болезни, должны умножать число сынов истинной церкви. Пойдем, друг мой, взглянуть на добрые начинания наши, помоги нам усердием и советом!

Курбский повел Седларя в отдаленный покой, где находилось книгохранилище. Среди небольшой, круглой залы с высоким сводом стоял широкий стол, над коим горела свечница, опущенная сверху на блестящих медных цепях; около стен, между столбами,

стояли шкафы из резного орехового дерева; в них хранились, в свитках и пергаментных книгах, творения ученых мужей и святителей церкви. В креслах, стоявших полукружием около стола, сидели юный князь Михаил Оболенский, Юрий, друг его Марк, ученик старца Артемия, и книгопечатник князя Острожского Иоанн Федоров, который приехал порадовать Курбского успешным печатанием Библии. Одни из них читали разложенные книги, другие переводили, советуясь с князем Оболенским, который рассматривал роспись книг Курбского и отмечал, какие из них, по его мнению, могли быть скорее переведены. Курбский с торжествующим видом указал Седларю на собрание, среди которого трое юношей, из коих один был князем и уже отцом семейства, трудились с благочестивым желанием не для земной славы.

Старец, подняв взор и руку к небу, казалось, молил благословить эти труды. Седларь стал беседовать с князем Оболенским, обозревая список книг. Между тем Курбский придвинул к себе книгу любимого Златоуста; облокотясь на стол, с пером в руке, он углубился

В мысли, выражая латинские слова славянской, возвышенною речью.

Глава V. Открытие и обет

Часто беседовал князь Курбский с Юрием и находил неизъяснимое удовольствие в этой беседе. Он видел, что молодой инок понимал его чувства, разделял с ним горесть о бедствиях отечества; взор юноши воспламенялся, когда Курбский рассказывал о своих ратных подвигах. Юрий внимательно слушал каждое слово его, следовал за каждым движением, как бы становясь свидетелем минувших событий русской славы.

Курбский поверял ему свои прежние надежды к водворению в России наук при помощи книгопечатания, и Юрий помышлял с сожалением, что исполнение этих надежд отдалось еще на долгое время.

– Много, друг мой, – говорил Курбский, – будет смут и препятствий к благу от самого мудрого изобретения человеческого. Суетность и страсти людей посеют свои семена; хитрость и легкомыслие, ослепляя умы, надежнее поведут к заблуждению; плоды зла

возрастут в одно время с плодами добра. Но что лучше: нива ль бесплодная или поле, покрытое виноградом и тернием?

– Появятся делатели, – сказал Юрий, – исторгнут терны, и люди насладятся плодами.

– Так, – кивнул Курбский, – торжествующая истина озарит все своим светильником; от лучей его истлеет зло, а корень добра утвердится. Будет время, что устыдятся тираны, уничтожится лютость казней и безумия человеческого; познания не будут почитать чародейством, и погаснут костры изуверов.

– Мы ожидали, – сказал Юрий, – увидеть на родном языке все книги Священного Писания.

– А теперь Константин Острожский получит славу издания первой славянской Библии; у него трудится мой друг, неутомимый дьякон, отец Иоанн. Какой человек! Изгнанный из Москвы наветами, видя, что тщетны труды его, где суеверы едва не предали огню двор печатный, он удалился к Ходкевичу, и принят ласково. Муж разумный, любитель книг и письмен, Ходкевич одарил его, но отец Иоанн желал служить не Ходкевичу, а всему

православию; у него была на сердце мысль: совершить издание Библии; день и ночь думал он об успехах печатания; писал ко мне, что много раз орошал слезами свой одр, виня себя в нерадении к делу великому, чувствуя способность свою и видя, что другие о том не заботятся. Он повторял: «Боюсь истязания Божия, какой дам ответ, когда услышу от Господа: „Раб ленивый, что сделал ты с талантом моим?“» – Он оставил Ходкевича, имущество и деревню, ему подаренную, пришел ко мне; ты знаешь, что я представил его князю Острожскому, и вот плоды их трудов.

Тут Курбский показал Юрию превосходно отпечатанную в Остроге первую славянскую Библию, облеченную в синий бархат с серебряными изображениями пророков и евангелистов.

– Для чего бы Москве не похвалиться сим великим даром? – сказал Юрий. – Теперь там нет и двора печатного!

– Если нет, то будет. Лучи такого светильника везде разольются! Еще слава Богу, – продолжал Курбский, – что в святой Русской земле есть сокровище: твердый дух народный и

добрые нравы, и они утверждаются силою благочестия; в русском сердце – преданность к православию и любовь к родине; в русской руке – неутомимость терпения, святая верность послушания. Вот на чем основано благоденствие России, что возвеличит ее над всеми просвещенными царствами! Без сего основания просвещение лживо и вредно. Если поколеблются добрые нравы, оно обратится в погибель. Итак, будем желать просвещения, утвержденного православием.

В этих разговорах неприметно проходило время; Курбский, предаваясь стремлению мыслей, забывал свою скорбь, Юрий слушал его с восторгом. Ему приятно было питать деятельность размышлений его отца, чтобы только успокаивать болезненное чувство его души. Он с нетерпением ожидал времени, когда сможет открыться ему, но прежде желал привлечь к себе сердце родителя и увериться, что ему приятно будет присутствие сына. Курбский, казалось, отклонялся от воспоминания о своей супруге и сыне, но это происходило от того, что он не хотел обнаружить душевных терзаний, желая сохранить в себе

тайну бедствия, тяготившего его воспомина-
нием и укором.

В одно утро Юрий застал князя необыкновенно встревоженным; он заметил следы слез на лице его и с участием спросил, что было причиною его скорби и смущения.

Курбский искренно пожал его руку и сказал:

– Не дивись, друг мой, часто довольно одной мечты для возмущения души человеческой; меня, взрослого в битвах, онемевшего сердцем от лет и бедствий, старого, сурового воина, привел в смущение сон, самый обыкновенный; в нем нет ничего ужасного, но пробуждение заставило меня почувствовать весь ужас судьбы моей; я видел возле себя супругу и сына, некогда оставленных мною в Юрьеве; они говорили со мною радостно, так же, как в прежние дни, а все, что случилось со мною после разлуки с ними, показалось мне сном. Я рассказывал им о видениях моих, и они удивлялись мнимым призракам бедствия. Все это было так живо, как будто бы я сейчас их видел здесь; сын так нежно ласкался ко мне, жена так старалась успокоить мыс-

ли мои, что, кажется, я еще слышу утешительный голос их, пробудясь, я не поверил глазам своим; искал взором любезных мне, но вспомнил, что уже пятнадцать лет, как я лишился супруги и сына; в ту минуту я как бы снова потерял их; видно, друг мой, что для вечной души нашей ничтожно расстояние времени!

– Так ты еще оплакиваешь твою супругу и сына? – спросил Юрий. – Но, может быть, судьба возвратит тебе Юрия?

– Нет, – сказал Курбский, – он погиб с моею Гликериюю; верный слуга мой не нашел и следов их; были и другие слухи, но не оправдались. Нет никакого сомнения, что они погибли; я уверился в смерти их.

– Сын твой жив! – воскликнул Юрий, не удерживая более сердечного порыва.

– Что говоришь ты? Где он? – удивился Курбский.

– У ног твоих! – воскликнул Юрий, бросаясь перед ним на колени.

– Боже, возможно ль? Ты ли сказал?

– Ужель ты не узнаешь меня? Ужели ни одной черты не осталось в лице моем, по кото-

рой мог бы ты узнать Юрия?

Слова его проникали в сердце Курбского; он устремил на юношу испытующий взгляд; сильное волнение обнаружилось в лице князя, но еще колебался он верить призыву сердца, боясь обмануться в неожиданном счастье.

– Отец, взгляни на крест, которым ты благословил сына!

Сказав это, Юрий показал скрытый на груди его крест с мощами, который всегда носил на себе.

Курбский задрожал и, обняв Юрия, прижал его к сердцу, склонясь на плечо его; голос изменял ему; едва мог он признать имя сына.

– Я узнаю, наконец, – сказал он, – моего Юрия; узнаю крест, который дал я тебе в день разлуки; вот рубец на руке твоей... ты забыл, но я помню, как ты поранил себя, играя в младенчестве моим тяжелым мечом. О сын мой, дай еще прижать тебя к груди моей, дай согреться моему сердцу, излиться слезам моим!.. Скажи мне, где мать твоя, где моя добрая, кроткая Гликерия?

– Она уже в другом мире, – сказал Юрий, – я закрыл ей глаза и принял последнее ее заве-

щание: идти к отцу моему и утешить его.

Неизъяснимы чувства любви родительской и нежности сыновней, когда судьба, по долголетней разлуке, внезапно соединит сына с отцом. Юрий рассказал отцу о чудных путях, какими вело его Провидение; между тем горячие слезы катились по бледным щекам старца. Курбский отер слезы и сказал:

– В каком виде ты предстал мне, о сын мой, благоговею перед саном священным, но вспомни, что ты сын Курбского; отец твой изменник отечеству; ты умолял небо за грехи мои, лучше загладь вину мою! Я уже недостойн ступить на Божию землю, но ты можешь возвратиться в Россию. Внемли же отцу: заклинаю тебя, о сын мой! Перемени одежду инока на броню воина, стань под хоругви ратные, возьми меч мой, смой с него пятно позора, заслужи за меня перед отечеством и, если можешь, сын Курбского, умри за Россию!

– Бог мне свидетель, что совершу твою волю, но открой мне путь в родину! Сын твой станет под хоругвь крестоносную, во славу России! – воскликнул Юрий.

– Увы, путь мой кончен! – возразил Курб-

ский. – Я только могу принести жертву отечеству, отдав ему сына. Юрий, отпуская тебя, отпекаюсь от счастья; по крайней мере прах мой будет спокоен в земле, если сын мой заглядит измену мою. Об одном молю тебя: когда узнаешь ты, что меня не станет в живых, вели положить меня лицом к России, тогда мне легче будет под чужою землею!

Наставало время разлуки. Отец готовился проститься с сыном. Назначенный день наступил, но чувства боролись в сердце Курбского...

– Сын, побудь еще у меня! – сказал он. – Мне ничего не остается, кроме тебя... Еще придет час!..

И Юрий, видя скорбь и нерешимость отца, остался.

Глава VI. Осада и битва

Стефан Баторий убедил на сейме бросить все силы к ослаблению могущества Иоаннова. Много было шуму и споров, но кончилось исполнением требования короля; война продолжалась с новым ожесточением. Иоанн уклонялся от битвы, а Баторий двинулся к Пскову. Курбский с горестью видел жребий, грозящий знаменитому городу Ольги. Юрий заметил беспокойство отца и скорбь об участи Пскова.

– Время, родитель, – сказал он, – время с тобою расстаться! Дозволь мне свершить, что сам ты внушил мне!

Любовь к сыну умолкла перед чувством пробужденной любви к отечеству. Курбский уже не колебался в решимости отпустить Юрия, дав ему лучшего коня и ратные доспехи, отдал ему и меч свой и благословил в путь. Они расстались.

Курбский ожидал и страшился получить весть о Юрии. Обретение сына казалось ему каким-то утешительным сном.

Знамена Батория уже развевались перед

стенами Пскова. Король, не надеясь взять силой, хотел победить лаской и велел пустить в город стрелы с привязанными к ним грамотами. Граждане псковские, подняв несколько стрел на большой площади, близ Троицкого собора, с удивлением читали льстивые грамоты Батория.

«Если отворите мне ворота, – писал король, – всем пощада! Живите по своим законам, ведите торговлю как в старину, и пожалую вас, как ни один еще не был награжден от царя».

Воеводы читали грамоты в присутствии народа, собравшегося на вече. Псковитяне слушали с негодованием. «Предпочестъ ли тьму свету? – говорили они. – Оставить ли царя православного и покориться иноверцу? Не хотим богатств всего мира за нарушение крестного целования. Если Бог за нас, никто на нас; умереть готовы, а не предадим нашего государя! Не подкупит король нашу совесть!» Так со всех сторон кричали псковские граждане. «Отошлем же, – сказали воеводы, – ответ королю на обороте грамот его, отошлем со стрелами».

– Отошлем, отошлем! – повторялось из конца в конец площади. – Пусть готовится к бою! Бог покажет, кому одолеть.

Между тем по приказанию предусмотрительного Стефана вели подкопы под псковскими стенами. Скоро началось метание бомб; они падали в город, но от преждевременного разрыва их мало было вреда. Осаждающие стремились к стенам; литовские гайдуки, закрываясь огромными щитами, неслись к воротам; в то же время стенобитными орудиями разбивали каменные стены, но кипящая смола и зажженный лен падали с них на литовцев в виде пламенных клубов, и сквозь узкие отверстия башен сверкали выстрелы ручниц; то появлялся, то исчезал лес острых копий; длинные рогатины с железными острыми крючьями, захватывая отважных наездников, срывали их со стен и взбрасывали на воздух.

Столь же сильный отпор встретило войско Батория под знаменитым Псково-Печорским монастырем. Немецкие ратники уже разбили часть ограды и, гордые успехом, взбирались на стену, но в то самое время лестницы под-

ломались под ними; наступающие оборвались в ров, и приступ был отложен до другого дня.

Иноки ходили по стенам с хоругвями и крестами, возбуждая мужество в воинах; даже матери, оставляя детей, шли на стену, готовясь отражать неприятеля; отроки, едва только могшие поднимать копье, бежали за матерями и помогали нести оружие и бросать камни и огонь с высоты.

Гетман Замоиский, ожесточенный долгим сопротивлением, послал объявить инокам, что бросит все силы литовские на монастырь, если они не сдадутся, но русские иноки не колебались предпочесть смерть сдаче, и один из них вышел из обители отдать сей ответ неприятелю.

Везде говорили о славной обороне Пскова. Много было гостей на пиру у князя Острожского. Они с жаром спорили, когда вошел Курбский.

– Король не отступит от Пскова, – сказал Радзивилл.

– Если продлится упорство осажденных,

как до сих пор, Псков устоит! – возразил Опалинский.

– Или падет под развалинами, – прибавил Острожский.

– Чего нельзя взять силою, можно взять хитростью, – сказал Радзивилл.

– А помогла ли хитрость с ларцем? – спросил Опалинский. – Московитяне осторожны и скоро догадываются.

Слова его относились к неудаче с ларцем, подброшенным поляками возле ставки князя Ивана Шуйского. Русские объездные принесли ларец к воеводе, как добычу, но Шуйский остерегся, не отпер ларца, а велел вскрыть его особенными орудиями, и то издали. Лишь только подняли крышку, раздалось двенадцать выстрелов; пули посыпались из самопалов, но ни одна никого не поранила, и коварная выдумка только обнаружила бессильную злобу.

– Не так должно воевать полководцам Стефана Батория! – сказал Курбский. – Тайное убийство позорит храбрость; сражайтесь лицом к лицу!

– Цель воинов – победа, – возразил Евста-

фий Воллович, – чем бы ни приобреталась она, лишь бы преодолеть врагов.

– Преодолеть мужеством, – отвечал Курбский. – Псковитяне дают вам пример.

– Какое пристрастие! – заметил Евстафий.

– Можно верить, что так думает князь Курбский, но так ли должен говорить князь Ковельский?

– Ты обманываешься! Князь Ковельский не отречется от слов Курбского.

– Зачем же ты радуешься упорной обороне Пскова?

– Радуюсь каждому свидетельству великодушия, где бы ни видел его.

– И не желаешь успеха нам и отрекся сопровождать войско Батория к стенам Пскова?

– Я нес его знамена под Полоцк, но, ратуя с Иоанном, я не дерзал далее попирать землю отечества. Король уважил мое признание. Я не пошел ни с ханом на Москву, ни с королем на Псков.

– А только вооружал хана против Московии и указал путь Стефану Баторию, – сказал Воллович с коварной усмешкой.

Рука Курбского опустилась на меч, но он

сдержался и отвечал Волловичу:

– Я не умел презирать оскорблений и увлекся стремлением к мести; ненависть ослепила меня, а ты хотел бы, чтоб я увенчал мое преступление?

– Довольно с тебя, – продолжал Евстафий.

– Не твои ли полки зажгли монастырь Великолуцкий?

– Так было против воли моей, но если виновен я, то должен ли идти далее путем преступления? Когда и тебе священна родина, не угашай во мне последней искры любви к отечеству.

– Мы знаем, – сказал князь Острожский, – что Курбский не хотел обогреться русской кровью.

– Князь! – возразил Курбский с глубоким вздохом. – Лучше скажи, что, обезумленный бедствием, я стал подобен убийце своего друга, но, если преступник оплакивает преступление, винить ли его за то или требовать, чтоб он повторил удары, довершил язвы, нанесенные собрату его?

Расспрашивая об осаде Пскова, Курбский слышал о подвигах русской дружины. Через

одного из пленников он получил тайно письмо от Юрия, узнал, что он уже навывк владеть мечом в ратной службе. «Сын Головина, – писал Юрий, – вызывал по предложению Строгановых охотников на подвиги в Сибирском крае».

Курбский думал, что там Юрий мог бы менее опасаться быть узанным и еще более ознаменовать свою отвагу и храбрость, и благословлял его на далекий путь.

Русские воеводы упорно держались в городах ливонских, но безуспешная осада Пскова более всего обезнадеживала Батория; он уже советовался с папским легатом, Антониом Поссевином, о необходимости заключения мира с Московией.

– Не так думал я кончить войну, – говорил Стефан. – Мужество русских обмануло наши расчеты. Если б у них было более воевод надежных, не знаю, как бы возвратился я в Польшу. Что делать с людьми, которые идут на битву как на пир, спят на мерзлой земле как на ковре; засевают в стенах, умирают от голода, а не мыслят сдаться?

– Это железные люди! – сказал Поссевин.

– Пробита ли стена, – продолжал король, – они заслоняют грудью, надобно ли стоять – стоят, пока живы. Я сам видел, как взорвали под русским отрядом подкоп. Одни гибли, а другие шли на их место, как будто у них жизнь запасная!

– Они терпеливы, – возразил Поссевин, – но не устоят против неколебимого неприятеля.

– Нет, скажу откровенно, я начинаю колебаться. Трудно одолеть людей, которых нельзя ни утратить, ни подкупить. Нет терпеливее, нет вернее русского воина.

– О, если б таких воинов усыновить апостольской церкви и Святейшему Отцу! – сказал Поссевин.

– Случилось, – продолжал король, – что литовский отряд окружил несколько московских пушек. У пушкарей не доставало ни ядер, ни пороха. Наши кричали им «сдайтесь», а они до последнего повесились на пушках своих.

Гейденштейн, королевский секретарь, с удивлением слушал рассказы Батория и решил внести в свою историю славное для рус-

ских свидетельств доблестного противника.

Вошедший в шатер оруженосец известил о прибытии гонца. Баторий услышал о неудачной битве литовцев и снова увидел необходимость не медлить с заключением мира.

Глава VII. Синодики

Оборона Пскова не столько занимала мысли Иоанна, как расчет с его совестью.

Была еще ночь. Вся Москва покоилась сном, но не спал царский дьяк перед самой почивальней Иоанна. Святильники еще горели на столе, на котором он дописывал тетрадь с черновых листов царской руки. Усердно писал дьяк четким уставом, отличая кинovarью заглавия, но бледен он был; сердце его трепетало горестными воспоминаниями, слезы вырывались из глаз, и черные буквы, казалось ему, багровели кровавыми пятнами.

– О, страшный отчет совести! – тихо сказал он, взглянув на тетрадь, в которой каждое слово дышало смертью, отзывалось страданием.

Это был список погибших по велению

Иоанна; длинный список – уже вторая тетрадь, а первая за несколько месяцев была отослана в Кириллов монастырь, с богатым вкладом, для вечного поминания опальных.

Многих из них знал дьяк в счастье и в славе, в цвете силы и красоты; многих любил он, а здесь каждое имя стояло перед ним, как надпись могильного памятника. Но все было смешано в списках: знаменитейшие князья и слуги, дьяки, воины, псары и рыболовы, старцы и младенцы – каждый был вписываем, как припоминал Иоанн, но жены рядом с мужьями и отцы с детьми. Дьяк содрогнулся...

– Лучше, – сказал он, подумав, – быть последним нищим, чем властвовать многими царствами без страха Божия!

Уже рассветало. Дьяк, погасив светильники и дописав последнее имя, задремал было на заре, но, услышав шорох, с боязнью очнулся; дверь отворилась, вошел Иоанн.

– Все ли? – спросил он. – Где тетрадь?

Дьяк подал ее с трепетом.

– Ты дрожишь? Да, ты должен содрогаться, начертывая сии строки; вот до чего довели меня ваши измены, непокорство, тайные ко-

варные умыслы! Что это? Сорок жен, почти сряду! Много погибло их, правда, но женская красота – тленный, часто гибельный дар, и я не хотел, чтобы смерть рознила жен и мужей. Теперь они спасены от греха, я дал им венец мученический, а такая смерть – не смерть, а приобретение! Так я хочу примириться с погибшими от меня; буду молить Господа о спасении душ их! Пусть каждый день поминают имена их в обители чудотворца Кирилла, на литиях, на литургиях, по все дни! Еще нет здесь многих имен... уже и память мне изменила; несколько столбцов затерялось в моих свитках... Но кого я не вспомнил, вспомнит Господь! Отошли список и дачу на поминание в обитель чудотворца Кирилла.

В следующую субботу в Кирилловой обители уже совершалось поминовение по вновь присланному синодику, и в кормовой книге обители записано царского даяния по опальным две тысячи двести рублей.

Непримиримая совесть по временам расторгала перед Иоанном завесу дел его. Тогда он молился, но часто самая молитва исчезала в устах его, казалось, отреваемая невидимой

силой. Опасение все еще представляло ему отовсюду призраки мятежа и измены.

Иоанн был уже супругом седьмой жены и помышлял о новом браке. Новая его жена царица Мария обрадовала Москву рождением сына, а Грозный вошел в переговоры о супружестве с родственницей Елизаветы, и гордая дочь Генриха Восьмого, для видов торговли и лондонской российской компании, подавала Иоанну надежду на брак с ее племянницей.

Еще протекло два года. Пора бы делать новое дополнение к синодикам, но Иоанну страшно было внести туда имя сына. Впрочем, богатые подаяния посланы были на Афонскую гору и в Иерусалим. Московские купцы с дарами Иоанна, опасаясь встречи крымских татар, избрали путь через Литву в Италию, чтобы далее ехать морем в Палестину и Грецию. Они уже достигли Литвы, где в большой корчме по виленской дороге собралось много путников; к их толкам о спорах варшавского сейма внимательно прислушивался высокий, сухощавый человек, сидевший в стороне у камина. Он, казалось, читал какую-то книгу, но не проронил ни одного

слова. Это был шляхтич Фанель, ловкость и искусство которого были известны в Вильне. Канцлер Воллович использовал его во многих случаях как лазутчика. Фанель принадлежал к числу людей, добывающихся бесстыдством богатства; его презирали, хотя и щедро платили за услуги его.

Вдруг вбежал опрометью хозяин корчмы и сказал, что на двор его въехали московские купцы, отправляющиеся через немецкую землю в Иерусалим и везущие царские дары для святых обителей в поминовение царевича Иоанна. Хозяин был рад богатым постояльцам; в корчму втащили несколько мешков с серебром. При виде их забегали глаза у Фанеля; между тем со всех сторон зашумели пересказы о страшном и беспримерном событии.

Грозный наказал себя в любимом сыне своем, поразив его в гневе тяжелым посохом. Напрасно Борис Годунов бросился удержать руку гневного отца, сам подвергаясь опасности; удар был смертелен, и, терзаемый поздним раскаянием, злополучный сыноубийца еще в надежде умилоствить небо отправил с московским купцом Коробейниковым дары в

палестинские церкви.

Путники остановились в корчме до рассвета. Фанель, не дожидаясь утра, отправился ночью в путь. Купцы, пробудясь на заре, с восходом солнца были уже в нескольких верстах от корчмы и, поднявшись на холмистую крутизну, въехали в густой лес. Вдруг окружило их множество наездников; купцы, хорошо вооруженные, отбивались от нападающих и едва не уступили числу их; к счастью, подоспела неожиданная помощь: князь Ковельский возвращался из Гродно в Ковель. При появлении его грабители скрылись, а встревоженные купцы радовались и благодарили Промысл, что даяние царское не перешло в руки разбойников.

Глава VIII. Свидание с Горсеем

Одна из башен замка Ковельского была обращена к уединенной роще, которая с крутизны спускалась в глубокую долину. Сквозь просеку деревьев открывался вид на далекое пространство. Голубая Турия, катя быстрые светлые воды, обтекала в извилистых оборотах зеленые луга; за ними на синеющих пригорках виднелись кровли рассеянных сел. Длинным переходом соединялась башня с замком; древние стены представляли воинственные изображения рыцарей и старинных владетелей замка. Сквозь широкие окна, обращенные к западу, вечернее солнце освещало багряным сиянием галерею, и черты витязей оживлялись пред взорами Курбского, часто проходившего по галерее в уединенную башню, где в тихой беседе с мудрецами древности он на время забывал свои бедствия.

Когда возвращался он из башни в приемную залу, то уже в отдалении едва мерцала огнистая полоса угасающей зари; сумрак ночи облекал небо; темнота и молчание царствовали в длинной галерее, и только отзыва-

лись шаги Курбского, идущего в глубокой думе по переходу, еще незадолго блиставшему яркими тенями вечера и великолепным отблеском солнца, уже погруженному в глубокую тьму. Этот переход от света к мраку был приятен Курбскому, сходяствуя с его положением, и склонял его мысли к превратности земного величия.

Однажды, когда он сидел пред окном башни, погрузившись в думы, молодой придверник прибежал сказать ему, что иностранец, прибывший из Москвы, желает его видеть. При слове «Москва» встрепенулось сердце Курбского; казалось, струя пламени пробежала в нем; все заключалось в этом слове: и покинутое отечество, и утраченная честь, и погибшее счастье; в одну минуту представилось Курбскому воспоминание всей его жизни. К Москве еще стремилось сердце, но укоризна явила его... Увы, он изменил отечеству. Но он желал слышать о нем, знать, что происходит под небом его родины, чего еще ждет Россия от Иоанна...

Князь спешил приветливо встретить иностранца, в котором с радостью узнал ученого

Горсея.

Скорыми шагами приблизился Горсей к Курбскому; весть необыкновенная была в устах его, и прежде, нежели сказал он, Курбский понял уже, что произошло великое событие. Лицо англичанина оживлялось выступающим румянцем, рука его дрожала, пожиная руку князя Курбского.

– Нет уже Иоанна, князь Ковельский, — сказал он. — Россия тебя призывает.

– Нет Иоанна? — повторил с недоумением Курбский, как будто не понимая Горсея.

Князь не думал пережить Иоанна; ему казалось, что сама смерть страшилась Грозного.

Горсей уверил его, что Иоанн уже кончил дни и предан истлению подле праха царственных предков.

– Иоанна нет? — повторил Курбский. — Мир земле. — И в лице его выразилась минутная радость, страшная радость, так что Горсей не выдержал его взгляда и, содрогаясь, отступил.

– Скажи мне, — спросил Курбский, схватив его руку, — скажи мне, как умер он? Не разверзлась ли земля под его ногами? Гром небесный не сокрушил ли его чертоги? Каки-

ми явлениями предвестила природа это событие! Как смерть увлекла свою ужасную жертву?

– Иоанн умер тихо, – сказал Горсей. – Но смерть проявлялась в грозных знамениях. Однажды, вышедши на Красное крыльцо, он увидел комету странного цвета: она заметно багровела, как будто кровь проступала в ее сиянии; все заметили это явление между церковью Иоанна Великого и собором Благовещения. Иоанн смутился и воскликнул: «Вот знамение смерти моей!» Страх его скоро уступил место другим чувствам: на другой день он разослал гонцов искать повсюду гадателей и звездочетов, даже в Лапландию, на берега Белого моря. Шестьдесят волхвов собрались в Москве гадать о судьбе Иоанна; им отвели обширный опустелый дом князя Владимира Андреевича, но в то же время развилась в Иоанне болезнь. Говорят, что он почувствовал в себе тление внутренности; опухоль разлилась по телу. Звездочеты сказали ему себе на беду, «что 18 марта последний день его». «Сожгу прежде вас на костре!» – сказал Иоанн, но, созвав бояр, говорил о делах государственных,

завещал престол царевичу Феодору, обратился к милостям, не оставлял и казней, но уже силы его истощались; однако в тот же день он призвал меня в палаты свои, показал мне свои драгоценности; рынды принесли его в креслах тяжело дышащего. При взгляде на сокровища он оживился. «Я знаю, Горсей, – сказал он, – что ты сведущ в дорогих вещах, ты понагляделся на них во дворце сестры нашей Елизаветы; посмотри, менее ли богатства у русского царя?» При этих словах он повелел отворить дверь в хранилище сокровищ; блеск ослепил меня! Груды серебра и золота сияли предо мною; на золотых блюдах сверкали алмазы и яхонты. «Смотри, – говорил царь, – вот, Горсей, восточный алмаз, подивись его весу, цены ему нет! А вот разноцветный опал блещет, как небесная радуга! Загляни в эту чашу: в ней жемчуг; оцупай жезлом, как она глубока, не скоро исчерпаешь и ковшом; насыпана перлами по края, как пшеницею. Вот это, – говорил он, переводя одышку, – лазоревый яхонт, камень сапфир, такого ты не видал у Елизаветы. Это сибирский плод, а моя Сибирь – золотое дно!» Так говорил он, а я со

страхом слушал его; мне казалось, смотря на изнуренного больного, что сама смерть из-за плеча его любовалась сокровищами. Вдруг застонал он при взгляде на ожерелье из восточных перл... «Сын мой! – вскричал он. – Горе мне!.. Сын мой... ты еще носил бы это ожерелье!» Тут опустился он без памяти в кресла, и рынды вынесли его в почивальню. Две ночи сряду призывал он сына, охладевая, но врачи парами возбуждали в Иоанне теплоту; поутру он оживился и спросил: «Какое число месяца?» «Марта восемнадцатое», – отвечали ему боязливо. «Восемнадцатое? – сказал он. – А я бодрее в силах. Лгут звездочеты, не узнали судьбы моей. Последний им день! Объяви им казнь за их басни! – приказал он Бельскому. – Уготовь казнь против окон моей почивальни». «Государь, они говорят, что день еще не прошел», – отвечал Бельский. Царь задумался и, сидя на одре, велел принести шахматную доску, собираясь играть с любимцем своим, он расставил шашки, но вдруг шашки полетели на пол, Иоанн упал на одр. Он не вставал более и скончался под молитвами пострижения. Мертвеца покрыли схимою и назвали

Ионою.

– Иона во чреве китове! – сказал Курбский. – Но не на три дня замкнула его челюсть земли. Нет, века, века пройдут, он не выйдет из нее и предстанет на суд..

Оставшись один, Курбский взглянул на мрачное небо.

– Итак, нет Иоанна!.. – воскликнул он. – Как призрак, сокрылся!.. О, для чего наше бедствие не было призраком? Для чего смерть не сразила меня пред Казанью? Для чего не пал я от мечей ливонских? Я не изменил бы отечеству!

Давно уже слышались глухие перекаты грома, в эту минуту молния блеснула в окно замка.

– Иоанн! – воскликнул Курбский. – Я призываю тебя на суд пред Богом; в шуме грома, при блеске молнии, вопию, вопию на тебя к небесному мстителю! Иоанн, ты навел мрак на жизнь мою, ты умертвил ближних моих, ты разлучил меня с семейством моим, ты опозорил славу мою, ты погубил душу мою!..

Молния змеилась по небу, рассыпаясь стрелами; гром потрясал древние башни зам-

ка.

Глава IX. Последняя повесть

Долго еще представлялось Курбскому, как грозный Иоанн, уже смиренный смертью, лежал на одре в одежде инока; как с сокрушением и трепетом сердца на него смотрели окружающие. Многим изрекали гибель эти уста, сколь многих жизнь утасла от одного мановения этой руки! Тени жертв Иоанна носились около гроба властелина, предаваемого нетлению. «О, если бы до конца жизни следовал он благим внушениям Адашева и Сильвестра? Как бы различна была повесть жизни его! Как бы лучезарна была слава его!» Так думал Курбский... и удивлялся, слыша от Горсея, что народ забыл свои бедствия, молясь о помиловании державного... Завоевания Казани, Астрахани, Сибири, Ливонии казались венцами его величия не одним его современникам. «Бедно все величие человеческое без смирения страстей! – сказал Курбский Горсею. – Жизнь наша – борьба добра и зла; горе тому, кто отдастся злу, губя свое вечное благо!» Но внутренний голос слышался в душе Курбско-

го: да молчит суд человеческий пред судом Господним!

Слух о кончине Иоанна привел в волнение поляков. Шумнее стали их сеймы. Стефан Баторий не соглашался на мир с Феодором, если не отдадут Литве Новгорода, Пскова, Смоленска; вельможи Батория по хитрому внушению короля даже обещали в случае смерти бездетного Стефана избрать Феодора его преемником и присоединить Польшу к России. Зная, по слухам, что Феодор был здоровья слабого, Стефан, чувствуя крепость сил своих, надеялся воспользоваться скорою смертью болезненного Феодора, но судьба определила слабому пережить сильного. Стефан скончался в декабре 1586 года, не успев ослабить Россию ни силою, ни хитростью.

Курбский, забыв свои немощи, решил ехать в Гродно, поклониться царственному праху своего покровителя. Но утомленный свидетель превратности человеческой жизни и счастья, он недолго был там, где чуждались его и все было чуждо ему. Отдав долг благодарности, он спешил в свой Ковель.

Туманны были зимние дни; снеговая ме-

тель осыпала путь, избитый конями. Непода-
леку от Гродно князь остановился на ночь в
корчме. Мрачна была ночь; бушевал холод-
ный ветер со свистом и воем. Курбский лежал
на одре, но тревожен был сон его, и глаза по
временам открывались в смутной дремоте.
Внезапно слышит он шум... слышит, как
хлопнуло окно при сильном порыве ветра... и
в сию минуту кто-то появился. Курбский не
верит глазам своим: при свете лампы он
видит самого Грозного в черной одежде ино-
ка! Его волнистая борода, его остроконечный
посох! Курбский содрогнулся. «Что тебе?» –
вскричал он, торопливо поднявшись с одра и
устремив взор на страшное видение. «Я при-
шел за тобою», – сказал гробовым голосом
призрак, остановив на нем впалые, непо-
движные глаза и стуча жезлом приближался
к одру князя. «Отступи!» – воскликнул князь
в ужасном волнении духа, отражая призрак
знаменем креста. Привидение уже стояло
у одра его и подняло остроконечный жезл.
Курбский мгновенно бросился на жезл, ис-
торг его и, схватя обеими руками, переломил;
вдруг погасла лампада, что-то застучало у от-

крытого окна... служители бежали со светильниками на призыв князя, призрак исчез, но нашли упавшую маску, довольно сходную с лицом Иоанна; на снегу заметили следы нескольких человек... Ничто более не обличало виновников злоумышления. Были ли это приверженцы Волловичей или другие враги Курбского, осталось ему неизвестным.

Утомленный бедствиями жизни и все еще ожидая вести о сыне, Курбский почти отрекся от мира, чуждаясь людей.

После смерти Батория уже забыли о Курбском при польском дворе; молва о разрыве его брака давно замолкла; он ничего не слышал о княгине и не желал слышать о ней; а при немощах старости не принимал никого из польских вельмож. Один только Ян Иеронимов по временам навещал старца. Для него еще растворялись железные ворота Ковельского замка, дряхлевшего, подобно своему владельцу.

Время начинало разрушать стены; князь не заботился исправлять их. Широкий двор перед замком порос густою травой, но от крыльца пролегла тропинка в сад. Князь Ко-

вельский оставил при себе немногих вернейших слуг, и они только знали, что господин их время от времени принимал в саду своем беднейших из окружающих жителей и щедро наделял несчастных, запрещая им разглашать о том. Непрístupный для гордых панов, он еще долго был доступен каждому бедному поселянину, но впоследствии немногие его видели и немногие слышали голос старца. Среди сада, под навесом темных лип, возле пруда, видна была древняя башня; от нее спускалось к пруду крыльцо с широкой площадкой, обставленной полукругом скамьями. Окно башни заграждено было решеткой, сквозь которую при вечернем свете лампад виден был внутренний покой со сводами, казавшийся часовней. Сюда-то приходил старец, и здесь, не примечаемый сидящими пред башней, он слышал их разговор, откровенное признание их потерь и печалей доброму Флавиану, его садовнику, и, умея отличить при творство от истины, утешитель незримый посылал им помощь по мере их нужды. Флавиан, услышав стук в железную решетку, подходил к окну, и мгновенно решетка поднима-

лась: серебро или золото падало в руки Флавиана; верный служитель передавал этот дар пришельцам на выкуп пленников, на освобождение из темниц, на призрение сирот или возобновление жилищ, погибших от огня. Видя радость их, слыша благословения, Флавиан указывал им на небо и, напоминая долг молчания, отпускал их чрез садовую дверь позади замка.

В один ненастный день недалеко от Ковельского замка шел, возвращаясь из плена, пожилой израненный воин. Претерпевая недостаток и желая скорей пробраться на родину, он просил помощи; от иных слышал отказ, а другие говорили ему: проси у садовника Ковельского. Эти слова побудили ратника расспросить о садовнике; по приходе в Ковель ему нетрудно было отыскать Флавиана. Сострадательный исполнитель воли князя Ковельского назначил ему час прийти к башне и рассказал о нем своему господину.

– Благодарю тебя, Флавиан! – сказал старец, ласково пожав его руку. – Ты искусный садовник, но всего лучше, что помогаешь мне растить цветы добра; они принесут нам плод

в другой жизни!

Воин не замедлил явиться. Флавиан, посадив его на скамью, расспрашивал о подробностях битв и ранах его.

Ратник, ободряемый ласковостью, рассказывал ему все, что с ним было, что видел... Вдруг отворилась дверь, с крыльца сошел незнакомый ему старец величественного роста, опираясь на посох; одежда его более походила на смиренное платье отшельника, нежели на убранство, приличное князю Ковельскому; седая борода падала на пояс его; чело, обнаженное от волос, представляло следы скорби и изнурения, но еще не угас огонь его взора. С сильным душевным движением старец бросился к воину, хотел говорить, но слова исчезали в дрожащих устах; в лице его так быстро изменялись чувства сильной души, что испуганный ратник готов был скорее почитать его призраком, нежели живым существом. Сам Флавиан удивился перемене в чертах князя Ковельского.

– Ты видел его! – наконец проговорил он. – Какое было на нем оружие? Какой был вид его русского воина?

Ратник с удивлением смотрел на Курбско-го.

— Не был ли на нем крест позлащенный? Не поминал ли кто-нибудь о сходстве его? — Старец не мог договорить и, ослабев, сел на скамью.

Флавиан встал почтительно, и польский ратник последовал его примеру.

Он подробно повторил старцу прерванный рассказ свой о том, как, устремясь в самую середину врагов, теснящихся к русскому знамени, и бросив раздробленный щит свой, какой-то юноша схватил хоругвь и, увлекая ее, старался мечом очистить дорогу. Пищали обращены на него, но храбрые сподвижники не выдают своего героя; живую стеною заслоняют его и принимают на себя грозящие ему удары. Литовцы свирепеют негодованием, уже видят неминуемое поражение, не думают о своей защите и прорываются с воплем ожесточения отомстить за себя. Израненный конь его пал, и, прежде нежели юноша успел соскочить с него, меткое копьё поражает витязя в грудь; он падает, сжав в руках своих священное для него знамя; его падение было

гибельно врагам: ни один из них не спасся от русских мечей, и скоро русские крики победы огласили все поле, покрытое телами врагов.

Свидетели доблести юного воина спешат отыскать виновника победы, павшего на поле славной битвы. Они находят его едва дышащего. Копье уже исторгнуто из груди его, и сорванное с древка знамя присохло к ране. Уже хлад смерти разливался в чертах его.

– Кто этот юноша? – спрашивали друг друга военачальники; никто не мог объяснить этого; не знали, откуда он и когда он явился, но все видели дела его, все дивились его великодушной отважности и пересказывали друг другу чудеса его подвигов. Припоминая черты лица его, иные находили в нем сходство с князем Андреем Курбским... Но никто не смел сказать о нем Иоанну.

– Свершилось! – воскликнул Курбский. – Жертва принесена; он исполнил завет мой!

Он упал на колени и хотел молиться; глаза его обратились на небо, но он уже не мог говорить, не мог и встать с колен. Флавиан поднял его и с помощью воина перенес в башню, на скамью, устланную ковром, но едва поло-

жил его на это ложе, славный муж, испытанный бедствиями, с тяжким вздохом поник челом и отошел к вечному покою.

Прошли века... Изгладилась и следы знаменитой гробницы князя Ковельского. Но, кажется, небо примирилось с ним: давно уже русские орлы пролетели за Ковель, и Россия приняла под материнскую сень свою прах изгнанника...

Примечания

1

То есть по-гречески – юродивый.

[^^^]

2

Новый год тогда считался с сентября.

[^^^]

Перила.

[^^^]

4

Половниками назывались свободные земледельцы, нанимавшие поля для посева с договором отдавать половину жатвы владельцам.

[^^^]

5

Самая мелкая медная монета того времени.

[^^^]

6

Бедные дворяне, жившие в домах бояр.

[^^^]

Нарва называлась русскими Ругодевом.

[^^^]

Так назывался траур.

[^^^]

Фегефейер на немецком языке означает Чистилище.

[^^^]

10

Так назывались простые круглые шишаки ратников.

[^^^]

Старинные большие пушки.

[^^^]

12

Так назывался кубок, который, взяв в руки, нельзя было иначе поставить на стол, как опрокинув.

[^^^]

Так русские называли ливонских рыцарей.

[^^^]

Русские называли Феллин Вельяном.

[^^^]

Выражение того времени.

[^^^]

Так назывались инженеры.

[^^^]

Так русские называли Вейсенштейн.

[^^^]

Так называли русские Ревель.

[^^^]

Канарское вино, привозившееся из ганзейских городов.

[^^^]

Так называлось воскресенье.

[^^^]

Два с половиною рубля.

[^^^]

Готовым на происки, лживым, хищником.

[^^^]